



Леонид ЮЗЕФОВИЧ
КЛУБ «ЭСПЕРО»





Леонид ЮЗЕФОВИЧ

**КЛУБ
«ЭСПЕРО»**



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1987

ББК 84Р7
Ю 20

1

Ю 4702010200—213
078(02)—87 193—87

КАЗАРОЗА И ДРУГИЕ

Прочитав эти повести, на некоторое время отложил их в сторону — не мог сразу сесть, по стечению обстоятельств, за предисловие к будущей книге. Когда пора предисловия все же пришла, принялся вспоминать героев Л. Юзефовича и прежде всех других вспомнил Зинаиду Казарозу, хрупкую маленькую женщину с нежным грустным голосом и печальными глазами.

Казароза — лицо эпизодическое, занимающее скромное пространство в повести «Клуб «Эсперо», и... чуть было не написал, что и времени Казарозе отведено в повести мало, всего лишь несколько часов действует, вернее, живет она в обширной по временному охвату повести, но это было бы утверждение неправильное — Казароза проникает все часы и дни главного героя «Клуба «Эсперо» Николая Семеновича Семченко, от госпитальной побывки в революционном Петрограде до нынешнего вагонного сна, в котором старик Семченко видит и слышит вечно нежную, вечно печальную Казарозу.

Почему всю жизнь вспоминает Казарозу Семченко? Однажды он проводил ее в Петрограде, и хотя был очарован ее тихим, искренним голосом, но все же этого недостаточно для памяти на всю жизнь. Он был причиной гибели Казарозы, но его мучило не раскаяние, не бесконечность вины, а утешающее и очищающее душу видение немногословной сдержанной женщины. Почему искушенный читатель вроде меня, привыкший ко всевозможным беллетристическим каверзам и выкрутасам, тоже вспоминает, через много времени после прочтения повести, Казарозу? Семченко еще можно понять — он был человек истовый и истово принял в себя Казарозу, а искушенному-то читателю что по ней томиться?

Зинаида Георгиевна Шершнева (сценический псевдоним — Казароза) — женщина, наделенная естественной, как бы врожденной нравственностью; она верит в человеческую порядочность, совестлива, скромна, великодушна, искренна, никогда не собьется в оценках происходящего, никогда не назовет черное белым, никогда не согласится, что бессердечие может быть велением времени. Семченко — отчасти догматик, отчасти фанатик, из этих свойств складывается его революционная категоричность и возведенная в принцип

нетерпимость к иным, отличным от его, семченковских, взглядам, воззрениям, убеждениям. При всей своей ограниченности и этакой разудалой красноармейской прямолинейности Семченко сначала как бы кожей, интуитивно чувствует чистоту и превосходство Казарозы, а поняв и осмыслив это превосходство, он впервые в жизни затосковал из-за собственного душевного примитивизма, из-за невозможности вернуть чересчур бессердечные, чересчур категоричные свои поступки и переправить их, ибо революционером нельзя себя считать, не вооружившись естественной нравственностью, то есть мерой совестливости и доброты, столь характерных для Казарозы. Казароза для Семченко — революция, пересилившая неизбежную грубость и жестокость сердечной справедливостью, справедливостью порядочности. Вот почему он так строго спрашивает с себя после ее гибели, вот почему ее негромкая судьба навсегда стала для Семченко нравственным ориентиром.

Люди, наделенные естественной нравственностью, редки и в наше время, вот почему искушенный читатель тоже затосковал о Казарозе, о будничном благородстве ее сердца.

Верным спутником Казарозы мог бы стать частный сыщик Рысин из повести «Чугунный агнец». Впрочем, следует уточнить моего «спутника»: имею в виду, не мужем ее и не сердечным другом мог стать Рысин, а товарищем по отношению к жизни — профессиональная и житейская порядочность, добросовестность при исполнении служебных обязанностей, безусловная добросовестность, даже если при этом грохочут землетрясения, грозы, низвергаются миры и системы. Личная добропорядочность, профессиональная добросовестность приводят и Казарозу, и Рысина к принятию революции, ее, в конечном счете, высоконравственного новаторства — эту вот мысль о соединении личной порядочности человека с нравственностью революции Л. Юзefовичу удастся выразить особенно убедительно.

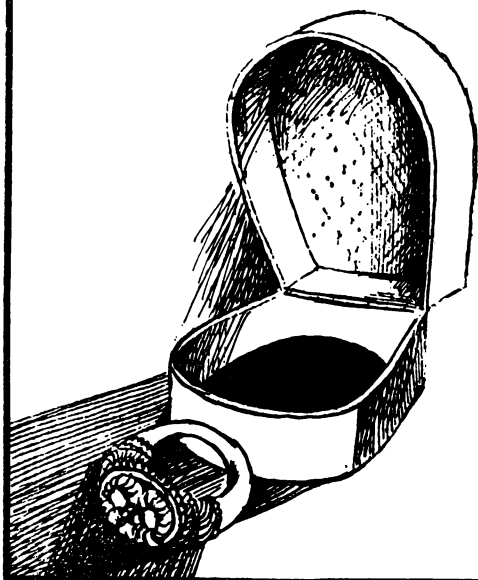
Естественной порядочностью обладает и начальник милиции, рабочий Мурзин из повести «Контрибуция». Усомниться в этой порядочности, сломить ее пытаются и генерал Пепеляев (выписанный, кстати, с должной художественной свежестью), и прочие белые тузы и богатеи, но в Мурзине, скажем так, бьется сердце Казарозы; во всяком случае, с той же искренностью и благородством и с бесстрашной точностью, как у Рысина, порядочность Мурзина, порядочность, необходимая революции, торжествует в поединке с пепеляевцами.

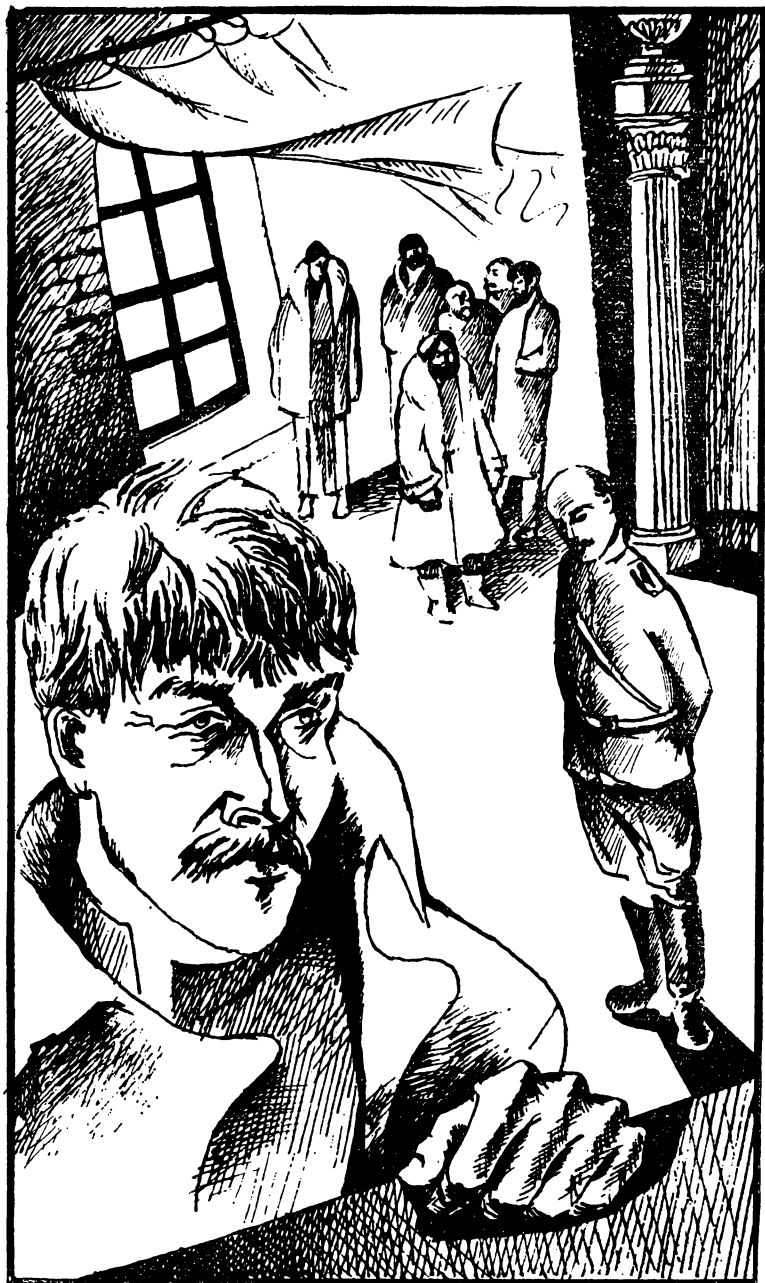
Полные драматизма и событийного напряжения повести Л. Юзefовича соединяются в своеобразную трилогию о Порядочном русском человеке начальных лет нашей власти, человека долга и истинном патриоте.

Вячеслав ШУГАЕВ

КОНТРИБУЦИЯ

/ 1918г /
ПОВЕСТЬ





Светает. С вечера прошел снегопад, конусы елей похожи на сахарные головы, но лесная дорога уже утоптана, умята сотнями ног, снег визжит под копытами. Выехав на опушку, генерал Пепеляев направил коня к орудиям, затемно выкаченным на гребень холма и наведенным на вокзал Горнозаводской ветки. Еще вчера эти пушки глядели на восток, а теперь — на запад, без единого выстрела сдал их Пепеляеву комбриг Валюженич: двадцать девять орудий и собственный маузер, который тут же возвращен был подполковнику Валюженичу.

Три версты до вокзала, темный чужой город лежит внизу. Вблизи раскинулась по угорам заводская слобода — избы, заплоты, заснеженные огороды, дальше сквозь туман угадывается ледяной простор над Камой и леса на противоположном, правом берегу, сплошной грядой уходящие к горизонту. Где-то там, невидимая отсюда, поднялась над рекой колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора, навершие креста на ней — та условная точка, которой обозначается город на географических картах. Пепеляев ищет ее глазами и не находит. За спиной небо чуть посветлело, но впереди темно, тихо, молчит город, хотя уже с полчасца, наверное, как вошли в него лыжники ударного батальона полковника Зиневича.

Артиллеристы перестали лупить сапогом о сапог, замерли у орудий. Подскочил офицер с рапортом, но Пепеляев отстраняюще махнул расслабленной кистью, словно воду стряхивал с пальцев — отставить, мол. Улыбнулся, показав между передними зубами лихую

атаманскую щербинку. Под низко сидящей папахой молодое сухое лицо почти не покраснелось, лишь усы обметало инеем. В парадной, тонкого сукна шинели, специально надетой ради такого дня, зябковато на тридцатиградусном морозе, и водка, выпитая час назад, уже не греет, ушла паром изо рта, растворилась в колючем предутреннем воздухе.

Жеребец Василек, боевой конь, капризная умница, беспокойно перебирает ногами на месте, нервничает: он хорошо знает пушки и не любит, когда из них стреляют. Еще он не любит, чтобы его гладили, не сняв перчатки.

Медленно, по очереди высвобождая каждый палец, Пепеляев снимает перчатку с левой руки, зажимает в правой.

Командир батареи смотрит на эту перчатку, готовясь повторить ее взмах, но сигнала нет — генерал треплет коня по заиндеветой холке, ждет, не послышится ли стрельба слева, со стороны Сибирского тракта, где подходит 4-й Енисейский полк. Зачем раньше времени объявлять о себе орудийным огнем? Его здесь не ждут, и слава богу. За ночь сорок верст прошла дивизия, прямо с марша втягивается в пустынные улицы, и только собачьей брехней по дворам откликается спящий город.

Но все чаще выстрелы — и впереди, и слева, где подоспели енисейцы. Пора. Ударили пушки; вскоре мощным эхом рвануло вдаль, над Камой, на железнодорожных путях — один из снарядов угодил в цистерны с керосином, и наконец-то Пепеляев увидел освещенный заревом знакомый силуэт спасо-преображенской колокольни. Вот она! И пустил Василька вниз по склону.

Рано утром 24 декабря 1918 года 1-я Томская дивизия Средне-Сибирского корпуса генерала Пепеляева, поддержанная артиллерийской бригадой Валуженича и полком другого перебежчика — Бармина, внезапно ворвалась в Пермь со стороны Мотовилихинского завода. Обескровленные непрерывными боями, застигнутые врасплох, ослабленные изменой части 29-й дивизии и Особой бригады 3-й армии Восточного фронта борьбы с мировой контрреволюцией отступили на запад, к Глазову.

Атаковали четырьмя колоннами: енисейцы наступали с востока, по Сибирскому тракту, Зиневич прошел по замерзшему пруду, рассеял отряд рабочей самообо-

роны, вооруженный берданками и наганами, и занял цеха пушечного завода; 1-й Томский полк и юнкерский батальон вдоль железнодорожной линии устремились к центру города, но возле Петропавловского собора были остановлены, прижаты к земле заставой из восьми пулеметов; главные силы дивизии под командой самого Пепеляева через кладбище, прямо по могилам вышли к Разгуляю, к губернской тюрьме, ныне — исправдому, где навстречу безумно бросилась в штыки трибунальская рота. Трибунальцы сбили головной батальон обратно в овраг и тут же сами полегли под казачьими шашками.

К полудню Лесново-Выборгский полк, занявший оборону вдоль Покровской улицы, был оттеснен к реке и сброшен на камский лед, бой откатился к вокзалу главной линии. Огрызаясь установленными на платформах орудиями, составы 3-й армии под огнем прорывались к мосту и уходили на правый берег. Потом один из эшелонов прямым попаданием разворотило на путях, движение замерло, началась паника.

Утром, когда начальнику пермского гарнизона Акулову доложили, что в Мотовилихе слышна стрельба, он сказал: «Эка важность! Теперь каждую ночь стреляют!» И пригрозил расстрелять паникеров. Сейчас бледный, без шапки, с перекошенным лицом Акулов пытался вскочить на коня, чтобы поднять в атаку роты Особой бригады, удерживавшей подступы к вокзалу. «По коням!» — истерично кричал он своему конвою, его хватали за руки, он вырывался и плакал.

Поезд командарма Лашевича уже ушел на правый берег, приказы отдавались по телефону, но Васильев, начдив 29-й, их не слышал — раненный в шею, охрипший, испятнанный кровью и сажей, он стоял на подножке паровоза, который тендером таранил разбитые вагоны, освобождая путь. Людским месивом клубились платформы, надрывались телефоны в аппаратной, один за другим умолкали вокруг вокзала пулеметы 1-го Рабоче-Крестьянского полка. Едва успели эвакуировать госпиталь. В пять часов дня последний эшелон прогудел под чугунными пролетами, вслед за ним бесшумно пронесли несколько дрезин, облепленных красноармейцами. Взорвать мост не удалось: бывший саперный прапорщик Иваницкий вызвался подвести застал к заложённой взрывчатке, но по дороге пристрелил помощника и бежал к победителям. Карабкаясь на

береговой откос, он, чтобы сверху не шлепнули по ошибке, орал во все горло: «Боже, царя храни...»

Пепеляев стоял на откосе, смотрел в бинокль на камский лед, испещренный полынками от снарядов, трупами лошадей, перевернутыми саними, бегущими и неподвижно распростертыми на снегу человеческими фигурками. Капитан Шамардин, адъютант, подвел Иваницкого, предъявил саперную снасть, которую тот захватил с собой как доказательство, начал докладывать о его подвиге, но генерал, не дослушав, развернулся и звучно врезал бывшему прапорщику по обмороженной скуле. Иваницкий взмахнул руками и сковырнулся в сугроб.

— Запомни, — склонившись над ним, наставительно произнес Пепеляев, — мы не за царя воюем, за Учредительное собрание. Таких песен больше не пой. Понял?

К шести часам все было кончено: город пал.

Верхом на Васильке, окруженный штабными офицерами, Пепеляев медленно ехал по Покровской — сзади полуэскадрон конвоя, впереди по-утиному переваливается на неровной мостовой броневик «Иртыш» с шапкой снега на башне. Из-под горы несет гарью, за Камой растекаются в небе дымы ушедших поездов, на реке, на окраинах еще постреливают, но здесь, в центре, тихо, пустынно широкие улицы, строго под прямым углом отходящие от Покровской вправо и влево, окна заложены ставнями. И везде так — носу не высунут за ворота, пока не разберут, чья взяла. Холуи, рабыя кровь! Завтра очухаются, напоят, как тараканы, с хлебом-солью, с адресами, прикажешь сапоги лизать, вылизут, а сейчас хоть бы какая барышня послала из окна воздушный поцелуй. Будто повымерли все, никто стопки не поднесет генералу. И для чего целый день мерз в парадной шинели? Тьфу! Сплюнул и поглядел с интересом: подумалось вдруг, что на таком морозе плевок, падая с высоты, успеет застыть на лету, лягнется о землю мерзлой лепешкой. Но нет, упал плевром.

Пепеляев обернулся к Шамардину, ехавшему чуть позади:

— Завтра представишь мне список всех пермских купцов. Понял?

Не генеральская это привычка — спрашивать, понятен ли приказ, но вокруг сплошь головотяпы, в одно

уху влетает, в другое вылетает. Шамардин, тот бывший уездный воинский начальник, пороху не нюхал, нагайками думает войну выиграть, шомполами. Труслив и по трусости своей старателен: что в Омске слух, то для Шамардина — циркуляр. Черта с два стал бы Пепеляев держать при себе такого адъютанта, ан не прогонишь — из Омска рекомендован как опытный и деятельный офицер. Хотя какой, к лешему, опытный! Пушку от гаубицы отличить не может. И в седле сидит, как митрополит на ослиати. Ясное дело, приставлен для наблюдения. Что ж, пускай. Пускай, сукин сын, понаблюдает, как генерал Пепеляев спит на снегу, сутками не бредется, первым идет под пули. Он покосился на Шамардина, который зачем-то вынул шашку из ножен, так и ехал с обнаженной шашкой в руке, победительно поглядывая по сторонам. Нет, брат! Еще недельку покрасуешься при штабе, и в строй, в строй. Нынче, после такой победы, никто не заставит держать в адъютантах эту шпионскую морду. Ни Гайда, ни ставка, ни даже сам Колчак. Мало ли, что он, Пепеляев, связан был с эсерами, что после восстания в Томске, когда свалили большевиков, пытался взять власть в свои руки. Не доверяли ему? Так вот же вам! Кто вошел в Пермь? Пепеляев.

По Покровской, потом по Сибирской. Попадались по пути мертвые лошади, некоторые без задних ног, с вырубленными кусками мяса. Совсем оголодали солдатики, где-нибудь по огородам пекут сейчас эту конину, а в дома лезть боятся — накануне сам зачитал перед строем приказ о расстреле за мародерство. Последний хлеб съели на прошлой неделе, в обозе лишь гнилая селедка да овсяная мука на лепешки. И раздета дивизия, разута. Полушубков нет, валенок не хватает.

— Понял? — переспросил он Шамардина. — Всех купцов... И шашку спрячь.

Прямо посреди улицы валялись конские трупы, целые своры собак рвали их с урчанием и визгом. Солдат убитых не трогали, а лошадей рвали, по уши в крови рылись во внутренностях, и за добычу держались до конца, прыскали из-под самых колес броневика, с мерзким лаем разбегались в шаг перед кортежем.

— Сразу видать, что тут у них за власть была, — сказал Пепеляев. — Псы-то вон как одичали.

Рано утром, едва началась пальба на окраинах, Мурзин из дому побежал в свою резиденцию на Соликамской, и вскоре вслед за ними примчался взмыленный курьер с приказом немедленно готовить к эвакуации архив и текущие дела. Подводу обещали через час.

Приказ, помеченный вчерашним числом, отстукан был на машинке и составлен по всем правилам — с номером исходящим, с печатью, внизу висела фасонистая подпись, которую Мурзин хорошо знал, и все же странно веяло от этой бумажки духом развала и паники. Даже казалось почему-то, будто приказ издан вовсе не вчера, а сегодня, и вчерашним числом нарочно помечен — из хитрости, чтобы в случае чего оправдаться.

Почти весь личный состав отряда районной милиции, которую вот уже полгода возглавлял Мурзин, два дня назад передан был в распоряжение командира Лесново-Выборгского полка. Осталось пятеро — трое милиционеров, Степа Колобов, помощник, и сам Мурзин. Он это решение считал ошибочным, ходил в штаб армии, доказывал, что именно сейчас, когда белые близко, наглеет всякое отребье, могут начаться погромы и грабежи, и поддержание в городе революционного порядка — их общее дело, дело чести. Иначе как потом будут смотреть людям в глаза? Но ему возразили в том смысле, что какая, мол, честь, коли нечего есть — Пепеляев уже на Сылве, и в этом, конечно, тоже был свой резон.

Мурзин прислушался: стреляли на кладбище, неподалеку от тюрьмы, и где-то возле Петропавловского собора густо и ровно строчили пулеметы. Снаряды летели со стороны Мотовилихинского завода и разрывались над Камой.

Те трое, что оставлены были ему для поддержания революционного порядка в Центральном районе, куда-то запропастились, явился только Степа Колобов, а чуть позднее прибежала секретарша Верочка забрать свои девичьи сокровища, которые для пущей безопасности она хранила здесь же, на Екатерининской. Шкатулка с дешевыми камешками и стекляшками, несколько платиц, какая-то вазочка.

— Ой, Сергей Палыч, — испуганно тараторила она, укутывая все это сорванной с окна занавеской, — что делается! У взвоза два дома разбило. Прямо в щепки... Я, Сергей Палыч, занавеску взяла. Чего им оставлять? И чайник тоже возьму. Ладно?

— Все забирай, — предложил Степа. — В хозяйстве пригодится... Ведро вон поганое.

Верочка обиделась:

— Пожалуйста, и так проживу. Пусть им достается!

— Да бери, бери, — сказал Мурзин. — Не слушай его.

Они со Степой провозились часа полтора, вытряхивая из шкафов документы и увязывая их в пачки, но обещанная подвода так и не появилась. Тогда решили документы сжечь. Развели во дворе костер, но окаянные бумаги, с таким трудом сложенные и увязанные аккуратными кипами, гореть не желали — тлели, обугливаясь по краям, сворачивались в плотный несгораемый куколь, и пришлось их снова развязывать, ворошить палками, раскидывать чуть не по листочку.

Кидая в огонь приказы и инструкции, протоколы допросов и обысков, реестры изъятых у буржуазии ценностей и списки личного состава отряда, в котором за эти полгода перебивали десятки людей, Мурзин время от времени поглядывал через ограду на улицу — надеялся, что вот сейчас увидит Наталью. Пора бы ей и прийти. Утром, когда убежал из дому, она в одной ночной рубашке встала на пороге, картинно раскинув голые руки, и объявила, что с места не стронется, пока он не наденет под гимнастерку вязаный шерстяной жилет. Разозлившись, Мурзин грубо оттащил ее от двери, пихнул на кровать и ушел. Теперь думать об этом было неприятно. Обиделась, наверное. Неужели, дуриха, до сих пор не поняла, что происходит в городе? Или характер выдерживает?

Стрельба слышалась уже в районе Разгуляя, совсем близко.

— Ну чего мы тут жжем? — заорал вдруг Степа, подсовывая какой-то листочек. — Нужны им наши секреты!

Мурзин глянул: «...шестнадцать пар валенок по причине холодной погоды...» Это была копия заявления, которое неделю назад он отнес в губснаб, откуда валенок для отряда так и не дали.

— Тикать надо, Сергей Палыч! — Степа отшвырнул свою кочергу. — Чего тут жечь? Пускай в ЧК жгут. А у нас ворье да жулье. — Он пнул сапогом пачку протоколов. — Кому они нужны?

Опять ухнуло над Камой.

— По мосту лупят, — сказал Степа.

Мурзин не отвечал, угрюмо орудуя в костре обгорелой палкой.

Однако сомнения были. Да, уголовники ослабляют изнутри любую власть, и ни к чему облегчать Колчаку борьбу с этой сволочью. Значит, документы надо жечь. Но, с другой стороны, отребье, оно при всякой власти отребье, и при белых страдать-то будут от него не только враги. Всегда хуже всего простым людям, которых он, Мурзин Сергей Павлович, начальник рабочей милиции, и защищал. А теперь, выходит, предаст? Значит, жечь не надо.

Он выгреб из огня дело об убийстве учительницы Бублейниковой, где уже многое прояснилось: глядишь, на днях взяли бы убийцу. Может быть, стоит подкинуть эту папку новой власти? Ведь никто не узнает. А если даже и узнают? Кто посмеет упрекнуть? Пролистал покоробленные страницы, и всплыло лицо человека, поставившего свою подпись под приказом об эвакуации: глаза навывкате, шаманское бормотливое красноречие. Этот посмеет. Вы, мол, товарищ Мурзин, искали корову, украденную у старухи Килиной с Большой Ямской, и почти нашли, и если белые найдут ее с вашей помощью, то гражданка Килина им и будет благодарна, вследствие чего утратит классовое чутье. А что пропадет она с одним чутьем, без коровы, это его не интересует. Сам небось первым драпанул в штабном вагоне и подводу не прислал. Какое дело ему до покойной Кати Бублейниковой? Опять же вопрос: что сделают белые с этой коровой, ежели сыщут ее по мурзинской подсказке? Вернут ли хозяйке? Да и в документах упоминаются фамилии сотрудников, могут арестовать родных. Значит, надо жечь.

— Ну, Сергей Палыч, вы как хотите. — Степа махнул через забор и сгинул.

Мурзин отобрал несколько текущих дел, которые вел сам, лично, отложил их в сторонку, на снег, а прочие бумаги продолжал жечь. И жег до того момента, как по верхушке тополя, осыпая ветки, секанула пулеметная очередь, с гиканьем пронеслись по улице всадники в черных папах.

Он еще успел завернуть домой, велел перепуганной зарезанной Наталье завтра с утра уходить к тестю в пригородное село, надел, чтобы хоть немного успоко-

илась, этот жилет и огородами припустил вниз, к Каме.

От взлетевших на воздух цистерн огонь перекинулся на склады, снег вокруг вытял сажень на десять, исходили паром лужи, сапоги скользили в размякшей глине. Из вонючего дыма выныривали отставшие красноармейцы и по льду бежали на правый берег. Пулеметная застава у Петропавловского собора еще держалась, но с другой стороны, от обледенелых причалов и до роскошного, с колоннами, дома купца Мешкова, где каких-нибудь два часа назад находился штаб армии, заснеженный взвоз был пуст во всю длину, наплывала оттуда жутковатая тишина.

Поодаль стоял на путях отцепленный агитвагон с изображением огромного полуголого молотобойца, расклепывающего собственные цепи, возле метался по шпалам политотделец Яша Двигубский — длинный, тощий, как стручок, парень в измызанной шинели. Увидев Мурзина, он с радостным воплем вцепился ему в плечо:

— Вот хорошо, что вы подошли, товарищ Мурзин! У меня тут колоссальные ценности. Пожалуйста, мобилизуйте товарищей красноармейцев...

Еще с десятков человек пробежали мимо, некоторые без винтовок.

— Пойдите, товарищи! — воззвал Яша. — Тут колоссальные ценности!

— Чего там у тебя? — спросил Мурзин.

Яша, почему-то вдруг успокоившись, начал перечислять:

— Агитлитература, листовки атеистические и с текстами революционных песен, шесть тысяч экземпляров обращения к братьям-фронтовикам, портреты...

— Да ты глянь, что делается! Спятил? Бросай свое добро к чертовой матери и дуй отсюда.

— Вы не имеете права! — завопил Яша. — Я доложу, да! Это волюнтаризм, так и знайте!

Мурзин с трудом отодрал от себя его цепкие костлявые пальцы, кубарем скатился на лед. Вниз по взвозу, шашками сверкая на морозном солнце, уже летели казаки, за ними, как мураши, черными точками сыпалась пехота. Он выхватил револьвер и побежал, выбирая места поторосистее, в надежде, что казаки остерегутся преследовать его там, среди ледяных глыб, где лошади могут поломать себе ноги.

На следующий день, спозаранку объехав позиции на правом берегу Камы, Пепеляев со свитой двинулся обратно в город.

Еще вчера утром в бывшем доме губернатора на Сибирской улице находился штаб одного из красных полков, а с вечера здесь разместилась городская комендатура. Сквозь двойные рамы губернаторского особняка выбивался стрекот пишущих машинок, у ворот караулила генерала очередная депутация, но не с хлебом-солью, а с громадным мороженым осетром, разинувшим бледную пасть, которого трое человек держали под мышками, как таран, словно изготовились вышибать им ворота комендатуры. Даже не взглянув на этих людей, хотя обласкал бы их, как родных, появившись они вчера, а не сегодня, Пепеляев шагнул во двор. Там двое молоденьких юнкеров, неумело тюкая топорами, кололи дрова. Он взял у одного топор, показал, как сподручнее бить по чурбаку, и лично, молодецкими ударами, развалил пару штук. Чурбаки со звоном разлетались на морозе. Юнкера смотрели понуро, но депутация, заглядывая в ворота, с холуйским восхищением зацокала языками.

В канцелярии подскочил Шамарин, сунул какую-то бумагу с машинописным текстом:

— Все пермские купцы, как вы приказывали...

Пепеляев глянул и поморщился:

— Что ты мне суешь эту пакость! Где тут ять, твердый знак, прочее?

— Ремингтонистка, дура, привыкла при красных, — подумав, оправдался Шамарин.

Предупредив, чтоб в последний раз, Пепеляев начал читать: «Седельников, Калмыков, Миллер, Каменский, еще Каменский, Фонштейн, Грибушин, Сыкулев-младший, Мешков, Исмагилов, Чагин...» Птичками отмечены те, кто в настоящий момент пребывают в городе, — восемь человек. Остальные, спасаясь от большевиков, разбежались кто куда. Без твердого знака на конце купеческие фамилии казались жалкими, как бы ошипанными, будто их владельцы нарочно приbedнялись, хитро выставляли свою якобы нищету, повальное разорение от прежней власти.

— К шестнадцати ноль-ноль, — распорядился Пепеляев, — этих восьмерых собрать здесь. Отпечатай приглашения, я подпишу.

Шамарин исчез — единственное, что он умел де-

лать ловко и бесшумно. Пепеляев прошел в каминную залу, просторную комнату с лепниной на потолке, с измахрившимися обоями, совершенно пустую, если не считать большого круглого стола в центре, окруженного разнокалиберными стульями, табуретами, креслами, среди них даже одно зубо­врачебное; на двух стульях с сиденьями красного бархата по­ложена простая не­струганая доска, чтобы за стол влезало больше на­роду. Голая столешница испятнана кругами от горячих стаканов, и Пепеляев подумал, что с такой дисципли­ной, когда гоняют чаи во время штабных совеща­ний, удержать город было, разумеется, невозможно. Сам он запрещал на военных советах пить даже воду.

С потолка свисали две электрические люстры с кру­говыми плафонами, целыми и разбитыми. Камин не горел.

Когда-то губернаторы давали здесь балы, мазурка сотрясала стекла, веяло духами и горячим воском от свечей, и не дубину-губернатора было жаль, а всю эту навек исчезнувшую жизнь — трогательную, хрупкую, обреченную среди тайги и снегов на верную гибель, как бабочка, вы­лупившаяся на рождество, и загадочную в своей обреченности. Он по­ходил по комнате, за­глянул в камин, откуда тянуло уличной стужей. Целое столетие эта зала была оранжереей, где рас­пускались чудесные зябкие цветы, и лишь идиоты могли считать, буд­то, высадив стекла, можно согреть оранжерейным теплом всю округу. Плебейская мечта: тот же бал, только не в губернаторском особняке, а по всей Рос­сии. И что? Обернулось пьяным разгулом, поножовщиной.

Впрочем, окна были целы, закрыты, щели проклеены бумажными полосами. Пепеляев рванул пару фор­ток, затем распечатал еще одну в смежной комнатушке, куда вела дверь прямо из залы, чтобы сквозняком вытянуло тяжкий дух комиссарской махры. Снял со стульев доску и вышвырнул в коридор. Зубо­врачебное кресло, бог весть каким ветром прибитое к этому сто­лу, решил пока оставить — оно напоминало о том, что все вокруг сошло с мест, перепуталось. Не только люди, вещи забыли о своих обязанностях, смута гуляла по России; в Тагиле, на главной площади, он видел лежа­щие рядом на земле статую Александра-освободителя и гипсовую девку в хламиде, изображавшую торжест­во свободы: одну свалили красные, другую — белые, и

на обеих сидели тагильские бабы в зипунах, торгующие жареными семечками.

Да, смута. Но, если честно, без этой смуты кем был бы сейчас он, генерал Пепеляев? В его-то двадцать семь лет. Ну, батальонным в чине подполковника. Кто бы его знал? Нынче же он командир корпуса, надежда России. А Виктор, старший брат? Пустомелил бы в Думе, статейки кропал в газетах. А теперь министр внутренних дел, член совета при верховном правителе Звездной палаты. Их эта смута вознесла к таким высотам, о которых год назад и мечтать не осмеливались.

Явился Шамардин, принес приглашения, составленные витиевато и длинно, с этакой уездной церемонностью. Пепеляев достал карандаш и вычеркнул лишние слова, затемняющие смысл. Велено прибыть, и никакой сахарной водицы. Затем велел разослать приглашения с вестовыми. Вместе с Шамардиным вышел в коридор, позвал другого адъютанта, любимого, поручика Валетко. Тот щелкнул каблуками, но не козырнул — накануне ранен был в правую руку, она висела на перевязи. Ему приказано было к шестнадцати ноль-ноль привести и построить на улице, под окнами каминной залы, первую роту юнкерского батальона.

Обстоятельный Валетко спросил, как именно следует построить роту.

— В две шеренги, повзводно, — сказал Пепеляев.

Депутация с осетром по-прежнему топталась у ворот, он видел ее из окна канцелярии, видел, как Валетко, проходя мимо, остановился, долго щупал рыбину, уважительно заглядывал ей в пасть, потом левой рукой вынул из ножен шашку и шашкой измерил длину: получилось два лезвия без эфеса.

Пепеляев решил все же выйти к депутатам. Оказалось, однако, что никакие это не депутаты. Представляли они лишь самих себя; просто купец Калмыков с сынами и прихлебателями на всякий случай надумал засвидетельствовать почтение новой власти. Калмыков, сдернув с лысой головы собачий треух, ринулся было целовать генералу руку, но Пепеляев быстро убрал обе руки за спину, с хрустом сцепил пальцы. Сказал:

— Отнесите раненым в лазарет.

Одним осетром всю дивизию не накормишь, а для себя лично он никогда ничего не брал.

— Сей момент, ваше превосходительство, доставим, — кисло отвечал Калмыков.

— А вас, господин Калмыков, жду сегодня здесь, у себя. К шестнадцати ноль-ноль.

Тот просиял:

— Такая честь, ваше превосходительство! Буду непременно. С супругой прикажете? Или без дам-с, по-военному?

— Без дам-с, — ответил Пепеляев.

Валетко, баюкая на перевязи раненую руку, печально смотрел на осетра: прикидывал, видимо, что, раз так, не отправиться ли и ему в лазарет.

— Юнкеров построишь и ступай, — проницательно улыбнулся Пепеляев. — Пока еще там сварят.

— Янтарнейшая будет ушица, — сказал кто-то из калмыковских прихлебателей.

— Такая честь, такая честь! — суетился Калмыков и подталкивал сыновей, чтобы те кланялись генералу, но ражие сыны стояли прямо, косились в сторону.

Из ворот выезжали вестовые с приглашениями, приосанивались в седлах, красуясь перед генералом.

Пепеляев вернулся в канцелярию, где Шамардин подал список пленных командиров. Особо важных птиц среди них не было. Дойдя до последней фамилии, Пепеляев удивленно вскинул глаза:

— Начальник полиции?

— Так точно, Мурзин Сергей Павлович. Его на улице жители опознали.

— У них что, полиция была?

— Ну, милиция, — сказал Шамардин. — Не все ли равно.

Мурзина подвел револьвер.

Но не в том смысле подвел, что дал осечку или патрон заклинило, нет, с этим все было в порядке. Может, и ушел бы на правый берег, как уходили десятки и сотни других, но сгоряча, уже на льду, пару раз пальнул назад из своей пушки. Зачем стрелял, одному богу известно. Из гордости, наверное, как пацан, чтобы не так стыдно было драпать, бахнул напоследок — мол, знай наших, и собственной же дуростью накликать беду. Казаки тут же сообразили, что, раз при нагоне человек, значит, не простой, начальник, и с ходу припустили за ним. Тогда уж Мурзин высадил всю обойму, но ни в кого не попал и постыдно взят был в двух сотнях шагов от берега.

Когда вели в город, выскочила из своей развалюхи старуха Килина, бросилась к Мурзину, стала требовать корову, которую он сулился отнять у злодеев, и казаки, расспросив бабу, сообщили офицеру, сортировавшему пленных в тюремном дворе, что поймали не кого-нибудь, а самого «начальника красной полиции». За это им обещаны были какие-то туманные льготы по части несения караульной службы.

Исправдом снова стал тюрьмой. Весь день сюда приводили пленных, обыскивали, наскоро допрашивали, снимали теплые вещи и загоняли в камеры. Пока стояли во дворе, к Мурзину сунулся знакомый начснаб одного из пехотных полков, тоже пленный, предложил меняться: его, начснаба, валенки на мурзинские старые сапоги. Хитрость была не ахти, валенки-то как пить дать отберут, а сапоги, может, и оставят, латанные тем более, и Мурзин не согласился. И действительно, оставили ему и сапоги, и шинель, даже Натальин жилет не заметили под гимнастеркой, а начснаба пустили по бетону в одних портянках.

Заперли их обоих в камере возле караулки, и это опять же не предвещало ничего хорошего — чтобы, значит, были под рукой. Сперва сидели втроем с командиром трибунальской роты Мышлаковым, у которого шашкой снесено было пол-уха и надрублено плечо; потом стали приводить других — двоих пожилых рабочих из отряда самообороны. Яшу Двигубского, угрюмого матроса в обгорелом бушлате, нескольких обозников, себе на беду грабанувших где-то комиссарские кожаны, маленького китайца из роты интернационалистов по имени Ван Го, или Иван Егорыч, еще человек десять, кого по разным причинам сочли подозрительными и выделили из толпы во дворе. Последним приволокли раненного в ногу командира пулеметной заставы у Петропавловского собора, бросили, как мешок, на пол.

Есть не давали, печь не топили. На бетонном полу стыли ноги; Яша, как цапля, поджимая то одну, то другую, стоял в углу, трясся и тоненько подвывал от холода. Ван Го на корточках присел у стены, его кукольная мордочка была печальна, но он, видимо, не знал, в каких словах высказать свою тоску чужака, одиночество, страх смерти, и когда Мурзин, метавшийся по камере, проходил мимо, Ван Го сказал ему с виновато-вежливой улыбкой:

— Был Иван Егорыч, стал китайса сволочь... Помирать нада.

К вечеру как-то незаметно две партии сложились в камере: те, что надеялись выбраться отсюда живыми, и те, у кого такой надежды не было. У Мышлакова не только надежды не было, а еще и была уверенность, что уж его-то первого расстреляют, и эта уверенность позволяла ему чувствовать себя здесь полным хозяином. Близость смерти давала ему особые права, каких не было у остальных. Яшу Двигубского он сразу принял под свое крыло. Постепенно вокруг них собралась вся партия — матрос, раненый пулеметчик, оказавшийся начальником пулеметной команды Лесново-Выборгского полка, двое самооборонцев и Мурзин. Ван Го пересел поближе к ним, но все-таки не совсем рядом: ждал, когда эти люди сами позовут к себе. Наконец Мурзин догадался, позвал:

— Айда к нам, Иван Егорыч.

Начснаб то пытался опереться на мышлаковский авторитет, нахально требовал у кого-то утаенные при обыске папиросы — покурить перед смертью, то, напротив, подсаживался к обозникам, упрасивал их выдать его за ездового, а Мурзину говорил:

— Ты, брат, в сапогах, а я в портянках. Нам друг друга не понять.

К ночи в караулке раскалили печь. Привалившись к стене, Мышлаков рассказывал, как неделю назад шел вечером мимо штаба армии, а там гармонь наяривает, бабы визжат, во дворе сани коврами устелены — кататься, у лошадей в гривах ленты, как на масленицу. И яростно материл штабных — суки, предатели, проспали город, смылись в одних подштанниках. Но стоило одному из обозников поддакнуть, как тут же рывкнул:

— А ты не вякай! Прав не имеешь.

Вдруг Яша, до того молчавший и жавшийся к Мышлакову, вскочил на ноги:

— Товарищи! Послушайте, товарищи! Да неужели мы дадимся живыми в руки палачам?

— А ты разбегись и башкой о стену, — предложил матрос.

— Сядь, Яша, — сказал Мурзин. — Как все, так и ты. Не шустри, успеешь.

Яша сел. Самооборонцы, великодушно оправдывая начальство, стали говорить, что вчера много снега навалило, телефонисты не могли сыскать оборванные про-

вода, не было связи со штабом, потому так все и вышло, никто не виноват. Пулеметчик с ними соглашался, кивал головой в спекшейся кровавой коросте. Он до последнего стоял у Петропавловского собора, и перед смертью ему не хотелось считать себя жертвой предательства.

— Холуй вы! — сердился Мышлаков. — Научили вас при царе начальников почитать, никак отвыкнуть не можете. Говорю, проспали город штабные. Предали нас. Какой, к хренам, снег!

— Снег, снег, — твердили самооборонцы, и почему-то Мурзину нравилось их упрямое смирение.

Ван Го все с той же виноватой улыбкой просил рассказать, как от Перми добраться до Харбина, и нарисовать, если можно, кусочком кирпича на полу чертеж: какие горы и реки будут справа, какие — слева, чтобы дух, вылетев из его тела, не заблудился по дороге на родину.

Мурзин и не заметил, когда именно из беспорядочного этого разговора начала вытягиваться ниточка истории, которую рассказывал Яша, про каких-то французских революционеров, якобинцев, приговоренных к смертной казни. Вначале его не слушали, перебивали, затыкали рот, но Яша упорно, как шелкопряд, тянул свою ниточку, и в конце концов притихли.

Этим якобинцам, рассказывал Яша, должны были с позором отрубить головы на гильотине. Их вели по улице к месту казни, и товарищ, избежавший ареста, оставшийся на свободе, по пути сумел украдкой сунуть одному из них в руку нож. И тот сразу вонзил его себе в сердце. Но мало того, что вонзил, еще успел, умирая, последним напряжением воли выдернуть нож из раны и передать другому, шедшему сзади, который сделал то же самое. И так все они, шесть человек, покончили с собой одним-единственным ножом, чтобы умереть достойно, показать палачам свое мужество.

— Зарезаться-то что, — оценил один из самооборонцев. — Каждый может. А вот передать... Да-а!

— Товарищи! — тонким голосом сказал Яша. — У меня нож есть. Я его под носком спрятал.

Мурзин протянул руку:

— Дай-ка взгляну.

Взял складной гимназический ножик, которым Яша, наверное, чинил карандаши в своем агитвагоне, рас-

крыл, с легкостью отломил игрушечное лезвие, а обломки зашвырнул в парашу.

У Яши слезы выступили на глазах,

— Зачем ты? — спросил Мышлаков,

— Да этим ножом курицу не зарежешь. Бесплатную комедь устраивать...

И Мышлаков согласился:

— Верно... То в Париже.

На следующий день первым выкликнули его, потом Яшу.

Мышлаков поднялся спокойно, лишь слюна, видать, набежала: пока шел по камере, раза три сплюнул на пол. Яша еще успел пожать руки матросу, пулеметчику, самооборонцам и Ван Го — всем, кроме Мурзина; даже начснабу протянул ладонь, но тот быстро отскочил в сторону и руки не взял, потому что у порога стоял офицер, смотрел.

Когда за Яшей и Мышлаковым закрылась дверь, обозники загомонили шумно, с облегчением: пронесло.

— Цыц, гады! — заорал матрос. — Придушу! Пули не дождетесь!

Вскоре увели и его.

Сидя на корточках, Ван Го изучал чертеж, сделанный на полу кусочком кирпича: восемь больших рек должно было остаться позади, после чего следовало повернуть направо, пролететь над девятой и опуститься на землю. Оранжевые, как Янцзы, реки текли по бетонному полу. Разом переступив через все девять, Мурзин пристроился поближе к двери, чтобы, когда выкликнут, не идти по камере под этими прожигающими взглядами, тут же шагнуть, не оборачиваясь, в коридор.

Первым из приглашенных подоспел Калмыков — на час раньше, чем было велено. Этот час он расхаживал по комендатуре, заглядывая во все двери, и если не прогоняли, радостно сообщал, что явился сюда по личной просьбе их превосходительства. От полноты чувств Калмыков оделял встречающих копчеными рыбками из принесенного с собой кулька. Тем, которые не очень торопились, он подробно рассказывал, где тут что стояло и висело при последних трех губернаторах, даривших его, Калмыкова, своей дружбой.

Остальные купцы собрались минут за пятнадцать до назначенного времени, а чаеоторговец Грибушин, в про-

шлом владелец нескольких магазинов, упаковочной фабрики и крупнейшего чайного павильона на Нижегородской ярмарке, прикатил на извозчике с небольшим опозданием, что Шамардин расценил как наглость и неуважение к властям.

На извозчике приехала также вдова купца Чагина, Ольга Васильевна, законная наследница салотопенных, мыловаренных и свечных заводов, где уже с полгода, наверное, ничего не топили и не варили.

Прочие пришли пешком.

Шубы и шапки приказано было оставить в шинельном чулане, рядом с канцелярией. По приказу Пепеляева камин уже затопили.

Без объяснений, поскольку сам ни о чем не знал, Шамардин провел приглашенных в каминную залу, там они и сидели, дожидаясь генерала и теряясь в догадках. Лишь Грибушин делал вид, будто причина приглашения не составляет для него секрета. Более того, намекал на какие-то их с Пепеляевым взаимные обязательства, не позволяющие преждевременно открыть эту причину. Впрочем, все были настороже, один Калмыков по-прежнему пребывал в самом радужном настроении: почему-то он был уверен, что речь пойдет о подрядах и поставках для армии, несомненно выгодных, и советовал Фонштейну не быть дураком, окреститься ради такого дела. Маленький скромный Фонштейн, сумевший раскинуть по всему Уралу сеть своих галантерейных лавок, на всякий случай благодарно улыбался. Он не любил иметь дело с мужчинами, особенно с военными, а на тех, от кого зависела его судьба, привык воздействовать через женщин — галантерейная торговля давала для этого немало возможностей. Но у Пепеляева не было пока в Перми ни жены, ни любовницы.

В камине пылали сухие, зимней рубки дрова. Поближе к огню, одышливо свистя носом и навалившись на поставленную между коленями простую суковатую палку, сидел Сыкулев-младший — грузный старик с кержацкой бородой, хозяин реквизированных красными пароходов, скупщик пушнины. Единственный из всех он наотрез отказался снять шубу, и Шамардин не смог с ним ничего поделать.

Другой бывший пароходчик, представитель знаменитой фамилии Каменских, Семен Иванович, кучерявый мужчина лет сорока пяти, нервно мотался по комна-

те, мельтеша полосатыми брюками и покусывая пода-ренную Калмыковым рыбку.

— Да сядьте же вы! Прямо в глазах рябит, — сказала ему Чагина.

Ее мужа, связанного с офицерским подпольем, расстреляли весной, после чего Ольга Васильевна, сохшая от его домогательских привычек, необычайно расцвела и похорошела. Ей не исполнилось еще и тридцати лет, и свобода, о которой так много все говорили в последнее время, была теперь для нее не пустым звуком.

Выбросив недоеденную рыбку в огонь, Каменский послушно сел рядом с Ольгой Васильевной. С другой стороны от нее уже сидел Грибушин.

— Говорят, губернаторов больше не будет, — сказала Ольга Васильевна, затеявая светскую беседу.

— И слава богу, — просипел Сыкулев-младший. — На что они нужны, дармоеды?

Как все скупщики и перекупщики, он не любил твердой власти.

— Не век же быть военной диктатуре, — возразил Каменский.

Они с Грибушиным оба были противники диктатуры, выступали за Учредительное собрание, но с недавних пор общность их политических убеждений утратила всякое значение: между ними встала вдова Чагина. И тем решительнее, что Каменский хотел на ней жениться, а Грибушин, человек семейный — так, поразвлекшись.

— Старший Пепеляев, как известно, член партии кадетов, — заметил Грибушин. — А младший, говорят, придерживается эсеровских взглядов. Просто до поры до времени не афиширует их.

— Дожили, — покачал головой Фонштейн, — генерал — и эсер!

— Что-то не похоже на то, — усомнился Каменский. — Как он из пушек-то по городу! На Монастырской два дома снарядами разбило, в квартале от меня. Человек с подлинно демократическими убеждениями такого бы себе не позволил.

Грибушин усмехнулся:

— Ну, генералы, они прежде всего генералы...

— Бога не гневите! — осерчал Сыкулев-младший. — В ножки ему поклонитесь, что большевиков прогнал. Ишь, растягивались!

— Которые на Монастырской, они сами виноваты, — сказал Калмыков. — Надо было в погреб лезть.

— А я так на крыше сидел, с биноклем, — неуверенно похвалился Каменский, косясь на Ольгу Васильевну. — Все же исторический момент. Пули вокруг — чирк, чирк!

Но Ольга Васильевна, никак не оценив его смелость, решила наконец вернуть беседу к выбранной теме:

— При губернаторе было общество. А если есть в городе порядочное общество, куда хочешь войти и быть принятой, как-то невольно больше начинаешь следить за собой.

— Куда уж больше вашего, Ольга Васильевна, голубушка? — удивился Каменский, с нескрываемым раздражением поглядывая на Грибушина, который восхищенно следил за движениями ее белых полных рук, разглаживающих на столе бумажку от съеденной конфеты.

— При всякой, душечка, ты власти хороша, — игриво добавил Грибушин.

Ольга Васильевна вздохнула:

— А что толку? Теперь я нищая, хоть по миру с сумой.

— Не с этой ли? — Грибушин указал на ее изящный кожаный ридикюльчик.

— Ты не приbedняйся, матушка, — сердито укорил Сыкулев-младший. — Мыльце-то, свечечки небось припрятала?

— Болтаете бог знает что! — возмутилась Ольга Васильевна.

— Говорю, что знаю... А вот мы с Семен Иванычем хотели наши пароходики зарыть где, да велики больно.

— А у меня рыбка есть, — сообщил Калмыков. — Врать не буду, есть рыбка. Так ведь и у вас, Петр Осипыч, — обратился он к Грибушину, — чаек, поди-ка, имеется.

— Был, — согласился тот. — Десяток цыбиков спрятал в подвале, а весной затопило, подмокли. Мы потом эту водицу черпали. Наберешь с полведра, и в самовар. Лучший китайский чай был, сорта шу-зинь, с жасминовым листом, а вышел вроде кирпичного.

— Все мы теперь нищие, господа, — примирительно заключил Фонштейн.

— Что и говорить, — подтвердил Каменский.

Ольга Васильевна сверкнула на него острыми черными глазами.

— Коли так, что вы ко мне подсаживаетесь?

— Ничего, господа, ничего, — подбадривал Калмыков. — Поправимся, даст бог.

Но у всех остальных на душе было беспокойно, и тревога еще усиливалась от того, что за столом находилось почему-то кресло дантиста — белое, с подголовником, странно притягивающее взгляд, не понятно кем и для чего здесь поставленное. Возле этого кресла, не принимая участия в разговоре, стоял непроницаемый Исмагилов — боковая ветвь одного из могущественных казанских торговых домов: мануфактура низшего сорта, скобяные изделия.

— Может быть, — робко предположил Каменский, — нас призвали сюда затем, чтобы разом восстановить в имущественных правах? В конце концов у военной диктатуры есть одно неоспоримое преимущество: никакой волокиты.

— Да, да! — обрадовался Калмыков.

Прочие промолчали, а Сыкулев-младший совсем уж свирепо засвистал носом.

Ровно в шестнадцать ноль-ноль пришла и построилась на улице юнкерская рота — в две шеренги, фронтом к особняку. Пятью минутами раньше, войдя в кабинет коменданта города, чьи обязанности Пепеляев решил временно исполнять сам, Шамардин доложил, что приглашенные прибыли. Правда, большинство пермских гильдейных купцов, доложил он, разъехались кто в Сибирь, кто в Уфу, кто за границу, осталось восемь, из них налицо семь; купец Седельников при красных тронулся умом, и говорить с ним ни о чем нельзя.

Пепеляев поднялся из-за стола, мельком глянул на себя в зеркало. Он соскучился по настоящим зеркалам, ведь совсем недавно надеты генеральские погоны, еще не остыли, обжигают плечи.

— Господа-а! — первым входя в залу, строго воззвал Шамардин.

Купцы встали — шесть мужчин и одна женщина.

— Садитесь, мадам, — сказал ей Пепеляев.

На левом фланге, с которого Шамардин начал представлять прибывших, пыхтел толстый бородатый старик с палкой, о нем сказано было, что это господин Сыкулев-младший.

Интересно, подумал Пепеляев, каков же старший.

— Начать следовало бы с дамы, — напомнил он Шамардину.

Вслед за Ольгой Васильевной представлены были прочие: вальяжный Грибушин, поклонившийся с достоинством вызванного из ссылки опального боярина; суетливый, похожий на пуделя Каменский, виновато глядящий Фонштейн, каменноликий Исмагилов и еще раз Калмыков, старый знакомец. Каждому Пепеляев протягивал руку. Грибушин пожал ее по-европейски, спокойно и мягко; Каменский вцепился так, словно тонул; Фонштейн деликатно взялся за самые кончики пальцев, Исмагилов едва тронул и сразу отпустил, будто обжегшись; Калмыков дружески встряхнул, а Сыкулев-младший медленно оплел генеральскую ладонь узловатыми мощными пальцами и не отпускал, пока Пепеляев сам не вырвал.

С улицы наплывал приглушенный стеклами дробот, мерный стукоток — там стыла на ледяном ветру юнкерская рота, топталась, грея зябнущие ноги.

Наконец гостям предложено было сесть.

— Ну, господа, — спросил Пепеляев, — и как вам тут жилось при большевиках?

Молчание, потом вызвался Грибушин:

— Позвольте, ваше превосходительство, я скажу за всех...

Но сказать за всех ему не дали, каждый хотел доложить сам за себя. Первым, исчисляя понесенные убытки, ровно загудел Сыкулев-младший, за ним вступил Калмыков, Грибушин же, способный широко смотреть на вещи, начал говорить от имени тех купцов, которые разбежались из города, не дождавшись прихода белых, а также от лица тронувшегося умом несчастного Седельникова. Каменский называл имена конфискованных пароходов, а Сыкулев-младший, прислушиваясь, то и дело встревал:

— Да разве то пароход? Баржа поганая. От-то у меня был пароход...

Ольга Васильевна даже всплакнула, поминая обыски, реквизиции, смерть мужа и неделю трудовой повинности. Исмагилов, и тот ввернул, не выдержав, какую-то непонятную жалобу, лишь Фонштейн молчал, скорбно глядя на генерала, но его молчание было внятнее любых слов.

Пепеляев слушал равнодушно. Поначалу купцы еще соблюдали приличия, но вскоре заговорили все хором,

перебивая друг друга, скопом наваливаясь на одного, если тот пытался преувеличить свои потери, и в общем гуле истинная картина событий вырисовывалась туманно. Впрочем, Пепеляев не очень и стремился ее прояснить.

— Аки Иов на пепелище! — провозгласил наконец Сыкулев-младший, грянув палкой об пол, и Пепеляев решил, что хватит, высказались.

Он поднялся:

— В таком случае прощайте, господа.

Сразу стало тихо.

— Я вас больше не задерживаю, прощайте, — повторил Пепеляев. — Я думал, с вами можно иметь дела, а вы, оказывается, разорены вконец.

— У меня есть рыбка! — испуганно выкрикнул Калмыков.

— Скажу за всех, — опять вылез Грибушин, и на этот раз никто его не остановил. — Не спешите с выводами, ваше превосходительство. Видите ли, несмотря на небывалые насилия, кое-что удалось нам и сохранить в предвидении будущего. Я прав, господа?

Утвердительно ответил один Калмыков, но и возражений тоже не послышалось.

— Тогда, — сказал Пепеляев, — прошу всех подойти к окну. И вас, мадам... Полюбуйтесь, как одеты ваши освободители.

На морозе, на ветру коченела рота — ботиночки, тощие шинельки, фуражки вместо шапок, нитяные перчатки, прикипающие к затворам, а у иных и вовсе упрятаны в рукава голые руки. Посинели губы, уши покрыты черными коростами.

— Бедненькие, — вздохнула Ольга Васильевна.

Калмыков заметил, что неплохо бы им водочки, а Грибушин сказал:

— Ваше превосходительство, теперь я вижу, вы действительно сотворили чудо. Земной вам за это поклон. — И поклонился величаво.

— Вы сами убедились, в каком положении находится дивизия, — сказал Пепеляев. — Моим людям нужны полушубки, валенки, шапки, рукавицы. Нужно мясо и масло. Сено, овес, теплые попоны для лошадей. У меня нет подвод, и лошадей тоже не хватает. Короче говоря, господа, я рассчитываю на вашу благодарность.

— Но у нас ничего этого нет, — быстро сообщил Каменский.

— Минуточку, Семен Иванович. — Оттерев его в сторону, вперед снова выступил Грибушин. — Пожалуй, мы могли бы провести кое-какие торговые операции и получить то, что вам требуется. Но не сразу, конечно.

— Срок? — спросил Пепеляев.

— Не меньше месяца.

— Много!

— Можно и побыстрее. Вопрос вот в чем: какими деньгами вы намерены с нами расплачиваться?

В первый момент Пепеляев от изумления и обиды не нашелся даже, что ответить, и тут ж все опять загалдели. Сыкулев-младший хотел получить плату исключительно царскими золотыми империялами или, на худой конец, серебряными рублями, Фонштейн согласен был даже на кредитные билеты Сибирского правительства, прочие настаивали на иностранной валюте, английской или французской. Грибушин готов был взять и японские иены.

Пепеляев молча, с презрением разглядывал этих людей, которые даже сейчас, натерпевшись под большевиками, остались прежними, ничем не желали поступиться во имя собственной же свободы. Он обернулся к Шамардину:

— Прикажи увести юнкеров.

— И, разумеется, — добавил Грибушин, — мы хотели бы получить некоторые гарантии в виде аванса.

— Задаточек — это само собой, — подтвердил Сыкулев-младший.

— Да поймите же вы! — Пепеляев сделал последнюю попытку. — Деньги у меня только сибирские, а их никто брать не хочет. Если же я начну проводить насильственные реквизиции по деревням, это в конце концов ударит по нам же. И по вам, господа! Мы теперь одной веревкой повязаны. Мужик отвернется от нас. Нужно ему заплатить за лошадей, за подводы, за валенки. Понимаете? За все то, без чего я не могу наступать. Такое уж сейчас время, все мы должны чем-то жертвовать. Вспомните Минина!

Купцы слушали хмуро, лишь Фонштейн согласно кивал, но и он помалкивал.

— Мне нужны деньги! — почти кричал Пепеляев. — Золото, драгоценности! Я не верю, что вы ничего не сумели припрятать. И они нужны мне сейчас. Немедленно! Не через месяц и не через неделю! Слышите? Потрясите кубышками, господа! Во имя России! Гляди-

те, я, генерал Пепеляев, кланяюсь вам в ноги! — И в самом деле поклонился, опустив руку до полу и бешено чиркнув ногтями по паркету.

Тишина сгустилась, оттеняемая законным топотом, словами команд, звяканьем ружейных тренчиков; там уходила, не выполнив поставленной задачи, юнкерская рота. Затем выплыл одинокий голос — грибушинский:

— У нас нет денег.

— Черт с вами, возьму натурой на обмен! Какие товары можете мне предложить?

— У нас ничего нет, — сказал Грибушин при общем одобрительном ропоте. — Ни товаров, ни наличных денег, ни драгоценностей. Мы нищие.

Это было настолько неожиданно, что Пепеляев на мгновение растерялся:

— Позвольте, но ведь вы только что говорили...

— Вам послышалось, — нагло заявил Грибушин.

На улице начинало темнеть, но электричество еще не зажгли. Камин прогорел, в комнатных сумерках тлеющие угли переливались, как сокровища на дне сундука. Пепеляев смотрел в камин, чуть раскачиваясь взад-вперед от сдерживаемой ярости, которая пересекала дыхание, свинцом наливала ноги. В тишине едва слышно поскрипывала портупея, вот выстрелила, рассыпавшись прахом, последняя головешка, ойкнула Ольга Васильевна, вошедший Шамардин опасливо косился на генерала: уж он-то хорошо знал, что сулит это раскачивание.

— Час вам на размышление, — тихо проговорил Пепеляев. — Заметьте время. — Взглянул на часы и вышел, с силой захлопнув за собой тяжелую дверь.

Штукатурка, шурша, осыпалась за обоями.

Ровно через час он вошел в каминную залу, где при его появлении сразу стихли возбужденные голоса, и получил тот же ответ.

Купцы стояли тесной кучкой, прижавшись друг к другу: Ольга Васильевна в центре, справа от нее Каменский, затем Калмыков, слева — Грибушин и Сыкулев-младший, а на фланги вытеснили Исмагилова с Фонштейном. По лицам видно было, что уступать они не собираются.

— Кто проводил реквизиции? — спросил Пепеляев.

Грибушин усмехнулся грустно:

— Да все, кому не лень. ЧК, милиция, военные... Мы нищие.

— Послушайте, уважаемые! — вскипел Пепеляев. — Мне известно, какими суммами исчислялись ваши состояния еще год назад. И вряд ли все это удалось присвоить большевикам, вы не дети! Я надеюсь от каждого из вас получить на нужды армии взнос в размере не менее десяти тысяч рублей в пересчете на золото по курсу шестнадцатого года.

— Десять тысяч? — ахнул Каменский. — За что?

— Царские деньги и «керенки» не годятся, — спокойно продолжал Пепеляев. — Для оценки золота и камней будет приглашен опытный ювелир. Все товары также приму по ценам шестнадцатого года.

— Это что же, — взвизгнул Каменский, — контрибуция?

— Вовсе нет. Сугубо добровольное пожертвование. Как при Минине.

— Но вы еще не Пожарский, — сказал Грибушин. — Это насилие, и мы будем жаловаться адмиралу Колчаку.

— Сколько угодно, — отмахнулся Пепеляев, подумав однако, что Шамардин вполне способен еще раньше настрочить донос в Омск.

Возле камина, прислоненная к стене, стояла кочерга с деревянным эфесом. Пепеляев сжал ее в руке и так, с кочергой, мимо шарахнувшихся купцов прошел к выходу, остановился:

— Спрашиваю в последний раз: вы согласны?

— Нет, — за всех ответил Грибушин.

— Что ж, в таком случае, подумайте до утра.

Со вздохом облегчения Каменский немедленно устремился к двери, но Пепеляев загородил ему дорогу кочергой:

— Куда? Думать вы будете здесь.

Уже в дверях Шамардин решил напомнить генералу, чтобы оставил кочергу, и отвечено было громко, в расчете на всех:

— Она им не понадобится.

Солдатика, спешившего по коридору с охапкой дров для камина, Пепеляев отослал обратно.

— Печь не топить, — приказал он Шамардину, — обойдутся. К дверям караул, без моего разрешения никого не выпускать. В нужник водить под охраной. Даме принеси шубу, остальные пускай так сидят. Понял?

— Не крутенько ли? — усомнился Шамардин, но под тяжелым генеральским взглядом тут же изменил ход мыслей на прямо противоположный. — Или, может, не церемониться с ними? Взять людей и послать сейчас по домам с обыском. Что найдем, то наше.

— Красные вон целый год искали, а всего не нашли, — рассудил Пепеляев. — Нахрапом не возьмешь. Да и слухи поползут. Лучше бы обойтись без лишних разговоров... Ты вот что: давай-ка приведи мне этого начальника милиции, который в тюрьме сидит. Мурзин, кажется?

— Ну и память у вас, — почтительно восхитился Шамардин, думая о том, что утро вечера мудренее: завтра видно будет, писать донос в Омск или не писать.

К вечеру начало пуржить, под ветром сугробы и крыши домов курились мелкой белой пылью.

Выйдя из тюрьмы, двинулись не в кладбищенский лог, откуда утром, когда увели Яшу с Мышлаковым, доносились выстрелы, и не к реке, где, как говорили в камере, пленных расстреливают и спускают прямо под лед, чтобы не долбить могилы в мерзлой земле, а сразу от ворот направились в другую сторону, к Вознесенской церкви: впереди Мурзин, за ним двое конвойных, сбоку толстенький вислоносый капитан, повелительно подпрыгивающий на ходу. Свернули на Сибирскую, и окончательно отлегло от сердца. До этого Мурзин шел нараспашку, готовясь к смерти, а теперь застегнул шинель.

Вошли в губернаторский особняк. Вестибюль, коридор; капитан отворил одну из дверей, пропустив Мурзина вперед себя; кабинет: пяток стульев у стены, стол, за столом человек в генеральских погонах — молодой, не больше тридцати. Лет, наверное, на пять помоложе самого Мурзина.

— Шапку сними! — страшным шепотом приказал капитан.

— Ничего, мы люди военные. Можно и в головных уборах. Садитесь... Я генерал-майор Пепеляев. Знаете такую фамилию?

— Слышал.

— А вы, значит, у большевиков полицией заправляли?

— Милицией.

— И какая разница?

— Большая, — сказал Мурзин.

Зачем его сюда привели, он не знал, даже не догадывался, но по обращению уже предчувствовал какой-то соблазн, перед которым непросто будет устоять, и не только от голода мерзко сосало под ложечкой.

— Ах да, — улыбнулся Пепеляев, — я и забыл. Ведь все уголовники теперь ваши братья, вы их из тюрем выпускали. Они, по-вашему, жертвы социальной несправедливости. Так? Мать родную зарезал, так это общество виновато. Чем же вы, разрешите узнать, занимались в своей милиции?

— Да ничем, — сказал Мурзин. — Блох ловил.

— А, случаем, в реквизициях участия не принимали? У купцов, например?

Мурзин покрутил головой:

— Ох Сил Силычи! Наябедили уже?

— Вот им бы его и отдать, чтоб патронов не расходовать, — вставил капитан. — В куски размечут. Особо этот, Сыкулев-младший.

— Да-а, Шамардин, — отозвался Пепеляев, — раньше-то, бывало, полиция грабителей ловила, а эти сами грабят. Действительно большая разница.

— Днем грабят, ночью с девками гуляют, — сказал Шамардин.

— На бывшего уголовника вы, правда, не похожи, — продолжал Пепеляев, изучающе оглядывая Мурзина. — Но будь так, я ничуть не удивился бы. По вашей логике, что получается? Батрак станет хозяином, пролетарий — заводчиком. А вору кем же быть?

— Вы будто в воду смотрите, — усмехнулся Мурзин. — Я при царе семь теток отравил, божий храм обчистил.

— Лучше расскажите, как купцов грабили.

— А то не знаете, как грабят? Ночка темная, прихожу с кистенем. Кошелек, говорю, или жизнь...

— Ну, ваньку-то не валяйте! — разозлился Пепеляев.

Мурзин пожал плечами:

— А что? Сидим, разговоры разговариваем. Почему не рассказать?

— Конфискации у купцов подлежало все имущество? — спросил Пепеляев. — Или что-то им оставляли?

— Так вы у них сами спросите, все или не все.

— Непременно спрошу. А пока что вас спрашиваю.

— Да я совру, недорого возьму, — сказал Мурзин.

— И они точно так же. Купцов не знаете? Начнут прибедняться, канючить. А мне нужно знать правду.

— Зачем? — удивился Мурзин.

— То есть как зачем? Для правды. Хочу понять, не преувеличены ли слухи о ваших насилиях.

Мурзин молчал. Почему-то не хотелось говорить эту правду, хотя личные вещи у купцов не изымали, реквизировали только товары для нужд фронта, да и то не все, и на кое-какие торговые операции, необходимые населению, смотрели сквозь пальцы. Кроме того, в самые последние дни стало известно о тайных грибушинских, исмагиловских и чагинских складах, собирались проверить, да не успели. Но об этом генералу знать было вовсе не обязательно.

Между тем Пепеляев начал подробно выспрашивать про каждого из купцов по отдельности: сперва про Грибушина, потом перебрал остальных — что у них было, что взяли, не осталось ли чего и где может быть спрятано. Мурзин отвечал уклончиво, не понимая, зачем генералу все это нужно, и после очередного туманного ответа Пепеляев не выдержал, сорвался:

— Да кого вы покрываете? Чего ради? Это же злейшие ваши враги!

— Капиталисты, — добавил Шамардин. — Кровососы!

Пепеляев сделал ему знак замолчать, но поздно: ситуация начала проясняться. Само собой, купцы, как им и положено, жмются, не желают ни гроша давать своим освободителям, валят все на него, на Мурзина — мол, обобрал до нитки, оставил голыми. Ай молодцы! Решили хлебом-солью отделаться. Он покосился на большой каравай, завернутый в расшитое полотенце и лежавший на краю стола, хотя до этого старался лишний раз в ту сторону не глядеть, слюной томило.

Перехватив его взгляд, Пепеляев оторвал здоровенный ломоть:

— Угощайтесь.

Но не протянул, а сперва подержал немного на весу, потом, разжав пальцы, выронил на стол, словно собаке давал, приманивал, и смотрел выжидающе: возьмет или не возьмет?

Мурзин взял. Разом откусил полкраюхи, так что щеку свело набок, стал жевать и заметил, что Пепеляев с покровительственным презрением разглядывает его перекосившееся лицо.

— Можно еще маленько хлебца-то? — попросил, тяжело сглатывая.

Небрежно-изящное движение генеральской кисти — и каравай, стремительно проехав по столу вместе с полотенцем, рухнул Мурзину на колени.

— И сольцы бы хорошо.

Деревянная расписная солонка, щелчком припечатанная к столешнице, переместилась на ближний край, и Мурзин аккуратно пересыпал все ее содержимое в карман шинели. Затем вырвал из-под корки кусок мякиша, посолил, запихал в рот. Пепеляев, расслабившись, наблюдал за ним с очевидным удовольствием.

— Вот что, братец, — сказал он. — Будешь говорить правду, отпущу тебя ко всем чертям. Понял?

— Ага.

— Даю честное слово.

Мурзин кивнул. Теперь он видел контур соблазна очерченным до конца, и странное облегчение холодило душу. Ближайший план был таков: успеть съесть побольше, пока не отобрали.

— Начнем с Грибушина, — предложил Пепеляев. — Что могло у него остаться после ваших реквизиций?

— Ничего, — с набитым ртом промычал Мурзин.

— Ни товаров, ни золота, ни драгоценностей?

— Шаром покати.

Прожевав, дополнил:

— Все они нынче голые, Сил Силычи-то.

— И Каменский? — спросил Пепеляев.

— Как сокол. Мои ребята у него и ложки серебряные унесли.

— И Чагина, и Фонштейн, и Сыкулев-младший?

— Голытьба, — подтвердил Мурзин.

Минут через пятнадцать такого разговора Пепеляев, рассвирепев, отнял у него остатки каравая и закинул в угол. Мурзин стоял на своем, и непонятно было, то ли он врет, пытается провести, то ли его самого провели хитрюги купцы.

Шамардину приказано было Мурзина обратно в тюрьму не водить, запереть здесь же, в чулане. Если утром купцы сдадутся, выложат контрибуцию, можно будет обвинить его в том, что соврал, и расстрелять.

Как быть, если купцы не сдадутся, Пепеляев пока думать не хотел.

В дверь постучали, вошел часовой-юнкер, один из двоих, поставленных у каминной залы, доложил, что арестованные выбрали парламентаря и просят его принять.

— Веди, — обрадовался Пепеляев.

И рано обрадовался: через минуту прибыл Каменский, что уже само по себе доказывало всю несерьезность дела. Почему для переговоров купцы прислали не Грибушина, а этого обормота в полосатых брюках? И действительно, от лица всех Каменский предложил внести требуемую сумму в царских ассигнациях или в «керенках». Но Пепеляев решительно отклонил попытку компромисса.

— Передайте вашим коллегам, — сказал он, — что в случае отказа все вы завтра будете переведены в еще более холодное помещение.

Таким помещением могла быть и какая-нибудь щелястая хибара, и тюрьма, и даже, при некотором воображении, могила, поэтому от комментариев он воздержался. Каменский, крепко струхнувший, уведен был назад, в каминную залу.

Пепеляев погасил лампу, устало поднялся из-за стола и подошел к окну. Тишина, медленный ток снега над черными крышами. Ветер утих. В коридоре слышались шаги, стук палки — видимо, Сыкулева-младшего повели в нужник. Затем палка простучала в обратном направлении, хлопнула дверь, и теперь уже вперебой с сапогами конвойного зацокали каблучки Ольги Васильевны. Пепеляев улыбнулся: это был хороший знак, угроза подействовала.

Он приказал подавать коня, сначала посетил старые казармы за Сибирской заставой, где разместились один из полков и юнкерский батальон, устроил юнкерам перекличку, осмотрел пожарную снасть и поспешил на заседание временного комитета по выборам в городскую думу — первого демократического учреждения новой власти, все члены которого были назначены им лично; сказав короткую речь, помчался на вокзал, где ремонтировали разбитые снарядами пути, с вокзала — в штаб дивизии. Там он составил десяток приказов, еще столько же подписал, и до часу ночи сидел над штабными картами: из Омска приказывали 2-ю Сводную дивизию полковника Штамммермана двинуть на уфимское направление; для наступления на Глазов сил не хватало, решено было расширять плацдарм на правом берегу Камы и ждать подкреплений. В час ночи по телефону до-

несли, что верстах в двадцати от города появился красный бронепоезд. Поскакали на Каму. Пепеляев испытал боеготовность охранявшей мост батареи, затем с двумя командирами полков поехали в номера Миллера, чей владелец еще не вернулся из Уфы, съели приготовленный денщиками не то ужин, не то завтрак и разошлись по комнатам. Выжиги-купцы казались уже чем-то далеким, несущественным, почти не существующим. С наслаждением раздевшись, Пепеляев лег в чистую цивильную постель, и было такое чувство, будто он лег, полежал немного, а уже надо вставать: в дверь стучали. Спал, наверное, часа полтора, не больше — утром, около шести часов, разбудил Шамардин, рапортовавший, что купцы согласились на капитуляцию. Казалось, он ждет, что сейчас генерал соскочит с постели и бросится его обнимать, но Пепеляев никакого особенного восторга не испытал. Позавчера пал город, сегодня сдалась, выкинув белый флаг, последняя цитадель.

— С каждым пошли двоих солдат, — сказал он. — Пускай идут по домам и несут все в комендатуру. Сроку им два часа. Пока не приду, никого не отпускай. Понял?

И снова откинулся на подушку. С недосыпу ломило затылок, веки отекали, в переносицу будто вдавливали всю ночь, бильярдный шар. Закрыв глаза, но уснуть уже не мог. Лежал, прикидывал, как выгоднее употребить полученные средства, как сделать, чтобы купцы не стали ябедить в Омск. Припугнуть? Да, сперва припугнуть, а потом в газете «Освобождение России», которая начнет выходить с завтрашнего дня, опубликовать письмо с благодарностью всем семерым за добровольное пожертвование. А Грибушина бы, например, неплохо назначить членом комитета по выборам в городскую думу. И лучше почетным членом, чтобы на заседания не приглашать. Не то еще начнет воду мутить... Ну и Шамардин себе не враг; если все обойдется без шума, доносить он не станет.

В двадцать минут девятого Пепеляев подъехал к губернаторскому особняку и уже в вестибюле, заметив часового у шинельного чулана, вспомнил, что здесь, за этой дверью, сидит Мурзин.

Тот нехотя встал навстречу — небритый, с мятым лицом.

— Ну что? Будешь рассказывать, как купцов-то грабил?

— Свидимся на том свете, расскажу, — пообещал Мурзин.

— Обождать меня там придется.

— Ничего, обожду. Бог даст, недолго.

— Так вот, — ласково сообщил Пепеляев, — сейчас мне доложили, что пермское купечество решило пожертвовать в пользу моих солдат по десять тысяч рублей с брата.

— Не шибко-то расщедрились, — сказал Мурзин, ничуть не удивившись, и Пепеляев запоздало сообразил, что сюрприза не получилось: здесь, в чулане, хранились купеческие шубы и шапки, купцы заходили сюда, прежде чем отправиться по домам.

— Значит, обманул меня вчера? — спросил Пепеляев. — Или тебя, может, обманули Сил Силычи? А? Ты с них одну шкуру, другую, а у них этих шкур как у капусты. Давай божись, будто знать ничего не знал. Тогда отпущу.

Мурзин молчал.

— Оглох? Побожись на коленях, так и быть, поверю. Выведу сейчас на крыльцо, получай под зад и проваливай... Ну?

— Совестно, — сказал Мурзин.

— Ишь ты! — удивился Пепеляев. — Гордый? А чего тогда хлеб мой жрал?

— Есть хотелось, — объяснил Мурзин.

— И еще хочешь?

— Хочу. Двое суток не ел.

— Есть хочешь, а жить не хочешь? — Пепеляев смотрел не понимая: странно было, как уживаются в этом человеке плебейская готовность пойти на унижение ради куска хлеба и плебейский же твердолобый фанатизм. — Божись, дурак. Накормлю и отпущу.

— Нет, — сказал Мурзин. — Не стану.

Выйдя в коридор, Пепеляев еще помедлил, дожидаясь, не передумает ли; не дождался, велел часовому запереть чулан и двинулся в сторону каминной залы.

Понурые, с зелеными лицами, кутаясь в шубы, купцы сидели за столом, среди них — важный лысый старичок с бородкой, с моноклем в глазу.

— Это ювелир Константинов, — подсказал Шармдин.

— Молодец, догадался, — похвалил Пепеляев, оглядывая стол в поисках принесенных сокровищ, но ничего

не увидел, кроме маленькой черной коробочки, одиноко стоящей перед Константиновым.

Шамардин между тем докладывал, что Калмыков согласился внести свою долю рыбой — соленой, вяленой и мороженой; Грибушин — чаем, Ольга Васильевна — мылом и свечами, и свозить все это в комендатуру не имеет смысла. Фонштейн же предъявил вексель, согласно которому Сыкулев-младший задолжал ему как раз десять тысяч, и он, Шамардин, чтобы продемонстрировать всем твердость и справедливость новой власти, решил взыскать эти деньги с Сыкулева-младшего дополнительно к его собственному взносу, а с Фонштейна ничего не взыскивать.

— Правильно, — одобрил Пепеляев.

Сыкулев-младший запыхтел, собираясь возмутиться, но генерал прикрикнул:

— Отставить, господин Сыкулев!

При всей своей нелюбви к ростовщикам он понимал: долги надо платить, потому что любой должник всегда надеется на перемену власти, которая все спишет, и положиться на него нельзя. Причем это относится ко всяким долгам, не только денежным.

— Но проценты в пользу Фонштейна, я думаю, взимать не стоит, — сказал Шамардин. — Десять тысяч и ни копейкой больше. И вексель уничтожить.

— Совершенно верно, — кивнул Пепеляев. — Никаких процентов! Еще чего!

Шамардин, ободренный двумя похвалами кряду, продолжал докладывать: за Каменского также уплатил Сыкулев-младший, но уже на сугубо добровольных началах; Каменский подписал обязательство уступить ему за эту сумму пассажирский пароход «Людмила», он же «Чермозский пролетарий», который осенью был уведен красными и в настоящее время находится в районе Чермозского завода, сто верст вверх по Каме.

— Ну и ну! — Пепеляев с подозрением глянул на Каменского. — Не продешевили вы? Целый пароход, и всего за десять тысяч?

— А что делать? — огрызнулся тот, нервно дрыгая тощим коленом, обтянутым полосатой брючиной. — Как прикажете поступить, если мне только самовар и оставили? Ждать, пока вы меня расстреляете?

Пепеляев сощурился:

— По-моему, господин Каменский, вы сомневаетесь в прочности Сибирского правительства.

— Нет! — ужаснулся Каменский.

— Сомневаетесь и не верите, что мы сможем гарантировать вам владение «Людмилой». В таком случае пеняйте на себя. Еще локти станете кусать. — Пепеляев с улыбкой повернулся к Сыкулеву-младшему. — Считайте этот пароход своим. Благодарю за доверие, вы получите его в целости и сохранности... После победы.

Выпучив глаза, Сыкулев-младший начал подниматься со стула, но Пепеляев опять махнул рукой, и он сел.

— Итого, — подвел баланс Шамардин, — в счет векселя Фонштейну, за Каменского и за себя лично господин Сыкулев представил перстень с тремя бриллиантами.

— Золотой?

— Платиновый. Ювелир оценил его в тридцать две тысячи рублей по курсу шестнадцатого года.

— Тридцать две — тридцать три, — солидно уточнил Константинов. — Изумительная вещь. Бриллианты чистой воды и необычайно крупные.

— Пускай будет тридцать три, — милостиво решил Пепеляев. — Три тысячи мы ему вернем. Чаем, свечами или мылом. Вы что предпочитаете, господин Сыкулев?

Тот не отвечал, с ненавистью косясь на генерала.

— Любопытно, откуда у вас такой перстень?

— Говорит, что фамильная драгоценность, — объяснил Шамардин.

— Ага, — ухмыльнулся Грибушин. — От бабки-поденщицы в наследство достался.

— А он не фальшивый? — поинтересовался Пепеляев.

Старичок-ювелир оскорбленно поджал губы.

— Ну а этот гусь? — Пепеляев ткнул пальцем в Исмагилова.

Шамардин развел руками:

— Ничего не принес. Отказывается, понимаете ли.

— Лущще помирать буду! — заявил Исмагилов и тут же, без долгих разговоров отослан был в тюрьму, чтобы там подумал как следует.

— И черт с ним! — сказал Пепеляев, когда Исмагилова увели. — Я хочу посмотреть перстень. Надо же, тридцать три тысячи!

Шамардин шагнул к столу, взял маленькую черную коробочку, поставил ее себе на ладонь, бережно открыл и замер, вылупив глаза: перстень исчез.

Когда Пепеляев ушел, Мурзин снова сел на пол. Сидел, мял в руке оброненную кем-то из купцов перчатку, думал о Наталье. Как она там? Успела ли уйти к тестю? В чулане было темно, и возникало такое чувство, будто ему перед смертью завязали глаза. Всякий раз, едва по коридору приближались чьи-то шаги, чтобы оглушительно прогреметь мимо двери и удалиться, затихнуть вновь, он невольно втягивал шею в плечи и напряживал мускулы, как охотничий кречет, которого уже вывезли в поле и вот-вот сдернут с головы застывший свет суконный клубочок.

Дед Мурзина родом был из Казанской губернии, село Старокрещеново под Царевококшайском, жили там русские вперемежку с татарами, крестившимися в незапамятные времена; они ходили в церковь, но почитали и развалины древней мечети за околицей, пили водку, но не брезговали и кумысом. Еще при царе Михаиле Федоровиче старокрещенцам пожалована была свобода от всех податей и казенных повинностей, кроме одной: ловить и поставлять ко двору для царской охоты белых кречетов, которые водились в окрестных дубравах. Потом всех кречетов переловили, а свобода осталась. Цари давно стали императорами всероссийскими, позабыли, как с кречета клубочок снимать, как подбрасывать его с руки при виде мелькающей в полях куропатки, а старокрещенцы хотя и пахали землю, как все мужики, но по-прежнему считались государевы кречетники, люди вольные; никому не принадлежали. Народ был лихой, соседние помещики их побаивались. А лет семьдесят назад, еще при крепостном праве, начальство в Казани вдруг спохватилось: какие-такие кречетники? Откуда взялись? Донесли в Петербург, и велено было старокрещенцам записаться по выбору в любое из податных сословий: в купцы, мещане или казенные крестьяне. Мурзин-дед приписался к царевококшайскому мещанству, а внук перебрался в Пермь, женился, работал слесарем на пушечном заводе.

Для забавы Мурзин держал голубятню, но нет-нет, и особенно по пьяному делу, всплывала давняя пацанья мечта — поехать в Старокрещеново, изловить белого кречета, которые, как говорили, раз в десять лет еще попадались в тамошних прореженных дубравах. И Наталья, когда он, хмельной, вваливался в дом, гладила по голове, шептала о том, как вместе поедут, поймают, выучат, станут на охоту ходить, всегда будет на столе

свежая дичь; он затихал, размякал от этого шепота, а утром вставал и шел на завод собирать орудийные замки. Детей у них не было. Потом решили взять из приюта младенчика, и, чтобы от соседей скрыть, что не свой, приемыш, Наталья подкладывала на живот, под платье, подушечку — будто беременная. Но тут началась на пушечном забастовка, Мурзин в поганой тачке прокатил по цехам инженера Люкина, мерзавца и шпиона, за что угодил в Сибирь, на поселение, и там, среди ссыльных, пить бросил, начал книжки читать, в три года стал тем Мурзиным, каким был и теперь.

Вскоре после того как ушел Пепеляев, за дверью поднялась беготня, крики, еще час, наверное, миновал, затем приблизились шаги, отличные от всех прочих, и в проеме, на свету, опять возникла высокая легкая генеральская фигура.

— Выходи, — сказал Пепеляев.

Негнушима пальцами расстегивая шинель, чтобы нараспашку пойти навстречу смерти, Мурзин выбрался из чулана, однако двинулись не на улицу, не к выходу, а в противоположную сторону — в глубь особняка. Вошли в тот же кабинет, где были вчера, где в углу валялись остатки каравай, который до сих пор отрывался, и когда Пепеляев, не садясь, опять заговорил о купцах, о сделанных ими добровольных пожертвованиях, Мурзин никак не мог взять в толк, зачем ему все это рассказывается по второму разу. Смерть была совсем близко, рядом с ней шестнадцатый год, по ценам которого Пепеляев собирался принять у купцов пожертвованные товары, то есть всего-навсего позапрошлый, казался далеким, как времена кречетников: тогда была одна жизнь, а теперь — другая, и непонятно было, каким образом из той могла возникнуть эта.

Он слушал Пепеляева, но слышал не его слова, а законные будничные звуки утреннего города: звон ведер у обледелой колонки, собачью брехню, налетевший свист санного полоза, колокол, и так ясны и отчетливы были эти звуки, так много за ними открывалось душе, что, казалось, никакая сила не может заставить его, Мурзина, больше их не слышать. Даже смерть.

Солнце играло в закуржавевшем окне кабинета, Пепеляев хвастал не то своей прозорливостью, не то просто удачей — дескать, за день добыл то, чего Мурзин не сумел получить за целый год; и снова появилась мысль, больно ожегшая еще утром, когда купцы разбирали из

чулана шубы и шапки, чтобы идти за контрибуцией: вот не отобрали у них всего и досталось генералу, обернется оружием, лошадьми, фуражом, продовольствием. А из-за кого так вышло? Тот, с глазами навывкате, пометивший фальшивой датой приказ об эвакуации, сказал бы, не задумываясь: вы и виноваты, товарищ Мурзин. Но виноват ли? Да, он доказывал, что нехорошо купцов разорять подчистую, они тоже люди, кто-то ведь и торговать должен был в этом мире, раз уж мир так устроен. Кто как, но Мурзин при реквизициях поступал по совести, изымал не все, а лишь ту часть, что нажита обманом. Сам, расспрашивая приказчиков и горожан, вникая в бухгалтерию, изучая приходные и расходные книги, тщательно определял эту часть, для каждого из купцов разную: например, у Сыкулева-младшего она доходила до девяти десятых всего имущества, а у Калмыкова составляла не более половины. Почему же революционная власть должна ставить их на одну доску? Это несправедливо. Он, Мурзин Сергей Павлович, начальник рабочей милиции, хотел справедливости, и не его вина, что город пал. Снег ли тому причиной, как утверждали самооборонцы, или проспали штабные, изменил Валюженич, но город пал, ничего не поправишь, и купцы сдались, остается лишь умереть достойно, в распахнутой шинели.

А Пепеляев продолжал говорить, и внезапно на ровной тусклой поверхности его речи, будто выброшенное подводным ключом, закачалось, вынырнув, одно-единственное слово, круглое и блестящее, не похожее на другие, — перстень. И опять — перстень, перстень. Мурзин прислушался: был, оказывается, какой-то перстень, принесенный Сыкулевым-младшим, а теперь его почему-то нет, был и сплыл. И прежде чем все окончательно прояснилось, еще не понимая, какая существует связь между этим разговором и пропавшим сыкулевским колечком, но уже предчувствуя новый поворот судьбы на дороге, которая минуту назад казалась выпрямленной до конца, видной во всю длину, Мурзин, со снисходительной улыбкой взглянув на генерала, спросил:

— Что, надули Сил Силычи?

Через четверть часа вместе с Пепеляевым вошли в большую комнату. В углу горел камин, забранный в чугунную, с литыми цветами, раму, к нему тягой сносило

дым от папирос, которые курили Калмыков и Грибушин. Сизые разводья и струи с двух сторон врывались в горящий камин, хотя Калмыков из скромности пускал дым себе за пазуху, а Грибушин выдувал его чуть не в лицо стоявшему рядом с ним важному лысому старичку с бородкой — это, видимо, и был ювелир Константинов. Каменский мрачно сосал погасшую трубку. Фонштейн грыз ногти, Сыкулев-младший скреб кочергой поленья, чтобы горели жарче, и на вошедших не смотрел. Ольга Васильевна разглаживала на столе бумажку от съеденной конфеты.

Ссутулившись, втянув голову в плечи, Мурзин задержался у порога. Он по опыту знал, что первый взгляд бывает ценнее всех последующих, открывает многое, и не торопился входить в залу, но Пепеляев, шедший сзади, нетерпеливо подтолкнул в спину — мол, клубочек сдернут. Лети! Впрочем, это не генерал, а Мурзин сам так про себя подумал. Пять минут назад Пепеляев подбросил его с руки охотиться за исчезнувшим перстнем, и Мурзин полетел, потому что на этот раз выкупом обещаны были еще четыре жизни — двоих самооборонцев, раненого пулеметчика и китайца Ван Го, он же Иван Егорыч. Мурзин сам потребовал такой выкуп, и Пепеляев согласился.

Старичка ювелира Мурзин видел впервые, но купцов знал хорошо. И они тоже его знали — утром, когда, пихаясь и лязгая зубами, расхватывали из шинельного чулана свои шубы, Грибушин брезгливо поморщился при виде Мурзина, сидевшего в этом чулане; Исмагилов выругался по-татарски, Каменский как бы нечаянно наступил каблуком на ногу и предложил всем проверить карманы — не пропало ли чего; Фонштейн злорадно хихикнул; Сыкулев-младший, который в чулан не входил, потому что был в шубе, от дверей замахнулся палкой, и лишь Калмыков, оттесненный товарищами, последним дорвавшийся до своего пальтеца, украдкой сунул Мурзину в руку хвост копченой рыбки.

Все они сейчас были здесь, кроме Исмагилова. По их пришибленным физиономиям нетрудно было представить, что им пришлось пережить, какая буря пронеслась по этой зале два часа назад, когда обнаружилось, что черная коробочка таинственным образом опустела. Мурзин видел баранью шевелюру Каменского, способную скрыть не один перстень, а целую дюжину. Шевелюра взъерошена; вероятно, в ней шарили, раздвигая

упругие завитки, чьи-то пальцы — юнкера-часового, Шамардина или даже самого Пепеляева. Тот вполне мог не сдержать нахлынувшее бешенство, дать волю рукам.

Мурзин видел вывернутый и не заправленный обратно карман калмыковского пальтеца, съехавший на сторону грибушинский галстук и еще многое другое, ясно говорящее, что купцов уже успели обыскать. И, видимо, при этом не сильно церемонились. Но в туалете Ольги Васильевны, единственной из всех, он не заметил ни малейшей небрежности. И выражение лица было таким, словно чьи руки не шарили только что по ее телу: чуть искоса глядят хитрые черные глаза, безмятежный профиль подставлен для обозрения генералу и точно следует за его перемещениями по комнате, чтобы Пепеляев именно в таком ракурсе ее видел. Руки в муфте, муфта лежит на коленях и едва заметно шевелится — пальчики елозят в меховой пещерке. Рядом Каменский трясет полосатыми коленями. Беззвучно шевелит губами Сыкулев-младший, его щеки опали, борода торчит, и, кажется, даже палка истончилась — не апостольский посох, а старческая клюшка. И печать надменного всезнания на лице Грибушина хотя и держится еще, но расплылась, побледнела. Калмыков же и Фонштейн, почему-то ставшие вдруг похожими, как родные братья, нежно прижались плечами друг к другу.

— Этот человек, — Пепеляев кивнул на Мурзина, — он вам, слава богу, известен, будет вести дознание.

Купцы молчали, плохо понимая, почему из арестанта, чуланного сидельца, Мурзин внезапно превратился в следователя, почему генерал с ним заодно. Это было похоже на провокацию, и купцы настороженно молчали, выжидая, что будет дальше, поглядывали на Мурзина, который рассматривал зубоврачебное кресло, потом несколько раз крутанул винт подголовника.

— Все его распоряжения должны исполняться беспрекословно, как мои собственные. — Пепеляев уже овладел собой, голос звучал спокойно, глухо, чуть глуше, может быть, чем вчера, и только паузы между словами, жесткие, как металлические прокладки, свидетельствовали о сдерживаемой ярости — легкий звон повисал в воздухе, когда сказанное слово, обрываясь, наталкивалось на такую паузу.

— Этот мерзавец? — не выдержал наконец Фонштейн. — Он же нас грабил!

— Господа, нас нарочно хотят унижить! — догадался Каменский. — Вы издеваетесь над нами?

— А вы надо мной? — ледяным тоном спросил Пепеляев.

— У вас эсеровские замашки, — отважно заявил Грибушин. — Экспроприации, контрибуции... Мы будем жаловаться в Омск.

— Это я уже слышал. И тоже повторю: никто из вас не выйдет отсюда до тех пор, пока не будет возвращен перстень.

— Дайте нам бумагу и чернила! — крикнул Каменский. — Сейчас мы составим петицию!

— Я не подпишусь, — быстро сказал Фонштейн.

— Я тоже, — поддержал его Калмыков.

— И я, — просипел Сыкулев-младший. — Пушай те подписываются, у кого рыльце в пуху.

Каменский оторопел:

— Вы что? Вы на что намекаете?

— Не брал, так и сиди смирно. Пушай поищут.

Наблюдая за Мурзиным, который спокойно стоял у порога, Грибушин неожиданно передумал.

— Правда что, пусть поищут. — Он подхватил под локоток Ольгу Васильевну. — А мы с вами, душенька, полюбуемся, как это у них получится. Не каждый день такие спектакли.

— Кто-то же его взял, — рассудила она, кокетливо поглядывая то на Грибушина, то на Пепеляева.

Каменский, оставшийся в одиночестве, махнул рукой и отошел к окну.

— А по-моему, — подал голос Константинов, — напрасный труд искать вора. Его попросту нет. Я уже говорил вам, господин генерал, что это не человеческих рук дело. Наверняка тут замешаны высшие силы. Зря только вы оскорбляете нас подозрением.

— Да-да, — усмехнулся Пепеляев, — это самое естественное объяснение. Первое, что приходит на ум. Высшие силы! Духи! Вы что, спирит?

— Я ювелир, — сказал Константинов.

— Тогда какого черта? Может быть, нам, господа, сесть сейчас вокруг этого стола и покрутить блюдечко? Авось укажет вора? — Он говорил все громче, верхняя губа вздернулась, грозно темнела между передними зубами атаманская щербинка.

Мурзин понюхал воздух и сказал:

— Что-то ладаном пахнет.

Шамардин объяснил, что приходил священник, стены окуривал после большевиков.

— Отец Геннадий, — уточнила Ольга Васильевна. — Из Покровской церкви.

— Тем более, господа, никаких чертей! Никаких духов!

— Но ведь я предложил чисто научное объяснение случившегося, — напомнил Грибушин.

— Да? — стремительно обернулся к нему Пепеляев. — Вы по-прежнему считаете, что никакого перстня вообще не было? Что он всем померещился?

— Я так считаю, — серьезно ответил Грибушин. — Коробочка с самого начала была пуста. Я видел это собственными глазами.

— Я те дам «пуста»! — возмутился Сыкулев-младший. — Я те покажу, крмыза! Чаегон чертов! Чего горишь?

Пепеляев уже не слушал. Сопровождаемый Шамардиным, он направился к двери, но Мурзин заступил им дорогу:

— Минуточку... Ведь капитан тоже был здесь, когда кольцо исчезло?

— Я не отлучался ни на секунду! — похвалился Шамардин.

— Значит, и вы должны остаться... Подозрение ложится на всех.

Шамардин, пораженный таким оборотом дела, вопросительно уставился на генерала, надеясь прочесть в его глазах возмущение, участие и даже, если повезет, молчаливое поощрение к тому, чтобы смазать по сусалам этому вконец охамевшему арестанту, но ничего подобного прочесть не удалось.

— Останься, — равнодушно сказал ему Пепеляев и вышел в коридор.

Там все еще расхаживал этот поп в полном облачении, окуривал стены, оскверненные пребыванием в них штаба Лесново-Выборгского полка. При виде генерала, мрачно идущего по коридору, он застыл на месте, затем суетливо, по-лакейски, поклонился.

— Не стыдно, батюшка? — рассердился Пепеляев, которому не понравилось такое холуйство. — Чин свой уважать надо.

Тот улыбнулся виновато:

— Грозны вы, ваше превосходительство... Сробел.

К ним, издали улыбаясь генералу, подходил поручик Валетко; ухи из калмыковского осетра он в лазарете откушал за троих, но оставаться там не захотел.

Пепеляев приказал ему немедленно доставить сюда из тюрьмы тех четверых, о ком говорил Мурзин. Не велики птицы, в любом случае стоят перстня ценой в тридцать три тысячи рублей. Но, с другой стороны, раз просят за них, значит, не случайные люди, а враги. Правда, дежурный по комендатуре, умница, подал дельную мысль: отпустить, если Мурзин найдет перстень, а в газете напечатать, что, мол, отпущены по чистосердечному раскаянию, прощены, ибо сообщили ценные сведения военного характера. Их потом свои же и шлепнут. Да, не совсем благородно. А что делать? Не такие, увы, сейчас времена, чтобы можно было позволить себе щегольнуть собственным благородством. А если Мурзин ничего не найдет? Что ж, тем хуже для него. Как посмотрит в глаза людям, которые от его имени получили надежду на жизнь? Им все сразу объявят, сейчас же. И никакого садизма тут нет, все по справедливости. За надежду тоже надо платить, а с шестнадцатого года цены на этот товар сильно поднялись.

Валетко удалялся по коридору особой адъютантской походкой, одинаковой и здесь, в комендатуре, и на поле боя; со стороны могло показаться, что он идет медленно, хотя Валетко шел быстро. Пепеляев смотрел ему вслед, в голове шелкало: шестнадцатый год, шестнадцатый год. Будто колесо рулетки прокручивалось и замирало всякий раз на одной цифре. Время развала, надвигающейся катастрофы и поражений на фронтах, но теперь приходилось равняться на этот год, как на грудь правофлангового, хотя грудь тощая, цыплячья.

В приемной ждали посетители, дежурный офицер уже рассортировал их по трем категориям, как накануне предусмотрел сам Пепеляев: прежде всего дела военные, затем личные и в последнюю очередь общественные. Эти потому относились к третьей категории, что были пока трухой, переливанием из пустого в порожнее, ничего не значили. Общество еще не осознало себя при новом порядке, и личные дела были важнее: через них обыватели скорее уразумеют происшедшие перемены.

Пепеляев прошел в свой кабинет, начался прием.

Бывший жандармский ротмистр Микрюков, ныне на-

чальник дивизионной контрразведки, пришел посоветоваться относительно постановки сыска в городе, но тем не менее принят был первым. По виду это было общественное дело, а по сути — военное, потому что время военное, и на оплату агентов Пепеляев решил выделить Микрюкову часть денег из наложенной на купцов контрибуции. Начальник вокзальной охраны просил увеличить число постов, определенных караульным расписанием; четыре офицера, принятые по очереди, уроженцы Пермской губернии, ходатайствовали о предоставлении им отпуска в родные места, причем один из них, прапорщик Гашев, юлил, пытался прикрыть личную нужду общественной — без него якобы в Нытвенском заводе не сможет утвердиться демократия. Троим Пепеляев просто отказал, а Гашеву, чтобы неповадно было, приказал прямо из комендатуры отправляться на гауптвахту.

Это уже были дела на грани между военными и личными, после чего пошли сугубо личные.

Мещанин Шмуров, погорелец, просил о возмещении убытков за дом, спаленный вчера солдатами на постое; Пепеляев подробно расспросил его, как случился пожар, уличил в неправильном хранении керосина и выгнал с позором. Нескольким офицерским вдовам в недалеком будущем обещан был пенсioen. Мамаша девицы Геркель, узнавшая среди юнкеров соблазнителя своей дочери, требовала, чтобы генерал поговорил с ним и заставил жениться; Пепеляев согласился, записал фамилию юнкера.

Личных дел было много, а общественных, как сообщил дежурный по комендатуре, совсем мало. Пришел один из членов комитета по выборам в городскую думу, но зачем он пришел, Пепеляев так и не понял — видимо, для того, чтобы изобразить деятельность, пофигурировать перед генералом. Некий Гусько принес смету на ремонт водопровода, но Пепеляев, торопясь в каминную залу, не стал в нее вникать, велел зайти через неделю. Последним дежурный привел странного человечка в ветхой чиновничьей шинели, с воспаленными глазами на комковатом, обросшем седой щетиной личике. Фамилия его была Гнеточкин, раньше он служил в канцелярии губернского правления письмоводителем. Гнеточкин явился с двумя проектами. Первый — на Сибирской улице, перед комендатурой, поставить мраморную вазу под балдахином, куда бы все обижен-

ные опускали свои жалобы и прошения. Второй — как Александр Македонский держал при себе философов для говорения ему одной лишь правды, так бы и генерал с той же целью принял в свою свиту его, Гнеточкина.

Сумасшедший, подумал Пепеляев.

— Предположим, — сказал он, — я принимаю вас к себе. Что бы вы открыли мне в первую очередь?

— Сегодня утром, — таинственным шепотом отвечал Гнеточкин, — я проходил мимо этого дома и видел, как из окна вылетела чья-то душа.

— Да ну? — улыбнулся Пепеляев.

— Истинный крест, ваше превосходительство!

— Как же она выглядела?

— Белая, ваше превосходительство. С крыльями. И собой невелика. Можно сказать, душонка.

Пепеляев сделал серьезное лицо:

— И что вы советуете мне предпринять?

Гнеточкин кивнул на дежурного по комендатуре:

— Пусть он выйдет.

— Выйди, — сказал Пепеляев.

— Среди ваших помощников, — моргая, заговорил Гнеточкин, когда остались вдвоем, — есть человек, продавший душу. Скорее найдите его и отошлите от себя. Иначе он завлечет вас на ложный путь. Берегитесь, ваше превосходительство!

В недолгой беседе выяснилось, что он и к губернатору обращался со своими проектами, после чего был выгнан со службы, и к красным тоже; Пепеляев поблагодарил за предупреждение, обещал срочно приступить к розыскам человека без души и выпроводил Гнеточкина за дверь, велел обождать в приемной.

— По глазам, по глазам смотрите, — уходя, наказал тот.

Дежурному по комендатуре приказано было сейчас же увести этого юродивого в больницу, там и держать, чтобы не болтал по городу, будто при генерале Пепеляеве состоит какой-то сукин сын, души не имеющий.

Он встал, походил по кабинету, распиная вылезшие из гнезд паркетины. Мерзко было на душе. Да, он победил — взял город, захватил мост и плацдарм на правом берегу; собрать корпус в кулак, и можно наступать дальше на запад, к Глазову и Вятке, а там рукой подать до Котласа, до Архангельска, откуда ударит навстречу генерал Миллер, соединиться с ним —

и на Москву. Англичане по Белому морю все подвезут, кроме валенок. Это сейчас каждую винтовку нужно везти сначала вокруг света, мимо Индии, а потом еще по транссибирской магистрали, где паровозов не хватает, где то партизаны, то японцы, то атаман Семенов. А там уж подвезут. И хорошо бы первым войти в Москву. Вчерашнее заседание комитета по выборам в городскую думу снова показало, что есть, есть в стране силы, готовые связать свою судьбу с ним, генералом Пепеляевым. Все так, но на душе мерзко. Как же вышло, что он с протянутой рукой стоял перед теми, кто ему по гроб жизни должен быть благодарен? Унижался, кланчил. И чего добился? Такие, как Мурзин, высаживают стекла в оранжерее, а эти выжиги под шумок строят себе теплицы из осколков.

Стол завален был ворохом поздравительных телеграмм, пришедших со всей Сибири. Быстрым движением руки Пепеляев смел их со стола. Они разлетелись по кабинету, усеяли пол. Грош цена этим бумажкам. Как дойдет до дела, никто ни копейки не даст. Сминая их сапогами, Пепеляев прошел во двор, вскочил в седло и один, без конвоя, поскакал к вокзалу Горнозаводской ветки. Туда, как сообщил дежурный по комендатуре, со станции Левшино пригнали два эшелона с пленными красноармейцами числом до полутора тысяч.

На месте обнаружилось, однако, что вовсе это не красноармейцы, а просто солдатики, уроженцы сибирских губерний; они возвращались домой из германского плена и под Пермью задержаны были боями на магистрали. Сосчитанные по головам, включенные в победную реляцию, которую вчера по телеграфу передали в Омск, замерзшие и голодные, они угрюмо глядели на генерала, сгрудившись у вагонных проемов; с крыши вокзала на них наведены были четыре пулемета Шоша, на перроне топталось оцепление. Начальник штаба предлагал всех их мобилизовать, но Пепеляев счел опасным держать вблизи линии фронта людей, наверняка распропагандированных большевиками. Он распорядился беспрепятственно пропустить эшелоны на восток и телеграфировать генералу Голицыну, дабы тот их задержал и рассовал этих солдатиков по тыловым частям. И велел передать в Омск новую сводку: пленных на полторы тысячи меньше.

Начальник штаба осторожно попробовал возразить, но Пепеляев оборвал его как мальчишку:

— Отставить, полковник! Обсуждению не подлежит.

Чиновники погубили Россию, а это была чиновничья психология — грести под себя, врать начальству, желаемое выдавать за возможное, а возможное — за действительное. Хватит, наигрались в эти игры!

Правда, немного утешила другая новость: на складах губснабжения нашли семь тысяч пар новых валенок. Пепеляев сразу вспомнил виденных позавчера убитых из 29-й дивизии — они лежали на снегу в лаптях, в опорках, просто в намотанном на ноги и подвязанном веревками тряпье.

Вообще все яснее становилось, что трофеи достались богатые, можно бы и наплевать на купеческие рубли, на пропавший перстень. Пропади они совсем! Но спустать купцам не хотелось. Еще решат, что на дурака напали. Нет уж! Хотелось и купцов унизить, и самого Мурзина — заставить служить за подачку, что уже было победой над ним, найдет он перстень или не найдет. Скорее всего не найдет. Куда ему! И другая возникала надежда: явиться сейчас в каминную залу и самому все понять, самому отыскать вора. Пускай Мурзин побежденным умрет, жалким. А тех четверых расстрелять прямо у него на глазах.

Пепеляев медленно ехал по Сибирской вверх, к губернаторскому особняку, потом гикнул и пустил Василька вскачь.

— Ну, господин Мурзин, — сказал Грибушин, — насколько я понимаю, вы калиф на час. Не теряйте времени.

С пронизательностью опытного коммерсанта, привыкшего распознавать подлинные отношения между людьми, какими бы словами ни прикрывались эти отношения, он сумел правильно истолковать ситуацию. И Ольга Васильевна женским чутьем поняла: этот альянс между Пепеляевым и Мурзиным — временный, непрочный. Но остальные, в том числе и Шамардин, знавший, что генеральские причуды дело серьезное, к новому представителю власти отнеслись вполне уважительно. Фонштейн тут же начал выяснять, будет ли предъявленный им вексель зачтен за добровольное пожертвование в пользу воинов-освободителей в том случае, если перстень так и не сыщется. И Каменского занимал тот же вопрос, но применительно к подписанному им

обязательству уступить «Людмилу» Сыкулеву-младшему.

— Я свою долю внес, — говорил Каменский, — и знать ничего не знаю. Сами виноваты, что не уследили.

— За вами уследишь, — сказал Шамардин.

Встревоженный тем, что генерал за него не вступился, лишенный власти, вместе с купцами посаженный под арест, он старался теперь держаться поближе к Мурзину, словно был его помощником, а не подозреваемым, как все.

Несмотря на грибушинский совет, Мурзин пока выжидал, не торопился. Двое самооборонцев, раненый пулеметчик и китаец Ван Го, невидимые, с надеждой смотрели на него, а он верил в свою удачу и не торопился.

Час назад в генеральском кабинете нахлынул азарт, как позавчера, на камском льду, когда вдруг выхватил револьвер. По-пацаньи захотелось показать себя, утереть нос Пепеляеву. Мол, знай наших! Но, поостыв, начал торговаться. Четыре жизни потребовал он взамен, ставя залогом собственную, и это была красная цена сыкулевской побрякушке, сколько бы она ни стоила. И уж вообще не имела цены возможность посрамить генерала, чтобы наконец уразумел, с кем воюет. Генеральскому честному слову Мурзин доверял, хотя на всякий случай пожелал услышать его при свидетелях. Пепеляев рассердился, но позвал двоих офицеров — дежурного по комендатуре и своего адъютанта с рукой на перевязи, поручика Валетко, а также по настоянию Мурзина пригласил женщину, одну из ремингтонисток, — и дал слово при них.

Прошло минут десять. Поскольку Мурзин молчал, купцы постепенно начали забывать о его присутствии. Грибушин, склонившись к Ольге Васильевне, вполголоса рассказывал о своем путешествии в Японию, где он изучал правила чайной церемонии.

— Говорят, Колчак тоже там был, — сказала Ольга Васильевна. — И будто бы привез оттуда самурайский меч. Ходят слухи, что он поклялся сделать себе харакири, если красные, не дай бог, победят.

— Не знаю, не знаю, — улыбнулся Грибушин. — Но в Японии он точно был. И тоже, рассказывают, проявлял большой интерес к чайному обряду.

— Вот вам и повод сообщить ему о здешнем самоуправстве, — встрял в их разговор Каменский, но ответом удостоен не был.

Грибушин с Ольгой Васильевной, словно отгороженные незримой стеной, ни на кого не обращая внимания, беседовали как бы наедине. Каменский, не принятый в их компанию, с завистью поглядывал на Грибушина.

— Аки на речех вавилонских, — время от времени грустно говорил Калмыков. — Сидехом и плакахом...

Сыкулев-младший, угрожающе нависая над Константиновым, сипел:

— Тридцать три тыщи? Язык-от не отсох? Да я за него сорок платил!

— Это же фамильная драгоценность, — мимоходом напомнил Грибушин.

— У, гриб чайный! — огрызнулся Сыкулев. — Думаешь, не знаю, на чем раздулся? Все-о знаю!

— Тридцать три, и ни копейкой больше, — твердил Константинов. — Вас обманули, господин Сыкулев.

— Пускай, — неожиданно смирился тот, оборачиваясь к Шамардину. — А три тыщи с вас все равно. Найдете ли, не найдете. Генерал обещался. Мыльцем, свечками...

— Обязательно отдадут, раз обещали, — заверил Калмыков, уважавший любую власть.

Но Сыкулев не унимался:

— Велели, я принес. Пожалуйте, люди добрые! А теперь уж мое дело маленькое. Что обещали, вынь да положь. Верно?

— А ваш перстень действительно стоил сорок тысяч? — спросил Мурзин.

— Вот те крест, сорок!

— Тогда почему принесли именно его?

— Ты еще спрашиваешь? Сам все отнял и еще спрашиваешь? Совесть твоя где?

— Скажете тоже: совесть, — улыбнулась Ольга Васильевна. — Он и слова-то такого не знает.

— Всякую шваль собрали, — закричал вдруг Сыкулев-младший, в упор глядя на Каменского, — ясное дело, покрадут! Чего ногой-то зудишь, а?

— Отойдите от греха подальше, — сквозь зубы проговорил Каменский, однако ногой трясти перестал.

Мурзин вспомнил, что эти двое давнишние конкуренты. Лет десять назад оба держали свои пароходы на ближних пассажирских линиях и сферы влияния поделить никак не могли. За их борьбой следил весь город, многие бились об заклад, ставя на одного из них, и летними вечерами, когда Мурзин возвращался с заво-

да домой, Наталья докладывала ему, что еще предприняли Каменский или Сыкулев-младший, переманивавшие друг у друга пассажиров. Один свои пароходы раскрасил, как игрушечные, и другой не отстал. Один приобрел новые скамьи, и другой заказал точно такие же. У обоих буфеты с пивом, медные поручни блестят, как на броненосце, капитаны ходят в адмиральских фуражках. Каменский на палубах граммофоны поставил, чтобы ездить веселее, и Сыкулев-младший тут же перенял. Но ни тот, ни другой победить не могут. Наконец прибегли к последнему средству: стали снижать цены на билеты. Каменский на копейку сбавит, Сыкулев — на две, Каменский — на три, а Сыкулев уже целый пятак скостил, и отставать нельзя. До того дошли, что чуть не в убыток себе пассажиров начали возить. Лишь тогда спохватились и решили установить твердые цены, у обоих одинаковые на всех маршрутах. Заключили договор, при свидетелях ударили по рукам, Сыкулев-младший спокойно уехал на север скупать пушнину, а когда вернулся и сошел на берег, то глазам не поверил: его пароходы стояли пустые, народ валом валил к сопернику. Как так? Почему? Значит, нарушил, подлец, договор, переступил рукобיתье? Прямо с пристани побежал узнавать и, ходили слухи, едва кондрашка его не хватил, как узнал, почему. Оказывается, всего лишь бублик положил Каменский на свою чашу весов, и она перетянула. Эх, Сыкулев! Надули тебя, вспомнил Мурзин.

Сейчас бывшие конкуренты продолжали яростно собачиться, подогреваемые Грибушиным, который ловко стравливал их на потеху Ольге Васильевне. Ага, вот и бублик всплыл.

Тем летом хитрован Каменский, ничуть не нарушая договор, придумал такую штуку: каждому пассажиру, куда бы тот ни ехал, в придачу к билету выдавать еще и по бублику. Грош ему цена, а обернулся тысячными прибылями. И Мурзин с Натальей, катаясь по Каме, грызли когда-то эти бублики. Господи, ведь и черствые-то были, и пресные, и горелые, а казались в сто раз вкуснее оттого, что бесплатные. И он сам, и Наталья радовались подачке, хвалили Каменского за щедрость. Молодые были, глупые.

Бублик, бублик! Уж и дырки от него не осталось, а до сих пор у всех на памяти.

— Помните, Ольга Васильевна, — спросил Грибу-

шин, — я перед войной цену на чай понизил? С фунта на пятиалтынный. И что? Никто и не заметил. А стал к каждому фунту выдавать приз — листок бумаги почтовой и марку, — и продавать по старой цене, так саранчой налетели. Едва магазин не разнесли. В Европе такой номер нипочем бы не прошел. Там уж сообразили бы, что бумага с маркой на пятиалтынный не тянут. А если народ не понимает собственной выгоды, то, простите, о какой демократии может идти речь? Мы, Ольга Васильевна, просто не созрели для нее...

Голос одновременно вкрадчивый и властный, уверенное лицо человека, всему на свете знающего цену, а в первую очередь — самому себе, точно таким же был Грибушин и в тот январский вечер год назад, когда обезумевшая толпа громила винные склады на Вознесенской; тем вечером купцы собрались на какое-то свое совещание, и те, что поотважнее, решили посмотреть на погром.

Была середина января, отряды Красной гвардии ушли из города на борьбу с Дутовым, и в один из вечеров уголовники, в неразберихе этих дней выпущенные из тюрьмы, обрастая по пути всяким сбродом, устремились на Вознесенскую. Караул смяли, по рухнувшему от напора десятков тел забору толпа ворвалась во двор, топорами рубили двери, сшибали замки, копошились на сараях, разбирая крыши, а доски сбрасывали сверху в огромный костер, мгновенно поднявшийся в центре двора. Бочки выкатывали из погребов, тут же разбивали; снег побагровел от вина, в том месте, где раскурочили бочку со спиртом, горел, синие языки змеились по просевшему сугробу. Обыватели вначале робко, затем все смелее и смелее тянулись по улице с котелками, чайниками, бидонами и ведрами.

Мурзин с револьвером, Степа Колобов с полицейской «селедкой» и еще трое милиционеров с винтовками прибыли на Вознесенскую, когда шабаш был в полном разгаре. Толпа ревела, пламя костра поднималось все выше, дикошарый мужик в одних подштанниках, босой, плясал на снегу, а зрители поливали его вином, как в бане, с гиканьем плескали на голую грудь, на спину. В стороне закипала драка, вот покатилась прямо по телам тех, кто успел упиться до бесчувствия, двое парней волокли визжащую бабу со связанным над головой подолом. Кто-то выл, кто-то пел; в ближних домах уже звенели стекла, начинались грабежи.

И прежде чем броситься в эту кашу, Мурзин, оглядываясь, увидел среди зевак, тесной кучкой стоявших поодаль, нескольких купцов. Тогда эти люди помаячили и пропали во тьме, в пьяном реве, потому что не до них было. Они вспомнились позднее и часто потом вспоминались — единственные трезвые свидетели его беспомощности, его отчаяния. Он увидел миллионера Мешкова, на чьи средства в городе основан был университет, мецената и фрондера, помогавшего революционерам всех мастей, вплоть до анархистов; лицо его, освещенное пламенем, было печально, скорбно поджаты тонкие губы. Этого ли ждал он от революции? Этого ли хотел? Справа от него, потерянно запрокинув птичье личико, замер Карл Миллер, владелец номеров на Кунгурской улице, покровитель художеств, а слева Мурзин заметил Грибушина. Величественный, в шубе нараспашку, он стоял с таким видом, словно всегда знал, что так оно и будет, и даже предупреждал Мешкова с Миллером, но те не послушались и теперь пожинали плоды своих усилий, своего опрометчивого меценатства. В бархатных глазах Грибушина читались удовлетворение происходящим и спокойная брезгливость. Тут же был и Сыкулев-младший, в их компанию не принятый. Он пребывал в странном радостном возбуждении, притопывал ногой и бормотал нечто восторженно-невнятное. «Ой кулды, кулды, кулды!» — так это после вспоминалось. И где-то рядом промелькнул злорадно сощуренный глаз Исмагилова, широко открытый — Фонштейна. Каменский переминался возле, в ужасе прикрывая лицо ладонью, но при этом глядел сквозь пальцы и не уходил, потому что не уходила Ольга Васильевна, госпожа Чагина, единственная женщина там, где женщинам не место. Поддерживаемая под руку мужем, еще живым, еще не расстрелянным по ее доносу, готовая постоять за него и за себя, она сжимала маленький дамский браунинг и с хищным любопытством смотрела на кишашие людьми разоренные склады, на костер, отражавшийся в ее и без того горящих глазах, на пляшущего мужика, на мурзинских ребят, не знающих, что делать со своими винтовками, на Степу Колобова с саблей, на Мурзина; смотрела и улыбалась. И последним, кого увидел Мурзин, бросаясь к складам, был Калмыков — скособочившись, он воровато перебежал улицу с добытым где-то ведерком, в котором, налитая по самые края, плескалась и пенилась желтоватая шипящая влага шампанского.

Едва не сшибив его с ног, Мурзин рванулся к сараю, вскарабкался на крышу. Закричал и не услышал собственного голоса. Тогда пальнул вверх из револьвера, в ответ полетели обломки досок, пылающие головни, и с двух сторон полезли к нему на крышу двое: один с топором, другой с ломом. Внизу бесновалась толпа, справа и слева была смерть, но в это мгновение Мурзин еще успел выбрать, в кого стрелять, и выстрелил в первого, потому что второй был просто пьяный взбесившийся мальчишка. Тот сразу бросил свой лом и сиганул вниз. Мурзин выстрелил почти в упор, целясь в руку с топором, вскинутую для удара, а ребята уже дали залп из винтовок. Топор упал на снег, толпа отхлынула и с воем, бросая ведра и чайники, покатилась к Вознесенской церкви. Дитина, раненный Мурзиным в руку, пропал, во дворе остались лежать несколько питух, которые не сумели подняться на ноги, но под одним из них расплывалось на снегу кровавое пятно. Это оказался тот самый мужик, плясавший у костра — полуголый, с синей от винных потеков тощей спиной. Он был мертв, хотя ребята говорили, что залп дали в воздух, над головами, и попасть в него никак не могли. Лишь через неделю, наверное, Мурзин вспомнил про браунинг в руке Ольги Васильевны. Но поздно вспомнил. Как докажешь?

И сейчас, поглядывая на Чагину, Мурзин не торопился. Еще и для того хотелось найти перстень, чтобы эти люди, презирающие таких, как он сам, не уважающие в других ничего, кроме силы, хитрости и сознания собственной выгоды, поняли бы: его, Мурзина, провести не удастся. Пускай поймут! Рано или поздно им всем придется жить бок о бок, и это понимание ох как пригодится в будущем той власти, которую он представлял здесь на самом деле. А пока Грибушин ехидно шурился — ну-ну, мол, давайте, ищите, и что-то нашептывал на ухо Ольге Васильевне, отчего та тоже суживала глаза, улыбалась. Так улыбалась, будто увидела в руке у Мурзина тот бублик. А что, спрашивается, можно ждать от человека, способного радоваться жалкой подачке, какому-то бесплатному бублику?

Константинов тем временем рассказывал Шамардину, как тридцать лет назад, в Петербурге, он давал секретную консультацию одной великой княгине, хотевшей тайно продать часть своих драгоценностей.

— Вы не поверите, — говорил он, — их высочество

показали мне золотую брошь, а в ней вместо драгоценных камней вставлены простые стекляшки. Кто заметил? Когда? Каким образом? Но потом я понял, что никто не заменял. Бриллианты сами превратились в стекло.

— Как это? — удивился Шамардин. — Разве так бывает?

— Редко, но бывает. Если владелец камней ведет себя недостойным образом. А про их высочество тогда разное говорили, и не самое хорошее.

— Какая именно великая княгиня? — заинтересовался Шамардин.

— Что вы! Я не могу, — сказал Константинов. — Этого не допускает моя профессиональная честь.

— Ну а бриллианты куда подевались?

— У настоящих камней, господин капитан, есть душа. Они умирают или исчезают, если с их помощью пытаются совершить бесчестное дело.

— Да бросьте вы! — рассердился Шамардин. — Какой-нибудь бриллианщик вроде вас вынул, а стекляшки вставил.

— Кругом обман, — вздохнул Калмыков.

Всякий раз, находя этому еще один пример, он испытывал спокойное, почти благодное удовлетворение, разделяемое и Фонштейном. В мире, устроенном так, а не иначе, они двое были, значит, не лучше и не хуже других.

Время шло, разговоры начали мельчать, уклоняться в сторону от основного русла. Словно сговорившись, про перстень уже не вспоминали. Казалось, шестеро купцов, ювелир и генеральский адъютант собрались в этой комнате, чтобы посидеть запросто, потолковать о том о сем. Калмыков приставал к Мурзину, просил разрешения послать записочку сыновьям, пускай те принесут сюда обед: у него на обед уха из мороженой рыбки, похлеба-ли бы вместе. За окнами солнце, мороз, кричат вороны. Невозможно представить, что этот день — последний, может быть, в его, Мурзина, жизни. Такой обыкновенный маленький солнечный денечек — и последний. Лучше было в окно не смотреть, сразу тоже хотелось говорить о чем-то, ни малейшего отношения не имеющем ни к генералу Пепеляеву, ни к пропавшему перстню. Какой еще перстень? Обычный день, обычный разговор, и за ними длинная череда других дней и разговоров, но он взял себя в руки и заставил думать вот о чем: кому

выгоднее всего завладеть сыкулевским колечком? Хотя для того, чтобы ответить на этот вопрос, не надо было долго думать — разумеется, самому Сыкулеву. Он не только сохранял перстень и получал обратно свою долю контрибуции, но и рассчитывался с Фонштейном, и «Людмилу» приобретал совершенно бесплатно, а вдобавок еще надеялся содрать с Пепеляева мыла и свечек на три тысячи рублей. Барыш неплохой, но опасно подозревать человека лишь на том основании, что он имел возможность украсть больше, чем остальные. Мурзин знал этих людей: взять перстень мог любой из шестерых. Даже Грибушин. Да и Шамардина с Константиновым тоже нельзя было пока сбрасывать со счетов.

Да, взять мог любой, но рисковать стал бы не всякий. Вот Исмагилов, тот лихой джигит, вполне способен, однако его, как утверждает Шамардин, привели сюда буквально за минуту до того, как вошел Пепеляев и обнаружилась пропажа. А эти восемь человек провели рядом с черной коробочкой около получаса. Подумав, Мурзин временно снял подозрение с Калмыкова и Фонштейна, известных своей трусостью. Затем присоединил к ним ювелира Константинова, но уже по другой причине — он внушал доверие. Профессиональная честь, ветхие брюки, обдергаистый пиджачок. Он внушал доверие тем, пожалуй, как старательно пытался скрыть свою бедность; все на нем было почищено, отглажено, и Мурзин далеко не сразу понял, что костюму его — сто лет в обед. Человек богатый и не желающий выдавать свое богатство может прийти в лохмотьях, в дырявых сапогах, как Фонштейн, в драной шубе, как Сыкулев-младший, но Константинов нищету не выставлял напоказ, напротив — хотел скрыть. Чувство собственного достоинства, вот что все отчетливее видел Мурзин в этом лысом странноватом старичке, и подозревать его, видимо, не имело смысла. Во всяком случае, если он и мог украсть, то из побуждений особых, таких, в которые пока не проникнешь.

Итак Фонштейн, Калмыков. Чуть в стороне — Константинов. И Грибушин, пожалуй. Это птица другого полета. Он отлично сознает свою выгоду и до обычной кражи вряд ли опустится. А Ольга Васильевна? Весной, когда дом Чагиных взят был под наблюдение, она, вероятно, это заметила и сама донесла в ЧК на мужа, чтобы сохранить себе жизнь и свободу. Хитрая баба, от нее всего можно ожидать. Но осторожная. Ради перстня,

пускай даже ценой в тридцать три тысячи рублей, рисковать репутацией не станет. Зато, например, могла подбить Каменского, обещав ему за это свою любовь. И теперь нарочно на него не смотрит, любезничает с Грибушиным. А Каменский за ней давно увивается, даже катер, ходивший до Нижней Курьи, назвал ее именем, на что покойный Чагин ответил по-своему: самое дешевое и грубое мыло начал штемпелевать печаткой «Каменское». Значит, Каменский. Впрочем, и Грибушин, по всему виду, зол на генерала, вполне может подложить ему свинью, убедив себя, что это не кража вовсе, а нечто иное. Мурзин от Калмыкова и Фонштейна мысленно передвинул Грибушина поближе к Ольге Васильевне и Каменскому. К ним же приставил и Сыкулев-младшего: ему сам бог велел украсть, он в своем праве. И не трус, нет. А Шамардин? Для него это дело самое безопасное, и по физиономии видно, что высокими принципами не отягощен. Разве Пепеляев стал бы его подозревать?

И все-таки вначале Мурзин решил понять другое: не кто взял, а куда дел, если взял. Можно, скажем, незаметно выбросить за окно. В сугроб, чтобы после подобрать. Но сугробы перед губернаторским особняком расчищены, а швырять просто так, на добычу первому же прохожему, рисковать с единственной целью — насолить генералу, на это мог отважиться только один человек — Грибушин. Правда, Сыкулев-младший, вытаскивая из тайника свой перстень, мог шепнуть кому-нибудь из домашних, чтобы караулили под окнами, ждали, когда выбросит, но это предположение пришлось отмести. Сыкулев был вдовец и страшно скуп, в последние месяцы даже прислуги не держал; в доме у него обреталась лишь сожительница, она же кухарка, женщина необъятных размеров — из тех, про кого говорят, что в три дня не обскачешь, незамеченной появиться под окнами она не могла. Кроме того, по словам часового, уже допрошенного Пепеляевым, ни эта баба, ни какие-то другие подозрительные личности возле комендатуры не околачивались.

Мурзин откровенно оглядывал залу, в то же время наблюдая и за купцами, как в игре «горячо, холодно». Кинуть перстень в камин? Но и эта мысль Пепеляева уже осенила: пламя заливали водой, Шамардин лично разгребал головни, но ничего не нашел. Или нашел и спрятал? Ведь его-то не обыскивали. В таком случае

кто-то должен был бросить перстень в камин. Но кто? И почему тогда не потребовал обыскать и Шамардина, когда тот ничего не обнаружил? Или побоялся этим требованием выдать себя? Голова шла кругом от всех этих предположений.

Положить в люстру, в один из плафонов? Нет, надо для этого поставить стул на стол, вскарабкаться. Куда там? А кроме стола и стульев, никакой мебели не было ни в самой зале, ни в примыкавшей к ней крошечной комнатушке, где в старые добрые времена, как объяснял Фонштейну Калмыков, стояла кушетка, губернаторы на балах, устав от шума и танцев, ненадолго уходили туда прилечь. Теперь комнатушка была совершенно пуста — голые стены.

Оставался еще паркет: могли украдкой сунуть под паркетину. Мурзин медленно прошелся по зале, то и дело останавливаясь и сапогом пробуя пол, но истертые, давным-давно не воощенные дощечки лежали плотно, прочно, ни одна даже едва уловимым раскачиваньем не выдавала под собой тайника. И где же этот перстень, если всех купцов обыскивали? У Шамардина? Или в самом деле Грибушин выбросил в форточку?

— Послушайте, капитан, — спросил Мурзин, глазами указывая на Ольгу Васильевну, — а кто обыскивал даму?

Шамардин отвечал, что приглашали из канцелярии ремингтонистку Милонову.

— Я хочу с ней поговорить, — сказал Мурзин, и через пару минут, приведенная юнкером-часовым, появилась эта Милонова, робкая барышня с толстыми плечами.

Мурзин взял два стула, отнес их в комнатушку, где отдыхали губернаторы. Затем провел туда Милонову и прикрыл за собой дверь.

Беседовали недолго. Вскоре Милонова, разрыдавшись, призналась, что Ольга Васильевна при ней ничего с себя не снимала, только дала осмотреть ридикюль, откуда сама же и вынула серебряный рубль. Пожалев ее, Милонова взяла этот рубль и обманула генерала, сказала ему, будто обыск произвела самый тщательный.

— А рубль зачем взяли, если пожалели ее? — спросил Мурзин.

У Милоновой сразу все слезы высохли.

— Одно к другому не относится, — обиделась она. — Я ее как женщина женщину пожалела. Вам-то что, му-

жикам! Вы бессовестные. А женщине стыдно раздеваться в таком месте.

— Вам что же, велели ее раздеть?

— Я же вам говорю... И белье, может, не совсем чисто. Пожалела ее.

— Рубль-то при чем? — напомнил Мурзин.

— Господи, рубль! У нее в ридикюле их штук пять лежало или семь, а у меня мать больная, картошка кончается. Одно к другому не относится, что взяла. — Милонова опять всхлипнула. — И может, мне стыдно было ее обыскивать. Я вам кто? Надзирательница? В тюрьме служу?

— А рубль брать не стыдно было?

— Да вот он, ваш рубль несчастный! Берите! — Из кармашка в юбке она достала серебряный кругляш, отчеканенный пять лет назад, к юбилею династии, чей родоначальник, любитель соколиной охоты, даровал старокрещенцам свободу от всех податей и повинностей.

— Спрячьте, — сказал Мурзин. — Пригодится, раз картошка кончается.

— Нет уж! — Милонова кинула свой рубль на подоконник и выбежала прочь.

Мурзин не стал ее удерживать. Вслед за ней вышел в залу, где Шамардин, подмигнув уже совершенно подружески, шепнул:

— Кобылка! На ощупь-то какова?

Он решил, что раз Милонова плачет, значит, ее обыскивали.

— Ольга Васильевна, — сказал Мурзин, — я хотел бы поговорить с вами наедине. Прошу в ту комнату.

Сестр она отказалась, сказав, что ничего, перед таким важным начальником постоит, ноги не отсохнут: перед генералом сидела, а уж перед ним постоит, окажет уважение.

— Мне известно, — перебил Мурзин, — что вы сумели избежать досмотра.

— Мало я ей дала, паршивке, — сказала Ольга Васильевна.

— Зачем вы так? Эта девушка вас пожалела.

— Пожалела? Чего тогда рубль взяла?

— Одно к другому не относится, — объяснил Мурзин.

— Допустим... И что вам угодно?

— Почему вы не дали себя обыскивать?

Она пожала плечами:

— Неужели не понятно? Я женщина. Впрочем, для вас ведь все равны. Все товарищи. Пожалуйста, зовите эту паршивку. — Ольга Васильевна вынула одну руку из муфты и начала стряхивать с плеча шубку.

— Что, прямо при мне? — спросил Мурзин.

— Можете присутствовать, если хотите. — Она смерила его презрительным взглядом. — Вы для меня не мужчина.

— А кто же?

— Покойник, — сказала Ольга Васильевна, вдевая в муфту другую руку и сбрасывая шубку на стул.

Мурзин остановил ее:

— Можете не трудиться... Дайте-ка мне вашу муфту.

Сунул руку внутрь, в меховое тепло, нащупал карман, где не было ничего, кроме носового платка, довольно грязного, как и предполагала Милонова. Правда, она это предполагала о белье, но не важно, подумал Мурзин, одно к другому тут относится. Взглянув на Ольгу Васильевну, не заметил и тени тревоги, зато увидел, что левая ее рука, с которой он только что сам снял муфту, сведена в кулак. Ну, не то чтобы совсем в кулак, но пальцы напряжены, поджаты как-то ненатурально.

— Что у вас там?

Она молчала.

— Я спрашиваю...

— Он, — прошептала Ольга Васильевна, косясь на дверь. — Перстень... Не говорите никому! Не скажете, я вам после половину отдам.

— Распилим или как? — Мурзин не поверил, потому что глаза ее смотрели хитро, обещали другое.

— Половину цены. Соглашайтесь!

— Зачем покойнику деньги?

— За пятнадцать-то тысяч от двух смертей откупитесь. — Она подняла сжатый кулак и держала его у самого своего лица, слегка поворачивая из стороны в сторону, будто поддразнивая. — Ну?

— Покажите сперва.

— Отвечайте: да или нет?

— А если нет?

Ольга Васильевна подскочила к окну, распахнула форточку:

— Выброшу, и ничего не докажете.

Мурзин схватил ее за руку. Рассмеявшись, она тут же развела пальцы: на ладони лежала не то пружинка,

не то проволочка — маленькая, изогнутая, чуть сизая на свету, в радужных переливах, словно побывала в огне.

— Что это? — ошарашенно спросил Мурзин.

— Что-что! Зубочистка, вот что.

— Зубочистка? — усомнился Мурзин, уже понимая: издевается над ним, стерва такая, голову морочит. — Почему вы ее прятали-то?

— А шутила, — сказала Ольга Васильевна. — И потом, сами подумайте, какая женщина захочет афишировать, что у нее зубы дырявые?

— Я же для вас не мужчина.

— Вот я и признаюсь: дырявые, дырявые. — Ольга Васильевна улыбнулась ослепительно.

Отпустив ее, Мурзин пригласил Каменского. Тот с готовностью откликнулся на зов, плотно прикрыл за собой дверь и тут же, не дожидаясь вопросов, начал излагать свои соображения: перстень украл Грибушин, чтобы соблазнить им Ольгу Васильевну. Не зря он в Японии полгода прожил, его там всяким штукам научили. А удобный момент представился, когда пришел Исмагилов, стал говорить, что ничего не даст, лучше помирать будет. Все его обступили, один Грибушин остался сидеть за столом, рядом с коробочкой.

— А вы, — спросил Мурзин, — где были в это время?

— Где и все. Исмагилова уговаривал, чтобы не упирался.

— А Ольга Васильевна?

— Что вам Ольга Васильевна? — встревожился Каменский. — Она тут ни при чем.

— Но вы считаете, что ее можно соблазнить этим перстнем?

— Нет, — сказал Каменский, — нельзя. Ее не жупись. Это Петр Осипыч так считает.

— И все-таки где находилась Ольга Васильевна в то время, как вы уговаривали Исмагилова?

— Кажется, она стояла у камина. Грела руки.

— У нее же муфта есть.

— Уж я-то знаю лучше других, — весомо проговорил Каменский. — У Ольги Васильевны всегда мерзнут руки. Это от сердца. Она слишком близко все принимает к сердцу... Хотите, дам один совет?

— Ну, — сказал Мурзин.

— Не доверяйте мужчинам с холодными руками и

женщинам — с горячими. Я говорю исходя из собственного опыта.

— И почему так?

— Не знаю. Загадка природы. Вот, например, у Грибушина пальцы всегда холодные, словно только что умывался.

— А у Сыкулева?

— Как лед.

— Тогда, может, он украл?

— Может, и он. С него станется.

— Так все же кто, Сыкулев или Грибушин?

— Возможно, они сговорились между собой, — подумав, отвечал Каменский. — И при обыске передавали перстень друг другу. Вот его и не нашли.

Это была толковая мысль, но Мурзин отверг ее еще раньше: ни один из купцов не доверял другому настолько, чтобы взять его в компаньоны.

Каменский ушел, его место занял Сыкулев-младший, который немедленно обвинил в краже своего бывшего конкурента: тот, мол, известный ловкач; в купеческом собрании веселил публику фокусами — с платком, с монеткой, все-то у него пропадало и сыскать не могли.

Шамардин, добровольно возложивший на себя обязанности мурзинского адъютанта, вводил приглашенных для беседы и выводил их обратно в залу, но присутствовать при разговорах Мурзин ему не разрешал, пользуясь полученной от Пепеляева властью, закрывал дверь у Шамардина перед носом.

Остановив Сыкулева-младшего, который честил Каменского на все лады, припоминая тому и бублик, и еще какие-то грехи десятилетней давности, Мурзин сказал:

— Не найду ваш перстень, меня расстреляют...

Сказал и посмотрел Сыкулеву-младшему в глаза, на чудо не надеясь, не к жалости взывая, не к состраданию, а так, любопытствуя, что почувствует человек, если взял-то сам, какой тяжестью лягут эти слова на его душу. И лягут ли? Но Сыкулев мгновенно потерял к Мурзину всякий интерес, как только понял, что перед ним не представитель власти, а калиф на час, и можно, значит, не церемониться. Встал и пошел.

Мурзин прислушался: палка стучит по паркету, громче стучит, увереннее, чем когда Сыкулев-младший шел на допрос, вот зацепила чей-то стул, кто-то возмутился. И все-таки, о сказанном слегка жалея, Мурзин знал: останется между ними. Сыкулев никому не расскажет,

потому что ему приятно видеть, как другие суетятся и лебезят перед человеком, которому недолго жить, чья власть — соломенная. Действительно, голосов не слышать. Шамардин, заглянув, спросил:

— Кто следующий?

— Калмыков, — ответил Мурзин. — Потом Фонштейн.

Каменский и Сыкулев-младший даже не пытались оправдаться, мысль о том, что они тоже могут подпасть под подозрение, казалась им несерьезной, каждый считал себя свидетелем, не более. Но Калмыков и Фонштейн, вызванный следом, сразу же начали клясться и божиться, что не виноваты. Калмыков приводил примеры своей честности в делах, особо напоминая на следующее: у него для приема улова от рыбаков и для продажи на рынке использовались одни и те же весы, одни и те же гири, не как у других, когда при покупке ставят одни, а при продаже — иные, но оба раза испорченные, чтобы в первом случае тянули меньше, а во втором — больше. Это было похоже на правду, поскольку доля имущества, нажитая обманом, у Калмыкова не превышала пятидесяти процентов, гораздо меньше, чем у прочих.

А Фонштейн сказал так:

— Тысяча извинений, господин Мурзин, вы ведь знаете: если украдет русский, говорят, что украл вор, а если украдет еврей, говорят, что украл еврей. Вы же понимаете, я не могу себе такого позволить. Тем более теперь...

В его состоянии, как полгода назад выяснил Мурзин, доля, нажитая обманом, была довольно велика. Но это был тот обман, который многие и за обман-то не считали, так что Фонштейн искренне полагал себя честным человеком. Кому-то господь дал хворостину, чтобы пасти овец, кому-то — ножницы, чтобы их стричь, и в этом мире, устроенном на редкость разумно, ножницы в его руках всегда были отточены, стригли бесшумно и чисто. Так что Фонштейн считал себя честным человеком.

Но едва Мурзин стал спрашивать, кто, по его мнению, мог украсть перстень, Фонштейн указал на Калмыкова, как и Калмыков прежде — на Фонштейна. Даже здесь, в разговоре с глазу на глаз, эти двое боялись бросить тень на Грибушину, Чагину, Каменского или Сыкулева-младшего, людей могущественных и способ-

ных отомстить, но остерегались и Мурзина. Вдруг тот заподозрит их в нежелании помочь следствию? В итоге Калмыков с Фонштейном предпочли самый безопасный вариант: обвинили друг друга, хотя никаких доказательств и не привели.

Затем Шамардин привел Грибушина. Сели.

— Почему, — спросил Мурзин, — вы сказали генералу, что перстня вообще не было? Шутить изволили?

— Ничуть. Возможно, все мы стали жертвами гипноза.

— Это еще что за штука?

— Внушение, — снисходительно пояснил Грибушин. — Вам такое не приходило в голову? И зря. Сыкулев — человек с сильной волей, он вполне мог внушить нам, будто принес то, чего в действительности не существует. Или существует, но в другом месте. А потом появился генерал, тоже человек с сильной волей, и пелена спала с глаз.

— За дурака меня держите?

— Угадали, — кивнул Грибушин. — Но это к делу не относится.

— А себя вы считаете человеком со слабой волей?

— Но я же говорил генералу, что коробочка с самого начала была пуста. И вам повторяю: пуста, пуста. Могу дать честное слово. Или перекреститься. Что предпочитаете?

— У вас ведь сын есть. Поклянитесь его здоровьем?

— Клянусь здоровьем Петеньки, — сказал Грибушин, — она была пуста!

— Петр Осипыч, — после паузы спросил Мурзин, — а сами вы могли бы украсть это колечко?

— Да, — серьезно ответил Грибушин. — В нынешней ситуации — да, не скрою, потому что я принципиальный противник любого насилия. Терпимость и ясное сознание собственной выгоды, вот на чем зиждется демократия. А мы еще не созрели для нее. Увы! И я мог бы украсть, потому что других возможностей выразить протест у меня нет. Но красть было нечего. — Он улыбнулся. — Я ответил на ваш вопрос? Тогда и вы, голубчик, скажите вполне честно: если не сумеете найти перстень, вас расстреляют?

— Да. — Как и в разговоре с Сыкулевым-младшим, только еще откровеннее Мурзин посмотрел Грибушину прямо в глаза, где разгорелись и потухли кошачьи зеленые огоньки.

— Мне вас жаль, — сказал Грибушин. — Я помню, что вы не все отняли у меня при последней реквизиции. В той мере, в какой благородство доступно людям вашей касты и ваших убеждений, вы им обладаете. Я это признаю и готов помочь. Но нельзя найти то, чего нет. Коробочка была пуста.

— Да откуда вы знаете?

— Заметили, Сыкулев табак нюхает? Доставал из кармана кiset, нечаянно выронил коробочку. Она упала и раскрылась. И она была пуста, я сам видел. Могу еще раз поклясться здоровьем Петеньки.

— Не надо, — сказал Мурзин. — Вы говорили об этом генералу?

— Ну разумеется. Ведь он тоже мог бы взять у меня все, а берет лишь десять тысяч. Я сообщил ему то же, что и вам: все мы стали жертвами внушения.

Грибушин вернулся в залу, Мурзин один остался в комнате, велел Шамардину со следующим обождать. Холодок безнадежности уже проник в душу, а время летит, и хотя срок, отведенный для поисков, с Пепеляевым оговорен не был, но как-то само собой разумелось, что лишь до вечера, до темноты. А декабрьский день за окнами томился на той зыбкой грани, после которой скоро пойдет на убыль. Все мысли стали коротенькими, юркими, и лихорадочная их мельтешня — предвестница отчаяния, сушила мозг. То ли с голодухи подташнивало, то ли от безнадежности. Что же получается? Каменский указал на Грибушина, Грибушин — на Сыкулева-младшего, тот — на Каменского; круг замкнулся, а внутри его был еще один, поменьше, как на мишени — Калмыков с Фонштейном, обвинившие друг друга. Холодные руки, горячие, зубочистка, чудотворец Сыкулев. Тьфу! Какая-то невсамделишная жизнь, в которой он, Мурзин, жить не привык, где говорили одно, думали другое, а делали и вовсе третье. Бред напел, как едучий дым, и не хотелось дышать им в последние, может быть, часы его собственной жизни. Он приник лицом к форточке, подышал, потом вышел в залу и громко, чтобы все слышали, спросил у Шамардина то, о чем давно собирался спросить, но откладывал уж на самый крайний случай, когда никаких иных, более разумных соображений не останется:

— Этот поп, что стены окуривал... Он кольцо тоже видел?

Шамардин хлопнул себя по лбу:

— Ах ты, господи! Как же я забыл?

— Расхаживал тут, расхаживал, — сказал Сыкулев-младший. — И перстенок трогал.

— Ну, знаете, — развел руками Грибушин, — все-таки духовное лицо...

— Все может быть, — возразил ему атеист Каменский.

Фонштейн помалкивал, понимая, что если даже и есть у него какие-то подозрения, то лучше их держать при себе: по такому деликатному вопросу ему-то явно высказываться не стоило.

— А вот Ольга Васильевна его хорошо знает, — неожиданно вмешался Калмыков. — Вы ведь, Ольга Васильевна, у него исповедуетесь? У отца Геннадия?

Та глянула через плечо:

— И что вы этим хотите сказать?

— Ничего... Так просто, к слову.

— А не вы ли, — спросила Чагина, — с ним домами соседствуете?

— Что ж с того? — Калмыкова будто подкинуло со стула. — Что ж с того, что соседствую? Зато я, Ольга Васильевна, другого приходу!

— А потир серебряный не ты разве в Покровскую церковь пожертвовал? — напомнил Сыкулев-младший.

Калмыков присвистнул:

— Сколько лет прошло! И то меня сестра упросила: дай да дай, не скупись... Тогда еще отец Геннадий у Покрова-то и не был.

— Где же он тогда был? — как бы между прочим поинтересовался Каменский. — Не в Феодосьевской церкви?

— В ней самой.

— А вы, простите, запоматывал, какого приходу?

— Феодосьевского, — сказал Калмыков. — Мы издавна феодосьевские, от деда.

— В таком случае, — внезапно меняя тон, отвечал Каменский, — тем более не стоило бы вам задевать Ольгу Васильевну. Вы, собственно говоря, на что намекали? Что госпожа Чагина взяла кольцо и передала отцу Геннадию, который его отсюда и вынес? Да как вы смеете?

— Я не намекал, — испугался Калмыков. — Я так просто, к слову.

— Думайте, господин Калмыков, прежде чем сказать! — посоветовал Грибушин. — Да и вы тоже хоро-

ши, Семен Иванович! Как вам не стыдно? Вы в своем уме? Священник, духовник Ольги Васильевны, уважаемый человек...

— Все мы уважаемые, — многозначительно произнес Каменский, с ненавистью поглядывая на Калмыкова.

Грибушин печально покачал головой:

— Да-а, отвратительнейшая история... Кажется, мы превращаемся в свиней, господа.

А Мурзин, слушая эту перепалку, подумал вот о чем: интересно, Ольга Васильевна покаялась на исповеди в том, что донесла в ЧК на собственного мужа?

Через одного из юнкеров, приставленных к дверям каминной залы, он уже успел позвать дежурного по комендатуре, которому Пепеляев наказал исполнять все его просьбы, и вскоре вестовой пролетел под окнами, направляясь по Сибирской вниз, к Покровской церкви. Копыта простучали и замерли, Мурзин поманил пальцем Константинова:

— Пойдемте потолкуем...

Беседовали в губернаторской комнатухе, с глазу на глаз, но разговор получился путаный, беспорядочный и бестолковый, потому что вопросы большей частью оставались без ответа. Константинов попросту отмахивался от них и продолжал говорить о своем. Заставить его отвечать по порядку было совершенно невозможно.

— Господи, о чем вы? — сердился он. — Какое это имеет значение?

Прежде всего он сказал, что исчезновение перстня для него неудивительно, с драгоценностями такого ранга всегда случаются истории самые таинственные, примеров тому множество; тут Константинов начал сыпать именами великих князей и княгинь, аристократов, знаменитых финансистов и незаметных, но могущественных откупщиков, он рассказывал про их изумруды и бриллианты, с которыми произошло нечто подобное — пропали, сгинули, каким-то невероятным образом просочились сквозь стены будуаров, сейфов и церковных раков. У драгоценных камней, говорил Константинов, есть душа, и чем прекраснее камень, тем душа в нем тоньше и живее. И неправда, что к таким камням липнет кровь. Нет, если из-за камня совершено убийство, душа в нем умирает, как тускнеет жемчуг на шее развратной женщины, остается лишь оболочка, и цена ему после этого — грош. Да, грош, хотя и не все это понимают. И не-

которые ювелиры поддерживают в людях заблуждение, будто камень остался прежним. Но сами-то они все отлично знают, их не обманешь.

— Нас не обманешь, — грустно говорил Константинов.

Недаром же в своей мастерской в Петербурге он часто слышал по ночам чьи-то голоса — тихие, похожие на шелест листвы, на ветер. Все настоящие ювелиры их слышат, вот почему испокон веку они держатся особняком и даже в толпе, на улице, сразу признают друг друга — ночные голоса входят в их плоть и кровь.

Такой чепухе, само собой, Мурзин поверить не мог, но в том, что Константинов этому верит и не врет, сомнений не было. Опрятный старичок с розовой лысиной, по-детски важный, чем-то напоминал он китайца Ван Го — то же одиночество заметно в нем, печаль чужака, вежливая покорность не людям, а судьбе, не от трусости идущая, а от сознания, что некие грозные стихии подхватили тебя и несут и нет смысла им сопротивляться, нужно лишь не позабыть о том, что ты человек.

— Я предвидел это, — закончил свой рассказ Константинов. — Русские драгоценности исчезают, должны исчезнуть. Золото, платина останутся, они мертвый металл, а драгоценные камни должны исчезнуть. Силы, в них заключенные, не желают участвовать в братоубийственной войне. Ведь бриллианты в перстне господина Сыкулева огранены русским мастером, в таких вещах я не ошибаюсь. И сами алмазы российские.

— По-вашему, искать бесполезно?

— Да, пока война не кончится.

— Не найду, — сказал Мурзин, — расстреляют меня...

— Расстреляют? — ужаснулся Константинов. — Правда? Не обманываете меня?

— Как пить дать, шлепнут.

Помолчали, потом Константинов спросил:

— А если бы вообще искать не стали? Предположим, не пропал этот перстень. Что тогда?

— Один черт. Шлепнули бы.

— Знаете, — задумчиво проговорил Константинов, — может быть, перстень для того и исчез, чтобы подарить вам жизнь. Пожалуй, я беру свои слова обратно. Не отчаивайтесь! Думаю, вы его найдете.

— А не поможете мне?

— Рад бы... Скажите, что вы с ним сделаете, если найдете?

— Отдам Пепеляеву.

— И он будет использован для войны?

— Да уж не на пряники, — усмехнулся Мурзин.

— В таком случае, — помрачнел Константинов, — может быть, и не найдете...

Он замолчал, потому что распахнулась дверь, вошли Шамардин с отцом Геннадием.

Попа этого Мурзин знал, встречались. Осенью с двумя милиционерами следил за порядком на публичном диспуте в Доме трудолюбия, где отца Геннадия выставили против Яши Двигубского; по окончании диспута присутствующие большинством голосов должны были решить, есть бог или нет.

В то время в разных губерниях рабочие делегации вскрывали раки с мощами, и обнаруживалось там черт-те что — вата, скотьи кости, восковые руки и ноги, чуть ли не пуговицы орленые. Об этом писали в газетах, с этого Яша и начал. Он стоял у края сцены, а отец Геннадий сидел на стуле, скромно улыбался, по-девичьи оглаживал рясу на худых коленках. Глядя на него сверху вниз, Яша первым делом спросил про нетленные мощи преподобного Питирима в Тамбове: как жетак вышло, что они сгнили? Куда бог-то смотрел? И почему у одного святого в Курской губернии оказалось три берцовых кости? А у другого семь пальцев на левой руке? У третьего костей на полтора скелета, притом женских? И уж совсем распалился, дойдя до святого князя Владимира: каким это, простите, чудом попали в его гроб сапоги машинного шитья?

Яша говорил, отец Геннадий слушал, в спор вступать не спешил и по-прежнему улыбался — видать, было ему что возразить, но до этого дело не дошло: выскочил на сцену какой-то мужик и хватил бедного Яшу стулом по голове. На том диспут и кончился. Правда, Яша, очухавшись, выразил готовность продолжать, но спорить уже было не с кем, арестовали не только этого мужика, отца Геннадия тоже. Чтобы узнать, не было ли между ними сговора, Мурзин прямо на месте устроил им очную ставку, приказав смотреть друг другу в глаза. Случившееся тут же начальство требовало обоих посадить в исправдом, но Мурзин не послушался:

очная ставка окончательно убедила, что мужика отец Геннадий видит первый раз в жизни, сам он для Яши приготовил другие аргументы. Начальству это не понравилось. Тот, с глазами навывкате, стал топать ногами, кричать на Яшу, который, лежа на сдвинутых стульях, слабым голосом попробовал вступить за противника, и грозить Мурзину трибуналом. Дескать, какие же они революционеры, Мурзин и Яша, какие, к черту, тактики, если не желают воспользоваться таким случаем и перед всем городом разоблачить преступную связь церковников с бандитствующими элементами? «Судить надо этих мракобесов, — кричал он, — за покушение на свободу слова!» Но Мурзину не так-то просто было заморочить голову, а запугать и того труднее, отца Геннадия он отпустил с миром.

И сейчас, оглядывая его худые плечи, зырянские скулы, обволоченные седоватой бородкой, почему-то надеялся, что за добро будет заплачено добром и этот поп скажет правду. Чего ему скрывать? В то, что он сам стащил перстень, Мурзин не верил ни на секунду — Грибушин прав. Но взглядом постороннего отец Геннадий мог заметить многое. Например, кто где стоял и сидел, какими смотрел глазами. Ведь он же привык иметь дело с людьми и, может быть, такое способен увидеть, на что никто другой и внимания не обратит. Уж Ольгу-то Васильевну знает как облупленную. Да и Калмыкова, наверное, тоже.

Но все-таки было сомнение: а если как раз кто-то из них двоих и попросил его незаметно вынести перстень? Чадо духовное или сосед — бывший прихожанин.

— Вот, пожалуйста, — доложил Шамардин, весело похлопывая своего спутника по плечу. — Как лист перед травой!

Мурзин велел ему выйти, а отцу Геннадию указал на стул:

— Присаживайтесь.

Тот опустил на самый краешек, по-девичьи плотно сдвинув колени под рясой, и мелькнула мысль пригласить сюда сперва Калмыкова, затем Ольгу Васильевну. Устроить им очную ставку с отцом Геннадием. Пускай по очереди посмотрят ему в глаза. Но тут же отказался от этой мысли: нет, пустой номер. Тогда, в Доме трудолюбия, у него, Мурзина, не имелось никакой личной выгоды в том, чтобы уличить или оправдать отца Генна-

дия, и удалось понять правду, а теперь его собственный взгляд замутнен корыстью и надеждой, как стеклышко в ватерпасе. Нельзя пользоваться таким инструментом — пузырек не разглядишь. Мало ли что померещится?

— Я с вами, как на духу, — сказал Мурзин и честно выложил свои соображения: колечко могло исчезнуть именно в тот момент, когда отец Геннадий окуривал стены, потому что все смотрели на него, и вор уж не упустил случая.

— А не считаете ли вы, — с улыбкой спросил отец Геннадий, — что мы были в сговоре, я и похититель? Что своими действиями я отвлек общее внимание и помог вору?

— Ну, — смутился Мурзин, — не совсем так.

— И, конечно, подозреваете самых моих близких знакомых из числа присутствующих — Калмыкова или госпожу Чагину? Я угадал?

— Не больше, чем других, — сказал Мурзин.

— Вас как крестили? — почтительно осведомился отец Геннадий.

— Сергеем.

— А по батюшке?

— Сергей Павлович.

— Вот, Сергей Павлович. Пускай мы с Калмыковым соседи, а госпожа Чагина бывает у меня на исповеди. Ну и что? Дятел дерево долбит, где помягче, но вы же не дятел. Истина-то, она за твердынями, Сергей Павлович, она ох как глубоко лежит, глубже, чем вам кажется. Я и Калмыков, я и Ольга Васильевна. Не слишком ли просто? Уж коли за такое дело взялись, так вглубь держайте мыслью-то своей богоборческой. Предположите что-нибудь этакое. Например, я и знаете кто?

— Ну, кто?

— Фонштейн... Пара оригинальнейшая. Кто заподозрит, что мы сообщники?

— Я вас не подозреваю...

— Премного благодарен.

— Я лишь говорил, что вы могли отвлечь внимание.

— И сделал это нарочно? В таком разе явился бы с певчими, крестным ходом, как положено при очищении. Отслужить тут молебен, стены окропить. А так никто на меня и не смотрел. Эка важность, отец Геннадий с кадилом!

— Я не говорил, что нарочно.

— Тогда для чего я вам понадобился?

— А скучно стало, — сказал Мурзин. — С умным человеком потолковать всегда приятно... А правда, почему пришли один?

— Да капитан ваш, — кивнул отец Геннадий на дверь, — встречает меня сегодня у церкви, говорит: «Ступай сейчас в комендатуру, ладаном покури, а то комиссары там все своей махрой провоняли...»

— Когда это было?

— После заутрени. Часу в восьмом.

— И сразу пошли?

— А как не пойдешь? Говорит, приказ генерала Пепеляева.

Незаметно переломился разговор, теперь уже Мурзин спрашивал, а ему отвечали.

— Когда вошли в залу, перстень лежал на столе?

— Да. В футляре.

— В закрытом?

— Да.

— Трогали его?

— И не думал. Зачем?

— А откуда узнали, что там перстень?

— Калмыков сказал.

— Вспомните, — попросил Мурзин, — кто что делал, когда вы находились в зале.

— Ну, так прямо и не вспомнишь, особо не присматривался. Вот Калмыков, помню, под благословение подошел и все время около меня ходил, пока я был там. А Фонштейн, кажется, разговаривал с этим ювелиром. Да, они у камина стояли. Галантерейщик, бриллиантщик, — поморщился отец Геннадий. — От них весь разврат... А капитан за столом сидел. «Что, — говорит, — госпожа Чагина, никто теперь ваши французские духи и не унюхает!» И засмеялся. Он от входа слева сидел, а с другой стороны — Петр Осипович, Ольга Васильевна и Каменский. Она между ними двумя.

— И к кому ближе?

— Ну, то не мне судить.

— А Сыкулев-младший?

— Его не было.

— Как так не было? — удивился Мурзин.

— Не видал.

— Сколько же времени вы там пробыли?

— Недолго, минуты, может быть, три... Явился Исмагилов, и я ушел.

— Куда?

— Барышни в канцелярии сушеной рыбкой угостили. Посидел с ними. Потом еще покурил по коридорам. — Отец Геннадий медленно втянул носом воздух. — А что толку, раз нужники не чищены? Они тут с обогревом. Вон морозище-то какой, а шибает. Кури, не кури...

— Вот вы знаете, что перстень украли, — перебил Мурзин. — Если честно, то подозреваете кого-нибудь?

— Не судите, да не судимы будете. — Отец Геннадий вздохнул. — Не найдете, так расстреляют вас?

— Вроде того.

— А вы обет дайте, обет, — вдруг быстро-быстро зашептал отец Геннадий. — Не схиму принять, нет, про то уж не говорю. Дайте обет, Сергей Павлович, пешком на Белую гору идти, к тамошним святыням. Тут ведь недалеко, верст сотня всего! Или хоть свечку копеечную в церкви поставить. А, Сергей Павлович?

— Нет, не стану, — сказал Мурзин. — Чего он раньше-то, ваш бог, за правду не вступался? Кругом неправда. Я у себя в Центральном районе и то поболее сделал, чтоб ее кончить... А бог, поди, и сам не знает, кто вор. На князе Владимире сапоги и то проглядел.

— Зна-ает! И знак подаст. Уверуете, так непременно подаст!

— А вы не подадите?

— Я благодарность чувствовать умею, — печально отвечал отец Геннадий, — и добро ваше ко мне помню. И даже, прости господи, взял бы грех на душу, указал бы, на кого думаю. Пускай судят меня за мой суд! Но только ни на кого я, Сергей Павлович, не думаю. Господь мне знака не подает, потому что я духом слаб — генералу кланялся, в мирских стенах святым ладаном курил.

— Ага, — сказал Мурзин.

Стыдно стало. Чего нюни распускал перед Сыкулевым, Грибушиным, перед этим попом? Разжалобить хотел? Смерти боялся? Да пропади они пропадом, помощнички!

— Шучу я. — Он встал. — Не найду, ну и не найду. Делов-то!

Во дворе Пепеляев спешил, кинул поводья набравшему ординарцу, вошел в губернаторский особняк и ахнул: два часа назад отдал приказ, но лишь теперь

уводили из комендатуры старика Гнеточкина, который все это время, наверное, мечтал о том, как станет визирем при генерале Пепеляеве. Двое солдат волокли его под руки, он вырывался и кричал:

— Пилаты! Куда вы меня?

Чтобы не встречаться с ним, не видеть воспаленных безумных глаз, Пепеляев юркнул в канцелярию, а когда Гнеточкина вытащили на крыльцо, пошел дальше.

В коридоре, на полпути между канцелярией и каминой залой, остановил поручик Валетко.

— Привел? — спросил Пепеляев.

— Никак нет. Нельзя.

— А что такое?

— Да шлепнули их сегодня ночью.

— Всех четверых?

— Всех. — Валетко сделал такой жест, будто смахивал крошки со стола, и смотрел вопросительно, поскольку слышал обещание, данное Мурзину.

— Ступай-ка ты к Веретенникову в лазарет. А то без руки ведь останешься, герой. Мне безрукие адъютанты не нужны.

Уже догадываясь, что теперь, видимо, он и при обеих руках не нужен будет генералу, который возьмет на его место другого адъютанта, Валетко начал отнекиваться — мол, совсем не болит, заживает. Но отвечено было с отеческой суровостью: это приказ, обсуждению не подлежит, и Валетко повиновался. Следовало бы сказать, вернее — дать понять генералу, умно и тонко намекнуть, что ничего не помнит, не слышал никаких обещаний, иначе из лазарета отправят не в штаб, а в строй, но ни сказать, ни даже намекнуть он не мог — совесть не позволяла. И еще, уходя, совершил последнюю ошибку: быстро отвел глаза в сторону, словно ненароком увидал нечто стыдное, унижающее не только того, кто это делает, но и того, кто смотрит.

Валетко ушел, Пепеляев остался в коридоре. На душе кошки скребли. Честно выполнить обещанное он уже не мог, хотя и не по своей вине; мог лишь отпустить самого Мурзина, если тот найдет перстень, и кошки скребли, потому что с детства приучен был держать слово. Раз не сдержишь, другой, и сам не заметишь, как душа расплывется, станет мягкой, как тесто. И сразу найдутся пекари — мять, лепить. Значит, надо признаться Мурзину: так, мол, и так, братец, не обессудь. Или не стоит пока? Может быть, то, что верно было для

шестнадцатого года, теперь утратило всякий смысл? Не свечками ли в разрушенной церкви были эти честные слова, эти правила игры, старинное благородство? Жалкие огонечки среди хаоса, кто-то прикрывает их ладонью от ветра, но кому-то нужно и отстраивать стены. Не свеча встанет перед богом, а душа. Праведник нынче тот, кто думает о деле, а дело — вот оно: одеть и накормить дивизию, чтобы по снегам, по морозу, идти дальше на запад, к Глазову и Вятке.

Пепеляев двинулся к каминной зале, уже взялся за дверную ручку, когда то ли от напряжения, то ли от медного холода, потекшего по пальцам, внезапно явилась мысль простая и ясная: он понял, куда девалось колечко. Как же раньше-то не сообразил? Отпустил ручку и под удивленными взглядами двоих юнкеров, охранявших дверь каминной залы, отошел в сторону — подумать спокойно. Мысль была такая: купцов обыскивали по одному, заводя в соседнюю комнатушку, и вор, прежде чем туда идти, мог незаметно передать перстень сообщнику. А потом взял обратно, когда того повели. Ах выжиги! Пепеляев курил уже вторую папиросу, пытаясь угадать, кто были эти двое. Именно двое, не больше. Три человека — это заговор, а где заговор, там и доносчик. Да и к чему им делить добычу на троих? Грибушин и Ольга Васильевна? Грибушин и Сыкулев? Или Сыкулев и Каменский? А может быть, Каменский и Фонштейн? Бесплезно гадать, каждый мог снюхаться с каждым.

— Выжиги! — вслух повторил Пепеляев.

Снова шагнул к двери и снова остановился; послал одного из юнкеров привести сюда дежурного по комендатуре и ремингтонистку Милонову. Коли так, церемониться нечего. План уже был готов: обыскать их всех разом, голубчиков. Одновременно. Другого способа он не видел. Раздеть догола. Мужчин в зале, а Чагину в соседней комнатушке. Пускай потом жалуются, черт с ними! Зато попомнят генерала Пепеляева.

И купцов, и Константинова тоже Мурзин просил рассказать, что происходило в зале перед тем, как прибыл Пепеляев и обнаружилась пропажа. Слушал и сравнивал. Рассказывали примерно одинаково: все сидели и стояли вокруг стола, на котором лежала коробочка с перстнем, один Исмагилов явился в самый последний

момент и к столу не приближался. Правда, Каменский утверждал, будто Грибушин, когда все стали уговаривать Исмагилова не упрячиться, остался за столом, а сам Грибушин об этом умолчал; правда, Сыкулев-младший заметил, что Каменский примерял кольцо себе на палец, а затем — на палец Ольге Васильевне, которой оно оказалось как раз впору, о чем Каменский не упоминал; правда, Сыкулев-младший, по его же собственным словам, все время сидел на месте как прикованный, а отец Геннадий почему-то вообще его не заметил; правда, Калмыков, говоривший о себе, что предчувствовал неладное и потому тайно держал коробочку под наблюдением, ходил, как выяснилось, по пятам за отцом Геннадием, пока тот окуривал стены, но в целом все свидетельствовали приблизительно одно и то же и, главное, показывали, не сговариваясь: в нужник никто не отлучался.

Ничего нового не добавил и Шамардин, вошедший с таким видом, словно его не на допрос позвали, а на совет — обсудить дальнейшие действия.

Купцы, сообщил Шамардин, в половине седьмого утра, когда согласились наконец сделать добровольные пожертвования, под конвоем отпущены были по домам. Отправились, видимо, поест горяченького, ибо, кроме Сыкулева-младшего и Фонштейна, приволокшего вексель, никто ничего не принес. Могли бы и не ходить. Но он, Шамардин, времени даром не терял. С утра даже чаю хлебнуть не успел, сразу помчался на квартиру к Константинову, о котором узнал еще накануне, вытащил его из постели и доставил в комендатуру. Затем стали поджидать купцов. Те явились все разом, будто условившись заранее, если не считать Исмагилова и Калмыкова — тот, как и вчера, прискакал раньше всех. Остальные собрались без четверти восемь, а Пепеляев прибыл около половины девятого. Без десяти минут восемь Шамардин принял у Сыкулева-младшего коробочку с перстнем, осмотрел его и передал Константинову, который изучал перстень минут пять, после чего коробочку закрыли и поставили в центре стола.

— И никто больше ее не трогал, не раскрывал? — спросил Мурзин.

— Хватали. Но я приказал, чтоб не лапали.

— К тому времени, как отец Геннадий пришел, уже не трогали?

— Еще чего! Я приказал, значит, все. Они со мной

полночи просидели. Знают, что капитан Шамардин шутить не любит.

— А зачем вообще позвали его сюда, попа этого?

— Для плезиру. Ладаном пахнет, и душа радуется.

— Ваша? Или генеральская?

— Всякая христианская душа радуется, — с усмешечкой отвечал Шамардин, постепенно наглежа, потому что видел уже: не может Мурзин отыскать перстень, и, значит, скоро придет срок с ним по квитаться.

— А кто последний брал коробочку со стола?

— Сыкулев, — быстро сказал Шамардин и тут же передумал. — Нет, Каменский... Или Грибушин?

— А вы где были?

— Сидел возле.

— И коробочка была закрыта?

— Точно так, закрыта!

— Выходит, — спокойно сказал Мурзин, — кроме вас, некому было и взять.

Оставив потрясенного Шамардина, который ощутил холод внизу живота при мысли о том, что этот вывод будет доложен Пепеляеву, Мурзин толкнул дверь в залу. При его появлении сразу сделалось тихо, разговоры смолкли. Отец Геннадий уже ушел, запах ладана выветрился, и все отчетливее наплывал неувядающий аромат французских духов Ольги Васильевны. По-прежнему царственно-невозмутимая, она сидела рядом с Сыкулевым-младшим, в ее сложенных щепотью пальцев мелькнула и скрылась в муфте пружинка-зубочистка. Вероятно, и Сыкулева она не считала за мужчину. Ольга Васильевна была безмятежна, а ее собеседник сопел громче обычного и царапал палкой паркет. На коленях он держал принесенный из дому облезлый портфель. Этот портфель Мурзин обследовал давно, часа два или три назад. В нем лежали шерстяные носки и толстая вязаная кофта, захваченные, как объяснил сам Сыкулев, на тот случай, если генерал на что-нибудь разгневается и опять велит загасить камин.

Когда искали перстень, пламя заливали водой, но после снова разожгли, и ни кофта, ни носки пока что негодились. Но кто знает, что ждет впереди?

От бешеного генерала всего можно было ожидать. Калмыков и Фонштейн, надеясь на лучшее, но готовясь и к худшему, тоже предусмотрительно явились не налегке: один с баулом, другой — с маленьким чемодан-

чиком. Там находились теплые вещи, кое-какая снедь, немного денег, а у Калмыкова еще и Библия. Сейчас эти двое примостились рядышком, что-то жевали. По лицам их Мурзин понял, что они уже покаялись друг другу в своем грехе и простили друг друга.

Тот Мурзин, который отправился в соседнюю комнатушку вести допрос, еще ничего не знал, а этот, вышедший обратно в залу, мог знать многое. Все смотрели на него, ждали, что скажет. Лишь Константинов, отвернувшись, глядел в окошко. Мурзин подошел к нему и тоже поглядел на улицу: двое солдат вели куда-то старика Гнеточкина, безобидного чудака, последние десять лет страстно мечтавшего состоять при всех начальниках для говорения им правды. Указывая на окно, Гнеточкин о чем-то возбужденно рассказывал своим конвоирам. Вот остановился, захлопал себя ладонями по бедрам, как бы собираясь взлететь. В открытую форточку доносился его голос:

— Отсюда и вылетела...

Солдатики слушали с интересом.

Шамардин, пытаясь оправдаться, но шепотом, чтобы другие не слышали, встал рядом с Мурзиным. При виде его Гнеточкин вдруг отшатнулся, заорал с искаженным лицом:

— Он! Это он! Его душа вылетела! По глазам вижу!

Конвоиры с двух сторон подхватили его под руки, поволокли по улице, а Гнеточкин вырывался, кричал:

— Куда вы меня тащите? Это он вам приказал? Он, я знаю!

Калмыков, тоже подскочивший к окну, покрутил пальцем у виска.

— Что там такое? — не вставая, поинтересовался Грибушин.

— Опять Гнеточкин скандалит, — объяснил Калмыков.

— По нему давно сумасшедший дом скучает, — сказала Ольга Васильевна.

К ней, вспомнил Мурзин, Гнеточкин много раз обращался с просьбой давать ежедневно по сто свечей, чтобы они, прикрытые прозрачными колпаками, денно и ночью горели бы вокруг мраморной вазы для прошений, но Ольга Васильевна, естественно, не дала. Какие свечи, если и вазы-то еще нет!

Месяца два назад Гнеточкина совсем уж было со-

брались запереть в дурдоме, но Мурзин его отстоял. Он считал, что этот человек нужен городу. Встречая его на улице, каждый невольно задумывался вот о чем: а есть, может, и в самом деле какая-то правда, ему одному ведомая и скрытая от всех? И неуютно делалось под взглядом этих воспаленных, вечно слезящихся глаз. Ворочалась в них темная полубезумная тоска по справедливости, и Мурзин жалел Гнеточкина, защищал от начальников, которые его гоняли, привечал, потому что оба они мечтали об одном — о всеобщей правде, только достичь ее хотели по-разному. Эх, Гнеточкин! Теперь уж некому будет за него вступить.

— Чего он на меня, падла? — кипятился Шамардин. — По морданции бы ему, чтоб заткнулся!

— Вам велено не выходить отсюда, — напомнил Мурзин.

Не обращая внимания на ропшущего Шамардина, мимо зубодробительного кресла, которое бессмысленностью и никчемностью своей в этой зале неприятно саднило душу, прошел к столу, сел, взял в руки черную коробочку. Он ничего не знал, говорить было не о чем, но возникало почему-то странное чувство, будто все уже понял, догадался когда-то давно, а потом забыл, и сейчас нужно не сообразить, не понять, а именно вспомнить, как вспоминаешь утром промелькнувший и забытый сон, который, кажется, не этой ночью приснился, а бог весть когда, чуть ли не в детстве.

Коробочка была закрыта. Сидя за столом под взглядами шестерых купцов, Константинова и Шамардина, Мурзин держал в руке коробочку, силился вспомнить и не мог — память скользила по всему тому, о чем рассказывали эти люди. Ей, бедной, не за что было зацепиться.

Пепеляев не вошел, а влетел в залу, за ним — дежурный по комендатуре, двое юнкеров и Милонова.

— Ну что?

Вопрос Пепеляева обращен был к Мурзину, но Шамардин, словно именно он играл здесь главную роль, успел ответить первым:

— Ищем, ваше превосходительство... Ищем!

Мурзин ничего не сказал.

— Встань, — велел ему Пепеляев.

Он встал, не выпуская из пальцев коробочку.

— Господа-а! — спохватившись, провозгласил дежурный по комендатуре.

Грибушин и Ольга Васильевна нехотя поднялись, прочие уже и так стояли.

— Садитесь, мадам, — сказал Пепеляев и снова повернулся к Мурзину. — Что, провели тебя Сил Силычи?

— Не меня одного.

— Ну, это мы еще посмотрим... Спрашиваю в последний раз, господа: где перстень?

— Скажу за всех, — ответил Грибушин. — Нам нечего добавить к тому, что мы уже сообщили вам и вашему помощнику...

Плавные округленные фразы, голос вкрадчивый и вместе с тем уверенный, барственное мановение большой белой руки. Пепеляев посмотрел на Сыкулева-младшего, который, как предполагал Грибушин, силой внушения соткал из воздуха перстень ценой в тридцать три тысячи рублей. Гипнотизер, борода веником, был красив, тяжело дышал и держался рукой за спинку стула. Господи, подумал Пепеляев, да такому и на трешку не соткать! Или Грибушин нарочно пускает пыль в глаза? Может быть, они с Сыкулевым — пара, при обыске передавали перстень друг другу? А Константинов? Что за чушь с этими исчезающими бриллиантами? Кстати, ведь в прошлый раз его не обыскивали. Почему? Пройдохи под маской юродивых, вот уж поистине бедствие национального масштаба.

Грибушин продолжал рассуждать, и Пепеляев решил, что все, хватит ходить в дураках.

— Сейчас все вы подвергнетесь повторному обыску, — объявил он. — Мадам, прошу пройти в ту комнату.

Поведя плечиком, Ольга Васильевна пошла, куда было велено. Милонова последовала за ней.

— Просту раздеваться, — сказал Пепеляев, когда за женщинами закрылась дверь.

— Что значит раздеваться? — спросил Каменский.

— То и значит, — объяснил Пепеляев. — Раздеваться. Снять с себя одежду.

— Как? — поразился Каменский. — Прямо здесь, при всех?

— Надеюсь, вы шутите, — сказал Грибушин.

— Не более, чем вы.

— Я не стану, — плачущим голосом заявил Камен-

ский. — Пожалуйста, обыскивайте по одному, там. — Он кивнул на дверь комнатухи, куда ушли Милонова с Ольгой Васильевной. — А здесь я не стану. Мы не мужики и не арестанты, чтобы раздеваться друг при друге.

— Чего канючишь? — спросил у него Сыкулев-младший. — Небось рыльце в пуху? У кого совесть чиста, тот всегда готов. — И начал, скинув шубу, разоблачаться с неожиданной для его сложения быстротой. Остальные не шевелились.

У Пепеляева дернулась верхняя губа.

— Всем снять обувь и раздеться до белья! Одежду для осмотра передавать им. — Он указал на свою свиту, которая стала расползаться по комнате.

— А наша честь? — выкрикнул Каменский.

— Честь? Да какая у вас честь? Лучше не вынуждайте меня прибегать к силе. Я жду!

— Господин генерал, — бросился к нему Константинов. — Это невозможно. Умоляю вас, остановитесь! Такое унижение. Как все мы потом будем смотреть в глаза друг другу?

— И вы тоже раздевайтесь, — приказал Пепеляев.

— Я? — не поверил Константинов. — Вы мне говорите?

Калмыков и Фонштейн уже расстегивали пуговицы. Один юнкер подошел к Грибушину, другой — к Сыкулеву-младшему, дежурный по комендатуре — к Каменскому, который вздохнул и повиновался. Но Грибушин, отпихнув подошедшего юнкера, закричал:

— Не прикасайтесь ко мне!

Смирился он лишь после того, как Пепеляев с перекошенным лицом выхватил револьвер.

— Прошу вас, не надо, — шептал Константинов, с которого Шамардин грубо стаскивал пиджак: раздевал, с удовольствием, наслаждаясь вновь обретенными полномочиями, ловко поворачивал туда-сюда, покрикивал.

Мурзин видел глаза Шамардина — серо-голубые, пустенькие, как бы и твердые, но в то же время смотрящие в никуда, причем всегда одинаковые, не меняющие своего выражения ни в гневе, ни в радости. Такие глаза бывают у стрелков-асов, молодых честолюбцев и застарелых пьяниц, и Мурзин припомнил Гнеточкина: что он там кричал, по-петушину хлопая себя по бедрам? Какая душа? Почему по глазам, да еще сквозь грязное стекло видно, что у Шамардина ее нет? И если

в самом деле нет ее, то что для Гнеточкина душа — жажда справедливости только? Или еще и любовь? И верность? Но ведь не побежишь, не спросишь.

Вскоре пятеро купцов и Константинов, раздетые, стояли в нескольких шагах один от другого — на такое расстояние развел их Пепеляев, чтобы не могли передавать перстень из рук в руки. Все в нательных рубашках и в подштанниках, один Грибушин из протеста разделся донага, решив обратить публичное раздевание в спектакль, унижающий не его самого, а того, кто это затеял; стоял совершенно голый, не прикрывая срама, уперев руки в полные чресла. Из протеста же он расшвырял одежду по комнате: пиджак полетел в один угол, сапоги — в другой, сорочка — в третий. Юнкера ходили, подбирали все это с полу. Константинов, стараясь ни на кого не смотреть, беззвучно шевелил губами и заслонял клоунские заплатки на белье.

Генерал и его помощники рылись в карманах, вынимали стельки из сапог, переворачивали и трясли валенки, щупали подкладку у пиджаков и поддевок. Под руками Шамардина треснули и разошлись по шву константиновские штаны.

И Мурзин, глядя на этих людей, почувствовал вдруг, что ему стыдно на них смотреть, одетому — на голых. Пускай эти люди, за исключением Константинова и, может быть, еще Калмыкова, не стоили сочувствия, сами всю жизнь раздевали и обирали других, но сейчас, присутствуя при их унижении, Мурзин ни малейшего злорадства не испытывал, напротив, хотелось отвести взгляд, не смотреть, как Константинов. Сам он никогда, пожалуй, не смог бы заставить себя сделать то, что Пепеляев сделал спокойно, не колеблясь.

Мурзин стоял у окна, сжимая в руке коробочку. Найдет генерал перстень или не найдет, было почти безразлично. Ему-то что? Жизнь кончалась. Он уже видел, как на камском льду, у прорубей, под дулами винтовок скидывают с себя жалкую одежонку двое самооборонцев, раненый пулеметчик и китаец Ван Го, которому не быть больше Иваном Егорычем. И рядом с ними стоит он сам. Прикипают к наледи босые ноги, последним холодом охватывает душу и тело. Залп, черная вода всплеснула, кровь на снегу. Шамардин аккуратно скатывает снятый с Мурзина жилет. Хороший жилет, теплый, постирать и носить под кителем.

Мурзин вертел в пальцах коробочку, но до сих пор

не открывал. Безумная надежда была: вот сейчас откроет, а перстень уже там, подкинутый перепуганным вором. Надавил шпенек, пружинкой откинуло картонную крышку. Пусто. Он потрогал кусочек синего бархата, устилающий донце, как лоскут какой-нибудь — кошацье лукошко; обломанный ноготь неприятно зацепил материю, и тогда наконец вспомнилось то, о чем все время хотел вспомнить и не мог.

Пацаном, еще в Царевококшайске, его иногда звала к себе в дом соседская барыня — играть в лото с ее больным сыном, не встававшим с постели. Играли часа по четыре кряду, и на это время им ставили у кровати тарелку с пирожными. Как-то Мурзин попросил пару штук для сестер, но барыня прочитала нотацию и не дала. А унести без спросу нельзя: когда уходил домой, горничная в прихожей обшаривала, ощупывала, чтобы чего не стибрил, раз нашла в карманах по пирожному, отобрала да еще за ухо надергала. Сестры предлагали выбросить им по пироженке в окошко, но окно выходило во двор, куда им не пробраться. Все-таки в конце концов додумались: Мурзин притащил под рубахой своего кота. Вместе с барыниным сыном, который страшно обрадовался новому развлечению, веревочкой подвязали коту под брюхо два пирожных и пустили за окно, во двор, откуда он сразу сиганул на улицу. А там уж его сестры караулили. Правда, во дворе, пытаясь избавиться от поклажи, кот валялся на мусоре, и сестричкам немного досталось — одни корки, давленные и перемазанные грязным кремом.

— А кошки тут не было? — спросил Мурзин, когда Пепеляев проходил мимо с чьими-то сапогами в руках. Тот поглядел, не понимая.

— Кошки, говорю, не было? Могли к ней привязать и выпустить за дверь.

— А ведь точно, ваше превосходительство, была, — задумчиво сказал дежурный по комендатуре.

И один из юнкеров подтвердил: была кошка. Где-то около бродила, мяргала.

— Серая, — встрепенулся Сыкулев-младший, и со всех сторон посыпалось на генерала: серая, черная, нет, серая; Калмыков с Фонштейном тоже ее видали, но им она показалась белой как снег.

— Может, не одна была? — предположил Пепеляев.

Через минуту губернаторский особняк огласился топотом, криками: юнкера побежали ловить кошку. В течение дня ее замечали в разных местах, ремингтонистки в канцелярии слышали мяуканье, но теперь никто не знал, куда она девалась. Дежурный по комендатуре то и дело выглядывал в коридор, давал указания, где еще поискать. Обыск закончен был второпях, купцы начали потихоньку одеваться. Лишь Константинов по-прежнему стоял неподвижно, отвернувшись к окну.

Пепеляев достал часы, щелкнул крышкой: половина четвертого. Перстень пропал, шума не избежать, и Шамардин, конечно, сегодня же донесет в Омск, что генерал Пепеляев самоуправствует, игнорирует циркуляры и якшается с пленными большевиками. На кошку надежда была слабая, и странная мысль не давала покоя: если действительно у бриллиантов, как утверждает Константинов, есть душа, то не ее ли видел Гнеточкин вылетающей из этой комнаты?

Держа коробочку в одной руке, Мурзин внезапно отломил картонную крышку, освободил и вытащил стальную пружинку. Она была в точности такой же, какую Ольга Васильевна использовала в качестве зубочистки, только светлая, блестящая, без сизоватого отлива.

Вот уже и Константинов стал одеваться, грустно разглядывая порванные Шамардиным штаны.

— Капитана тоже надо обыскать, — сказал Мурзин. — Чем он лучше других?

Пепеляев решил, что можно авансом выдать Шамардину за будущий донос.

— Давай, — сказал он. — Пускай все убедятся, что ты чист. Раздевайся.

— Да я его и так обыщу, можно не раздеваться, — предложил Мурзин.

— Ишь ты! — возмутился Пепеляев. — Офицера обыскивать! Свои обыщут.

— Он, сука, у меня голый по льду побегает перед смертью, — пообещал Шамардин, расстегивая портупю.

Грибушин, Каменский и Сыкулев-младший, уже одетые, наблюдали, как он раздевается, с нескрываемым удовлетворением, но Константинов не смотрел; ему неприятно было ничье унижение, даже этого капитана, который с него самого срывал одежду бесцеремонно, как с чучела, и порвал единственные штаны. И Кал-

мыков с Фонштейном скромно отводили глаза, хотя и по другой причине. Они понимали: Шамардин не забудет, не простит тем, кто видел его босым, жалким, в дырчатых подштанниках.

Дежурный по комендатуре взял протянутые Шамардиным галифе, вывернул карманы, всем своим видом показывая, что делает это не по своей воле, а по приказу, и на пол порхнул махонький кусочек синего бархата с почернелыми обугленными краями. Бесшумно порхнул, никто не обратил на это внимания. Быстро нагнувшись и опередив Шамардина, который тоже потянулся к обгорелой бархотке, Мурзин поднял ее, взгляделся: точно такая же устилала дно коробочки. На ладони поднес Пепеляеву:

— Гляньте-ка.

Но генерал уже не слышал и не смотрел, потому что в этот момент вбежали юнкера, передний прижимал к груди огромного рыжего кота, отловленного на дворе, за сараями.

— Он самый, — убежденно произнес Калмыков, хотя недавно говорил про белоснежную кошку, а это был кот, причем рыжий.

— Он, он, — закивал Сыкулев-младший.

Кот жмурился и закладывал уши от страха. Его завалили на стол, один юнкер прижимал задние лапы, другой — передние, дежурный по комендатуре копался в густой шерсти, искал привязанный ниточкой перстень. Пепеляев стоял в стороне, смотрел, но сам в обыске не участвовал, чтобы в случае неудачи не стать посмешищем для всего города. Купцы уж раззвонят.

Мурзин взглянул на Грибушина, который с иронически вздернутыми бровями наблюдал суматоху вокруг кота. Уже ясно было: этот человек догадался первым, хотя и не обо всем, но никому не сказал, кроме Ольги Васильевны, только ей одной. Пускай оценит его ум, его проницательность. После этого разве она сможет отказать ему в любви? И еще он хотел отплатить Пепеляеву за контрибуцию, Мурзину — за реквизицию. Сдал им карты и сел следить за игрой, усадив рядом Ольгу Васильевну, чтобы вместе насладиться их тупостью, беспомощностью, неспособностью ничего понять. А ведь знают столько же, сколько и он, Грибушин. Что видел, то им и рассказал. Пожалуйста, делайте выводы. Если не гипноз, то что?

Шамардин, скользнув мимо, шепнул:

— Отдай бархотку, отпущу, когда на Каму поведут...

Не ответив, Мурзин шагнул к Грибушину:

— Спасибо за правду, Петр Осипыч. Коробочка-то и в самом деле была пуста.

Из соседней комнатки выглянула Милонова. Убедившись, что все мужчины уже одеты, поманила Ольгу Васильевну.

— Умный вы человек, Петр Осипыч, — сказал Мурзин, — а в бабах не разбираетесь. У госпожи Чагиной свои расчеты.

— О чем вы? — вскинулся Грибушин.

— Рассказали ей, что коробочка была пуста?

— Ну, заладили, как попугай. Я про это и вам говорил, и генералу.

— Но об одном не говорили.

— Интересно, о чем же?

— Коробочка была пуста, — повторил Мурзин. — Да. Только другая коробочка.

— Она вам сказала? — поразился Грибушин. — Она? Ольга Васильевна?

— Думаете, пожалела меня? Нет, у нее свои расчеты. — Оставив разом скисшего Грибушина обдумывать сказанное, Мурзин двинулся к Ольге Васильевне; та успела заметить пружинку в его руке и смотрела, не отрываясь.

Надеясь на чудо, юнкера не отпускали кота, хотя на нем не было ничего, кроме блох. Милонова, краснея, докладывала генералу, что досмотр она произвела, но кольца не обнаружила. Внезапно Пепеляев метнулся к столу. Оттолкнув юнкеров, ухватил кота за задние лапы, крутанул в воздухе и с силой швырнул Мурзину прямо в лицо. Кот впился когтями в шею, кровь потекла за ворот гимнастерки.

— Ну, — бешеным шепотом спросил Пепеляев, — что еще скажешь?

Мурзин стряхнул кота на пол, и тот стреканул за дверь.

Все смотрели на Мурзина, лишь Грибушин — на Ольгу Васильевну, которая осторожно, бочком, все ближе и ближе придвигалась к окну.

— Да хватит ему измышляться над нами! — Шамардин молниеносно выхватил револьвер, но Пепеляев успел ударить его по руке снизу вверх.

Уши заложило от выстрела; пуля, срикошетировав

от вентиляционной решетки под потолком, с низким шмелиным гудением пролетела над головами и вошла в стену, в переборку, отделявшую залу от соседней комнаты.

Уже спокойнее, уже поигрывая отнятым у Шамардина револьвером, Пепеляев повторил:

— Так что еще скажешь?

Купцы, при выстреле приснувшие в разные стороны, теперь старались держаться за спиной у генерала, чтобы невзначай не угодить под пулю, если тот вздумает стрелять. Один Мурзин остался с ним лицом к лицу.

Когда начал говорить, заметил, что форточка в окне, возле которого минуту назад стояла Ольга Васильевна, открыта. А ведь Каменский, раздеваясь, ее закрывал, эту форточку, дабы не простудиться. И лицо Ольги Васильевны вновь стало царственно-безмятежным, словно все происходящее никоим образом к ней не относилось. Словно случайно попала сюда из какой-то иной жизни. Само собой, пружинку она выкинула на улицу, воспользовавшись паникой, но Мурзин продолжал говорить, потому что бархотка-то была при нем, он крепко сжимал ее в кулаке.

Купцы глядели только на него, лишь Грибушин уставился в пол да Константинов, уверенный в том, что во-ра найти невозможно, по-прежнему смотрел в окно, и непонятно было, слушает он или нет. Шамардин держался поближе к двери. Отдельной кучкой стояли дежурный по комендатуре, двое юнкеров и Милонова. Пуля ударила в стену над ее головой, прическу запорошило осыпавшейся побелкой, будто седина пробилась в волосах. От этого лицо Милоновой казалось бабьим, вдруг постаревшим.

Мурзин говорил, и все, кроме Грибушина и Константинова, не только слушали, но еще и следили за его взглядом. Даже Калмыков с Фонштейном, давно взявшие себе за принцип ничего лишнего не знать о людях, способных отомстить за такое опасное знание. Все внимательно следили за его взглядом, ждали, на кого укажет. А Мурзин, пожалуй, чаще, чем на других, поглядывал на Грибушина и Ольгу Васильевну. Но он решил не упоминать их имен. Зачем, если все равно не докажешь? Пружинка вылетела за окно, пропала в снегу, и вспоминать о ней не стоило. Грибушин с Ольгой Ва-

сильевой могли быть спокойны. Бог им судья и совесть, ежели есть.

Кот здорово разодрал шею. Мурзин трогал царапины, кончики пальцев были в крови. Константинов достал платок, но не успел протянуть, выронил на пол, когда услышал, что, оказывается, не одна была коробочка, а две, совершенно одинаковых, и в каждой лежало по синей бархотке.

Купцы еще стояли голые, еще шел обыск, а Мурзин, готовясь к смерти, открыл коробочку в безумной надежде обнаружить там подкинутый перстень, пружинкой откинуло крышку, и тогда он понял. Сейчас объяснять про это не хотелось. Напряжение ушло, но и радости почему-то не было, все казалось простым, даже скучным. И стыдным. Война, гибнут товарищи, а тут пружинка, бархотка. Накатила усталость — губами лень шевелить.

Мурзину говорить не хотелось, а Пепеляеву — слушать. Противно было. Чего рассусоливать? Пускай покажет, коли нашел, и дело с концом. Не все ли равно, кто взял. Мог-то любой, вот что главное. На кого же надеяться в этом городе? Но слушал, не прерывая. Да, он, генерал Пепеляев, не для того богом предназначен, чтобы разгадывать купеческие хитрости, его дело — война, там он царь и бог, и никакого нет позора, что не понял. Даже казалось теперь, будто не очень и хотел понять, не особо старался. А Мурзину и карты в руки.

Было две коробочки, объяснял Мурзин. Одна, с перстнем, лежала на столе, другая — у вора в кармане, пустая, и незаметно поменять их местами было не так уж сложно. А вынуть прямо в кармане перстень и бросить коробочку в камин, чтобы на случай обыска избавиться от улики, — еще проще. Имени вора он не называл. Зачем? Догадаться легко, семи пядей во лбу иметь не надо. И не говорил о том, что Ольга Васильевна, с которой Грибушин поделился своей догадкой, позднее извлекла из камина пружинку от сгоревшей коробочки — сизую, потемневшую в огне. Потом, уже на свободе, шантажируя похитителя, можно взять с него отступного. Вот что ей важно, и плевать она хотела на Грибушина с его любовью и проникательностью. У нее свои расчеты.

А у Шамардина — свои, похожие.

Но ни он, ни Ольга Васильевна так, видимо, и не

поняли, куда потом девался перстень. Да и Грибушин скорее всего об этом не знает.

— Коробочка брошена была в огонь неудачно, не успела сгореть до конца, — говорил Мурзин, держа на ладони обгорелый лоскуток синего бархата. — Помните, кто угли-то в камине разгребал...

— Врет он, ваше превосходительство! — заорал Шамардин, схватив со стола коробочку с отломленной крышкой. — Где тут бархотка?

Мурзин увидел белеющее донце и все понял. Зачем, дурак, оставил коробочку на столе?

— Не верьте ему, ваше превосходительство! Он эту бархотку сам вынул, обжег, а на меня валит. Помирать-то не хочется!

— А из чьих галифе она выпала? Все видели.

— Кто видел? Кто? — кричал Шамардин.

Видели Калмыков с Фонштейном, но промолчали, остерегаясь впутываться в эту свару, и Грибушин тоже промолчал, потому что не желал помогать ни Мурзину, ни Пепеляеву; остальные, среди них и дежурный по комендатуре, как раз в тот момент отвлечены были котом.

Свидетелей не нашлось, и Шамардин почувствовал себя увереннее. Ведь не станет же Мурзин требовать, чтобы его снова обыскали.

— Выкручиваешься, падла? Помирать-то не хочется, а? Ишь, умник! Чего придумал-то! Коробочка, да еще коробочка. По-твоему, я ее в огонь бросил, а перстень украл?

— Я этого не говорил, — сказал Мурзин.

— Ага, выкручиваешься! Испугался, падла? — Шамардин обернулся к Пепеляеву. — Сами посудите, ваше превосходительство, ну откуда я мог знать, в каком футляре Сыкулев свое колечко принесет?

Пепеляев молчал, с подозрением поглядывая на своего адъютанта: почему решил вдруг стрелять в Мурзина? Он ничего не понимал, но не хотел требовать разъяснений, чтобы не выглядеть глупее других, которые, значит, что-то понимали, если ни о чем не спрашивали.

— Раз такой умный, — предложил Шамардин, — пускай скажет, где перстень?

— Ну, — спросил Пепеляев, — где? Может, в кармане у тебя лежит?

— Дайте мне двоих конвоиров и полчаса времени, — сказал Мурзин. — Я принесу.

— Так его здесь нет? Как так?

— Принесу, увидите.

Подумав, Пепеляев ткнул пальцем в дежурного по комендатуре, затем в одного из юнкеров:

— Ты и ты... Пойдете с ним. Но смотрите у меня!

— Никуда не денется, — пообещал дежурный.

— И я с ними, — вызвался Шамардин. — Револьвер мой позвольте, ваше превосходительство.

— Чтобы застрелить его при попытке к бегству? — спросил Пепеляев. — Останешься здесь. Понял?

— Полагаюсь на вашу честь, генерал, — сказал Мурзин. — Вы помните свое слово?

— Отпущу, не бойся.

— Не меня одного.

— Иди-иди, — поморщился Пепеляев, потому что вспоминать про честное слово было неприятно. — Много что-то разговариваешь.

Когда за Мурзиным с его конвоирами закрылась дверь, Пепеляев перевел взгляд на купцов, которые в шеренгу по одному замерли вдоль стены, ежась под его взглядом, отбрасывающим их одного за другим в сторону, как костяшки на счетах. Грибушин, Каменский, Чагина. Внезапно Сыкулев-младший выронил свою палку и медленно стал сползать по стене вниз, пока не опустился на корточки, страшно хрипя и с ужасом глядя на генерала вылупленными глазами.

Господи, ну конечно! Кто, как не он, мог принести с собой два одинаковых футляра? Ведь Грибушин говорил... В то же мгновение Пепеляев крутанулся на каблуках и коротко, мощно ткнул Шамардина кулаком в переносье. Сшибая стулья, тот отлетел, рухнул на пол. Напряглась и дрогнула рука с револьвером, Пепеляев едва не нажал спуск, но сдержался, швырнул револьвер Шамардину — пускай сам, подлец, приставит его к виску. И отвернулся, встал лицом в окно. Еще не хватало им всем видеть слезы у него на глазах. И это соратник? Боевой товарищ? Ах выжига! Теперь-то все было ясно: Шамардин нашел в камине обгорелую бархотку и спрятал, чтобы позднее, тыча ее Сыкулеву под нос, обложить его контрибуцией — в свою, разумеется, пользу. Пепеляев смотрел в окно, глаза щипало. Ради кого он воюет? Ради этих? И бок о бок с кем? С этим? Так стоит ли? Слезы стояли в глазах, он дергал бровями, словно хотел и никак не мог чихнуть. Ждал выстрела. Не дождавшись, обернулся. Стреляться Шамардин

и не думал, спокойно засовывал револьвер в кобуру, собираясь идти.

— Ваше превосходительство, — с достоинством сказал он, — я вынужден сегодня же донести в ставку о ваших противозаконных действиях, подрывающих у населения доверие к Сибирскому правительству и лично к верховному правителю России адмиралу Колчаку. Моя гражданская совесть не позволяет мне больше молчать. Честь имею!

Щелкнул каблуками, поклонился и вышел.

По Сибирской вниз, к Каме, затем два квартала вдоль Покровки и опять вниз, уже по Красноуфимской; сначала вниз, после вверх — улица поднималась на береговой холм, по ней вышли к длинному двухэтажному зданию духовной семинарии, где недавно еще находился Дом трудолюбия в одном крыле, клуб латышских стрелков «Циня» — в другом, а со вчерашнего дня разместился лазарет. Город за спиной курится дымами. Холодно. Скоро стемнеет. Впереди Кама, леса на противоположном берегу, сплошной грядой уходящие к горизонту, слева — мечеть, справа, над обрывом — Спасо-Преображенский собор, желто-белая уступчатая колокольня; на вершье креста на ней было той условной точкой, которой отмечался город на географических картах. Вот она, эта точка, в бледнеющем зимнем небе. Где-то на правом берегу, в прокуренном вагоне, штабные сейчас тычут в нее карандашами, изогнутые красные стрелы, как кометы с хвостами, летят к ней с запада, обозначая направления ударов. Ой, летят ли?

— А сказал полчаса, — укорил дежурный по комендатуре.

— Ну, час, — ответил Мурзин. — К теще на блины опаздываешь?

Подшли к сыкулевскому дому — широкому, грузному, темному, как перестоявший боровик. Во дворе, над крышей дровяного сарая, издалика заметный, торчит домик голубятни, похожий на теремную башенку, поставленный так, чтобы камским ветром не сносило на него дым из трубы.

Мурзин сам держал голубей и сыкулевских знал хорошо, на всю Пермь славились его голоногие вертуны, на лету кубарем идущие через хвост, и хохлатые беззобые плюмажники, и розовые трубачи, и особенно чистя-

ки — снежно-белые, ослепительно ходящие на кругах на такой высоте, что в солнечные дни теряются в сиянии, в блеске, лишь через бинокль или в корыте с водой, как в зеркале, можно тогда следить их полет. При всей своей скупости Сыкулев-младший на голубей денег не жалел, аж из Франции выписал однажды каких-то горбатых уродов с курицу величиной, но в то же время не брезговал и переманить пару-тройку с чужих голубятен. Дней десять назад сманил у Мурзина голубку — чернокрылую, с перевязками. Соседские пацаны, лазавшие по крышам, донесли, что живет у Сыкулева, в его терему. Видимо, это была месть за реквизицию; Мурзин хотел идти разбираться, да уж не до того стало: фронт надвигался с востока, Пепеляев захватил Кунгур.

— Здесь, что ли? — спросил дежурный по комендатуре.

Стояли перед массивными потемневшими воротами, и Мурзин вновь почувствовал себя кречетом, но уже не взлетающим с руки, а из поднебесья падающим на добычу: он заметил одинокого голубя — пестро-белого, с глинистыми мазками, сидящего на крыше голубятни, и померещилось даже, что видит на лапке остренький лучик, пятнышко света ценой в четыре жизни, не считая его, Мурзина, собственной. Божья птица, человечья душа, сегодня утром прошумевшая крыльями перед лицом у Гнеточкина. Этого голубя Сыкулев-младший принес в портфеле вместе с шерстяными носками и кофтой, как Мурзин когда-то своего кота, и пока все уговаривали Исмаилова не упрямитесь, потихоньку вышел в соседнюю комнатуху, привязал перстень к розовой лапке и выпустил голубя за окно.

Постучали и стояли у ворот; в окно пробарабанили и в калитку, уже сыкулевская сожительница, откинув край занавески, увидала, кто пришел, и ждали, чтобы открыла калитку в воротах, заложенную на засов, когда от лазарета, с другой стороны улицы пьяно окликнул поручик Валетко:

— Никола-ай! Подь-ка сюда!

Стоял пошатываясь — рука на перевязи, фуражка ухарски сбита на затылок, мрачно манил пальцем дежурного по комендатуре:

— Подь-ка сюда!

Тот подошел, они заговорили о чем-то, как вдруг Валетко заорал:

— Шкура ты! А честное слово?

Дежурный по комендатуре стал хватать его, не пускать, но Валетко, вырвавшись, направился к Мурзину, высоко поднимая ноги, будто шел по лестнице, а здоровой рукой держась за невидимые перила.

— Очумел, харя пьяная? — тоже заорал наконец дежурный. — Куда?

Валетко остановился, глядя Мурзину прямо в глаза:

— Нашел, значит?

— Нашел, — сказал Мурзин.

— И отдашь?

— Как договорились.

— А ведь дружки-то твои там. — Валетко махнул рукой в сторону Камы. — Плывут... Шкура ты, если отдашь! Я бы не отдал. Не веришь? Ни в жизнь бы не отдал! Ибо за други своя! — Он повернулся к дежурному по комендатуре. — Ты, шкура, ему говорить не хочешь? А честное слово? Или не слыхал? Не при тебе дадено?

— Мелет, пьяный, сам не знает чего, — сказал Мурзину дежурный по комендатуре. — Ты его не слушай.

Здоровой рукой Валетко ухватил дежурного за грудки:

— Молчи! При нас дадено! И мы с тобой отвечаем, чтобы все по чести!

— Ты что, контуженый? Перед кем отвечаем? Перед этой сукой красной?

— Да что с вами говорить, со шкурами! — Валетко матернулся и, покачиваясь, пошел обратно к лазарету по своей невидимой лестнице.

Проводив его взглядом, который не сулил пепеляевскому адъютанту ничего хорошего, дежурный достал из кобуры револьвер, ткнул Мурзина дулом в подреберье:

— Чего встал? Иди лови.

Мурзин поглядел на птичий терем, там томилась вапери его чернокрылая, с перевязочками. И зачем только рассказал им по дороге про сыкулевского гончика? Не пойдешь, сами изловят — не велика хитрость, достанется Пепеляеву, обернется лошадьми, подводами, фуражом, хлебом. Вот оно, генеральское слово, вылетело, как голубь, и не поймашь.

Уже открылась калитка, за ней маячила сожительница Сыкулева — похожая на садовую беседку, необъятной толщины бабища, причитала, чуя неладное. Само собой, на голубятню она залезть не могла, крыша сарая

проломилась бы. Да и куда ей карабкаться по этой лесенке!

Дежурный перехватил револьвер за дуло:

— Иди! Не то сейчас по зубам.

И Мурзин пошел, услышав за спиной облегченный вздох юнкера — тот, видать, окончательно убедился, что со шкурами воюет, не заслуживающими рыцарского к себе отношения, и ему стало спокойнее.

Под наставленным револьвером баба с воплями и руганью принесла ключ от голубятни. Дежурный по комендатуре остался внизу, а Мурзин и юнкер, который на всякий случай передернул затвор винтовки, взобрались на крышу сарая, откуда Мурзин уже один полез выше, к голубятне; снял замок, приоткрыл дверцу и сразу отлегло от сердца: слава богу, чернокрылая тут, сидит, нахохлившись, в уголку, одна, всем чужая, как Ван Го в камере. Он приспустился на пару ступенек и стал ждать, когда пестро-белый порхнет в свой теремок, где колготились товарищи, лениво молотили клювами по рассыпанному пшену — Сыкулев утром успел разбросать, и щедро. Птицы у него были порядочные, без зова не вылетали.

Пестро-белый нерешительно царапал когтями железную кровельку, по вершку придвигался к ее краю и с подозрением, казалось, косил на стоявших внизу людей. Но вот слетел на порожек, еще помедлил и вошел внутрь церемонно, как умеют ходить только голуби, с каждым шагом подавая вперед гладкую умненькую головку. Мурзин быстро нырнул вслед, и опахнуло привычным, даже на морозе не исчезающим запахом помета, несколько птиц вспорхнули, заполошно забили крыльями, вспугнутым пухом повеяло в лицо. Не без труда поймал он сыкулевского курьера с глинистыми мазками на перьях, перекусил нитку, потом бережно взял свою чернокрылую, оставшуюся безучастной, погладил, подышал ей в клювик, чувствуя пальцами маленькое, но живое и ровное тепло птичьего тельца, и она словно скинула оцепенение, закрутила бесхолой головкой. Мурзин почувствовал, как напрягаются у нее крылья, словно у механической птицы, когда начинаешь поворачивать ключик завода. Он привязал перстень к ее лапке, закрыл голубятню. Спускаясь, увидел внизу сыкулевскую сожительницу, она плакала, сидя прямо на снегу, кривя огромное плоское лицо. Рядом стоял дежурный по комендатуре с револьвером в опущенной руке. Темнеет.

На правом берегу тишина — ни выстрела, ни паровозного вскрика. И вроде бы немного потеплело к вечеру, сеется с неба мелкий колющий снежок. В городе тоже тихо. Обыватели сидят по домам, носу не высунут за ворота. Уж такие времена, в темноте всякая власть нынче строга и нелюбезна: что красные, что белые.

Юнкер, ждавший на крыше сарая, сразу потянулся к перстню, хотел сорвать его с лапки, отхватить чуть ли не с лапкой вместе, но Мурзин не дал, сказав, что пускай все остается в натуральном виде, как было. Сам он этот перстень второпях рассмотреть не успел. Да и что глядеть-то? Ну, колечко.

Он боялся, как бы юнкер, который раньше видел на голубятне сыкулевского посланца, не заметил подмены, уже приготовился отвечать: мол, на другого перевязал, покрасивше. Мол, не все ли равно? А их превосходительство полюбуются... Но ваньку валять не пришлось. Юнкер ничего не заметил, он только на перстень и смотрел.

Мурзин держал голубку перед грудью. В сумерках смутно белели перевязочки на ее крыльях, покачивался, поблескивал светлый холодный кружочек с тремя бесценными льдинками. Юнкер с трудом оторвал от них стекленеющий взгляд, приблизил к Мурзину безусое, по-мальчишески надменное лицо и сказал доверительно:

— А шкура ты и есть...

— Жить-то хочется, — улыбнулся в ответ Мурзин.

И поднялась ненависть к этому юнкеру. Сопляк! Благородным хочет быть за его счет, ничем не рискуя. Благородный, так отвернись, промолчи. Посочувствуй, наконец, человеку, вынужденному выбирать между жизнью и честью. Да благородный человек никогда и не поставит другого перед таким выбором. Ах, сопляк! Ему, видишь ли, сладко думать, будто они с генералом из иного теста слеплены. Пепеляев, тот, конечно, из государственных интересов исходит, а Мурзин — из шкурных. Ага!

Он огляделся осторожно. Сарай стоял в ряду других сараев и амбаров, протянувшихся вдоль границы сыкулевских владений, с крыши видна была Монастырская, сани возле лазарета, а в противоположную сторону простирался покрытый снегом соседский огород, где темнели укутанные от мороза мешками не то яблоньки, не то вишни, и за огородом, за банькой и поленницами под навесом, за безжизненным домом, в котором

не освещено было ни одно окно, параллельно Монастырской раскидывалось пустынное белое полотно Торговой улицы: лавки и магазины закрыты, ни прохожих, ни проезжих. И сыплется, сыплется реденький снежок.

Дежурному по комендатуре тоже не терпелось пощупать перстень.

— Чего вы там? — закричал он. — Уснули?

Юнкера надо было скинуть с крыши, иначе бежать нет смысла, пристрелит сверху. Сделав шаг вправо, Мурзин встал так, чтобы тот спиной прикрывал его от дежурного — на случай, если сразу спихнуть не удастся и дежурный станет стрелять; напрягся, готовясь ухватить винтовку за ствол, а перед тем выпустить голубку, отвлечь внимание, но юнкер сам первым шагнул к лестнице. Упоенный сознанием собственного благородства, расслабленный презрением к человеку, который рад услужить врагам, расстрелявшим его товарищей, забыв про всякую осторожность, излишнюю, казалось, по отношению к такому ничтожеству, как Мурзин, более того — унижающую самого конвоира, юнкер спокойно, даже не обернувшись, первым начал спускаться по лестнице во двор. Он еще не успел сойти на снег с последней ступеньки, а Мурзин уже с силой подбросил вверх свою чернокрылую, и сам, пригнувшись, прыгнул в огород по другую сторону сарая.

Хрен им! Если и убьют, перстень все равно не получат. Кому придет в голову искать на мурзинской голубятне? Да и вдвоем далеко не побегут, один останется караулить. Им не его изловить важнее, а голубя. Голубь-то, думают, сыкулевский, полетает и сядет на ту же крышу. А вот хрен им!

Он спрыгнул в огород и побежал по направлению к Торговой. На бегу заложил три пальца в рот, пронзительным свистом разорвало воздух, ударило снизу в пернатое тельце, голубку словно еще раз подкинули — уже там, в высоте, она круто взмыла вверх и пошла, пошла над крышами в темнеющем низком небе, пропала, скраденная снежной сетью, после чего бахнуло два выстрела, револьверный и винтовочный — то ли голубке вдогон, то ли Мурзину. Он с разбегу махнул через забор, пересек улицу, успев заметить, что на крыше сарая никого нет. Значит, по голубке бьют. Невольно Мурзин считал про себя револьверные выстрелы: один, другой, третий. Все, тишина. Неужто попал? Нет, опять грохнул винтовочный. Видать, сообразил дежурный, что

голубь-то вернется и ни к чему ночью искать его, мертвого, по чужим дворам. А юнкер в запале пальнул еще раз. Куда он лупит? Голубку давно подхватило снежным неводком, унесло. Мурзин уже и сам ее не видел. Он нырнул в чей-то палисадник, и минут через двадцать, никем не преследуемый, по собственному огороду, хоронясь от соседей, выбрался к дому — напрямик, вслед за чернокрылой.

Ночью, отсидевшись в овраге за Петропавловским собором, по льду уходил на правый берег. Голубку запереть не стал, отпустил на свободу, чтобы не изжарили соседи. Может, и улетит. Перстень, снятый с ее лапки, завернутый в тряпочку, лежал в сапоге, под стелькой, но Мурзин давно перестал его чувствовать окочевшими пальцами. От снега и простора над Камой было светло без луны, могли заметить с обрыва, и он шел быстро, почти бежал по узенькой тропке — вдалеке она виднелась отчетливо, а вблизи то и дело терялась, переметаемая легкой поземкой, ускользала из-под ног. Сапоги проваливались, хотя и не глубоко, потому что снег здесь раздувало ветром. Под ним бесшумно текла Кама; двое самооборонцев, командир пулеметной заставы, насмерть стоявший позавчера у Петропавловского собора со своими восемью пулеметами, и китаец Ван Го, чья душа уже перелетела через восемь больших рек и приближалась к девятой, плыли во мраке, в черной воде, их волокло течением, переворачивало, обдирало лица о ледяной потолок. В кладбищенском логу лежали рядом неукротимый Мышлаков, родившийся в ста шагах от этого лога, и Яша Двигубский, занесенный сюда из какого-то местечка под Минском. Купцы сидели по домам, пили чай. Город оставался за спиной, отодвигался в темноту, ветер свистел, как в трубе, потом вдруг совсем близко Мурзин увидел сосны правого берега и пошел осторожнее — впереди показались мостки у конепойных прорубей. Проруби затянуло тонким ледком, под ним плоскими черными пузырями играла вода.

«Катастрофа на Уральском фронте началась с боев под Кушвой, где были расположены части 29-й дивизии. Полки этой дивизии находились бессменно в боях пять месяцев, потеряли наиболее боеспособный эле-

мент из сознательных уральских рабочих, к моменту неприятельского наступления не получали хлеба пять дней и при наступивших 25—30 градусах мороза не имели ни валенок, ни теплой одежды... В штабе армии образовалось засилье чуждых Советской власти элементов, относившихся привычно по-чиновничьи к чужому для них делу. Что же касается партийных товарищей, занимавших ответственные штабные должности, то они растворились, ассимилировавшись в чуждой им среде, потеряли связь с партией, а вместе с тем и чувство партийной ответственности за дело, им врученное... Не было развито должной инициативы для использования всех имеющихся ресурсов, и не было принято самоочевидных мер охраны, как посылка в сторону противника разведки, как выставление в оголенные со стороны города участки фронта застав (Мотовилиха, Сибирский тракт)...

Из доклада Уральского областного комитета РКП(б) в ЦК РКП(б) о причинах падения Перми и необходимости расследования обстоятельств поражения 3-й армии. 30 декабря 1918 г.

«Генерал Пепеляев! Вы думаете в феврале взять Якутск, в марте — всю область, в апреле — Бодайбо и Киренск, а весной наступать на Иркутск, затем форсированным маршем пройти Сибирь и в 24-м году быть в Москве. Но суровое лицо жизни — это железная действительность, а не роман, не сказка... Я вспоминаю кавказскую басню про барана, который ожирел и стал просить бога послать ему встречу с волком. Не будьте же глухи и слепы, не проливайте напрасно крови! Вторично предлагаю вам сложить оружие и сдаться на милость Советской власти. Помните, что она сильна и непобедима, и добровольно сдавшегося врага почти всегда милует».

Письмо краскома И. Я. Стродта к А. Н. Пепеляеву, который с отрядом белогвардейцев-эмигрантов, собранным в Харбине, высадился на охотском побережье и двинулся в глубь Якутии. 1 марта 1923 г.

«Я лично окружил штаб, где находился сам Пепеляев, и стал требовать, чтобы мне открыли, и приказал взятому с собой полковнику Варгасову передать через

дверь, чтобы они сдавались, так как дома окружены, и что нас много, и я им даю гарантию сохранения жизни до Народного суда. Через десять минут открыли двери, я забежал и увидел около десяти человек, часть из них были в одном белье, генерал же одет. На вопрос мой, кто Пепеляев, он ответил: «Я». Я подал ему руку и предложил сейчас же предложить гарнизону сложить оружие, на что он с колебанием дал согласие...»

Из донесения командира экспедиционного отряда С. С. Вострецова о ликвидации остатков пепеляевской «Сибирской добровольческой дружины» в районе Охотска и Аяна. Июнь 1923 г.

«Пепеляев приговорен судом к расстрелу, замененному ВЦИК 10-летним заключением».

БСЭ, т. 19.

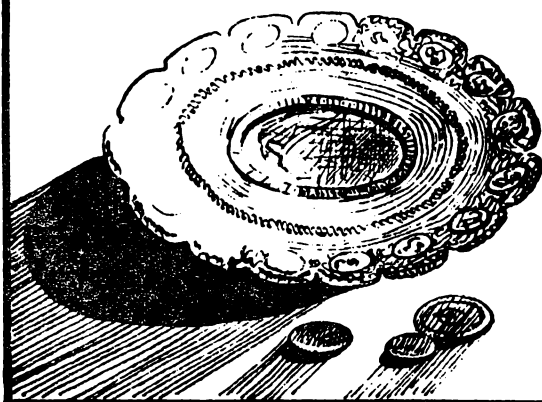
«Как, ребята, колчаковщина была, я проживала у отца моего в селе Нижние Муллы. А когда красные Пермь назад взяли, и Сергей Павлович с ними вернулся. Сперва в милиции служил, а потом отпросился у начальства обратно в завод. Он, милые мои ребята, слесарь был, по орудийным замкам. Тогда уж у нас был сын Ванечка по фамилии Мышлаков, приемный. Он, когда вырос, Ванечка-то, хотел нашу фамилию взять, но Сергей Павлович не велел. «Нет, — говорит, — носи отцову...» Отца его белые расстреляли, а Ванечку на этой войне убило. А он к технике был очень способный. Сам телефон сделал. У нас ни коровы не было, ни козы, а молоко брали у соседей, у Вороновых. Они за три дома жили. Ванечка к ним свой телефон и провел. Он еще мальчонка был, годков двенадцать. Вечером позвонит, спрашивает: «Что, корову-то подоили?» Марья Воронова говорит в трубку: «Подоили, иди уж!» Он тогда берет банку и идет. А иной раз Марья скажет, не подоили еще. Ну, он тогда не идет...»

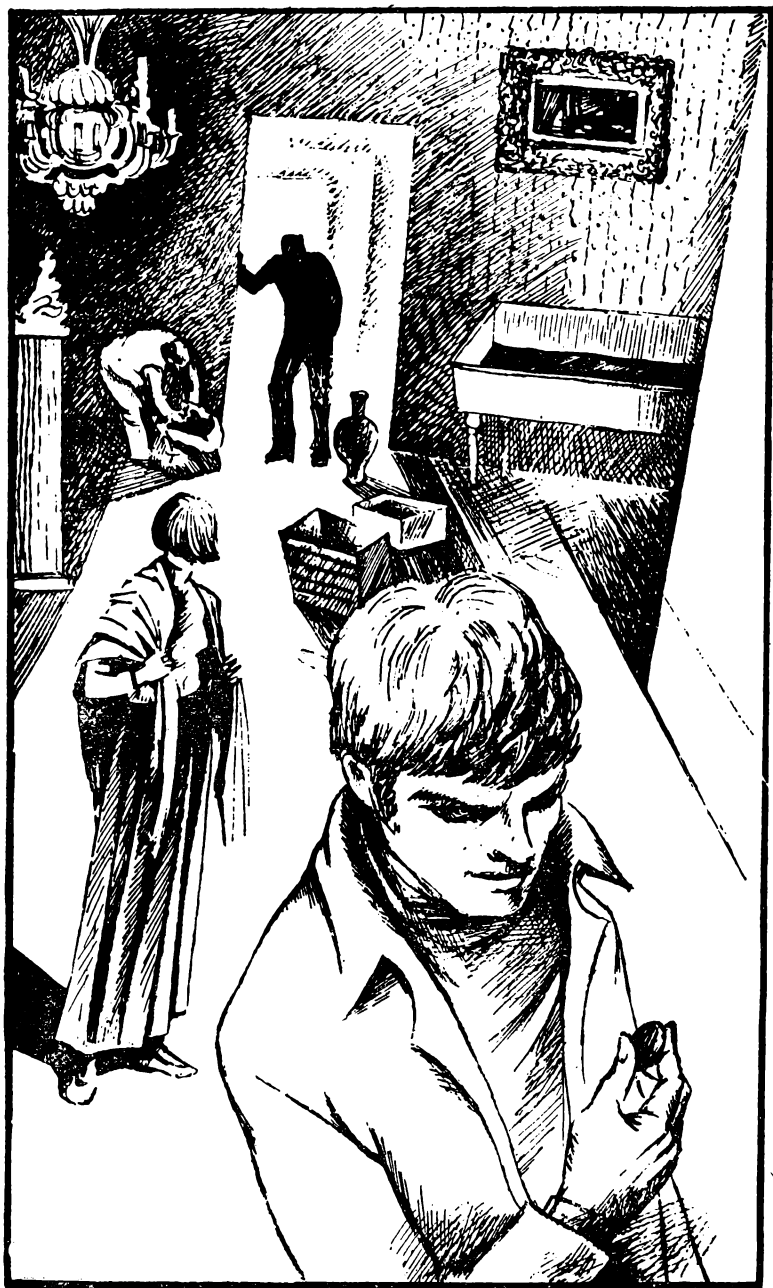
Из воспоминаний Натальи Степановны Мурзиной, записанных учениками школы № 9 г. Перми. Апрель 1969 г.



ЧУГУННЫЙ АГНЕЦ

/1919г./





Все переверотилось, даже погода: июнь, а холодно. Поднявшись по речному взвозу, Рысин с высоты оглянулся назад, на Каму, почерневшую, усеянную барашками, вздутую северным волногоном. Пусто у причалов. Не дымят пароходы, уведенные к левшинским пристаням, ушли к югу, на Каспий, английские канонерки капитана Джеммисона, поглазеть на которые сбегалось недавно чуть не пол-Перми. И на улицах пусто, словно повымело всех этим ветром.

Возле крыльца Слудской районной комендатуры сидел на корточках унтер-офицер и бестолково лупил куском кирпича по жестяному водостоку, пытаясь выправить смятое жерло. Его левую руку повыше локтя перетягивала несвежая бело-зеленая повязка дежурного, оставшаяся, видимо, еще с тех времен, когда генерал Пепеляев, захватив город, поднял над ним бело-зеленый флаг Сибирского правительства. Потом этот флаг везде, в том числе и на Слудской комендатуре, сменился прежним императорским штандартом — черно-желтым, с двуглавым орлом, правда, уже без короны, а теперь торчал над крыльцом один пустой флагшток.

Рысин подошел ближе и спросил, где можно найти коменданта, поручика Тышкевича. Перестав бить по трубе, унтер с неодобрением оглядел посетителя: погоны топорщатся, нелепо висит на журавлиной фигуре кургузая необмятая шинель.

— Слева по коридору последняя дверь. — Унтер не только не козырнул, но даже не счел нужным встать.

Впрочем, Рысин этому нарушению субординации не придавал ровно никакого значения. Через минуту он пред-

упредительно постучал по отворенной двери с табличкой «Военный комендант», вошел в кабинет и представился, неумело щелкнув каблуками:

— Прапорщик Рысин... Направлен к вам помощником по уголовным делам.

— Угу, — кивнул Тышкевич, без особой радости глядя на своего нового помощника. — Значит, вы и есть... Сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— И давно служите?

— Третий день. Мобилизован городской комендатурой.

— А звание откуда?

— В шестнадцатом году прошел курсы. Но при повторном освидетельствовании признали негодным. Плоскостопие у меня.

— Ну а вообще-то чем занимались?

— Частный сыщик я, — сказал Рысин. — На юридическом учился в Казани, но не кончил.

— В полиции, что ли, служили?

— От полиции я разрешение имел. А занимался частной практикой. Всякие торговые секретные дела, супружеские. Так сказать, адюльтерного свойства.

— А-а, — ошарашенно протянул Тышкевич. — В гимназии, поди, Пинкертон почитывали?

Рысин оживился.

— Вот вы говорите: Пинкертон, — укорил он Тышкевича. — Все говорят: Пинкертон, Пинкертон! А что Пинкертон? В реальной российской жизни грош цена всем его хитростям. Я, например, Путилина Ивана Дмитриевича очень почитаю. Слыхали о нем? Начальник петербургской сыскной полиции. Любопытнейшие записки оставил — «Сорок лет среди убийц и грабителей». Не читали? И зря, зря! Вот, скажем, убили австрийского военного атташе. В самом центре Петербурга убили. Дома, в постели. Скандал, естественно, всевропейский. В Вене уже дипломатическую ноту изготавили. Сам государь вызывает Путилина к себе и дает ему три дня сроку, чтобы найти убийцу. Представляете?

— Еще бы! — ухмыльнулся Тышкевич. — Сам государь император. Не шуточки!

— Нет, — строго отвечал Рысин, — вы, господин поручик, этого себе представить не можете... Так вот, Путилин внимательно осмотрел спальню и заметил, что в схватке преступники стремились перевернуть свою

жертву ногами к подушке. Только это заметил и сразу все понял. Подумайте, подумайте! Такие примеры логику укрепляют. А сейчас я вам нарочно ничего не скажу. Нет-нет, даже и не просите! Сами догадайтесь...

— Я подумаю. — Тышкевич встал из-за стола — высокий, ладный; погоны с черной окантовкой войск внутренней службы лежали на его плечах как влитые.

— Подумайте, подумайте...

— А вам, прапорщик, необходимо сменить шинель. Эта коротка, в таком виде вы роняете авторитет власти у населения. Или хоть погоны пришейте как следует.

— Хорошо, — равнодушно согласился Рысин.

Он надеялся, что к осени война кончится, а пока можно было походить и без шинели, все-таки июнь на дворе.

Григорий Анемподистович Желоховцев с утра испытывал все нараставшее чувство раздражения. Раздражало все и вся: эта погода, этот город, эти пустые университетские коридоры. Бесцельно покружив по кабинету, он поставил на стол скляночку с уксусом, достал иголку. Смачивая в уксусе ватку и орудуя иглой, начал счищать чернь, густо заволокшую куфические письмена, странные буковки на арабской серебряной монете, которые в радиусе тысячи километров от этого города умел читать он один. Сейчас можно было заниматься работой лишь самой простой, не требующей никакого напряжения мысли. Но и она подвигалась плохо. Желоховцев понюхал скляночку и хмыкнул: уксус разбавлен был до такой степени, что почти не издавал запаха. Доискаться до причин этого было нетрудно. Утром Франциска Андреевна, няня Желоховцева и единственный верный человек в его одинокой жизни, сама сунула ему скляночку в карман пиджака. Франциска Андреевна была родом из-под Полоцка, чай называла «хербатой», а рюмку — «келышком», она привыкла экономить на мелочах и уксус для науки жалела.

Экстраординарный профессор Пермского университета Григорий Анемподистович Желоховцев читал на историко-филологическом факультете лекции по Древнему Востоку и вел археологический семинарий. Летом 1919 года на лекциях присутствовало от двух до девяти человек, а за последнюю неделю факультет и вовсе обезлюдел. Так обстояли дела на всех факультетах, и этот

факт волей-неволей приходилось увязывать с исходом боев под Глазовом. Не случайно во вчерашней приватной беседе ректор откровенно сказал о возможности скорой эвакуации в Томск.

С небрежностью, за которую он выговорил бы любому студенту, Желоховцев щелчком припечатал монету к столу. Член-корреспондент Российской Академии наук Николай Иванович Веселовский с висевшей на стене фотографии осуждающе смотрел не то на скляночку с укусом, не то на своего ученика. Ученику шел пятый десяток, он думал и говорил быстро, ходил легко, но с недавних пор начал заметно полнеть — из-за трудностей с продовольствием, заставлявших налегать на каши, и эта полнота скрадывала нервную сутуловатость его фигуры.

Оглаживая седеющую бородку, Желоховцев с грустью подумал о том, что сборник «Памяти Николая Ивановича Веселовского ученики, друзья и почитатели» выйдет в свет без его статьи. А уж он-то имел право участвовать в этом сборнике больше, чем кто-либо другой. Статья была написана еще зимой, но отослать ее в Петроград он не мог — бои шли на Волге, и курьеров, которые добровольно отправились бы в большевистскую столицу, что-то пока не находилось.

Дверная ручка поползла вниз, дверь отворилась, издавая отвратительный скрип, с каким открывались теперь все университетские двери. На пороге стоял коротко стриженный молодой человек в студенческой тулупке.

— Трофимов! — Желоховцев радостно воззрился на вошедшего. — Какими судьбами, Костя? Мне говорили, будто вы ушли к красным.

С умилением, которого он никак не ожидал в себе после всего виденного за последние месяцы, Костя оглядывал знакомую обстановку профессорского кабинета. Книги в шкафу и на полках застыли в том же порядке, отдельно светлели тома «Известий Императорского археологического общества», густая бахрома закладок поднималась над их верхними обрезами; в застекленной витрине лежали черепки, бронзовые пронизки и подвески, пряслица, наконечники стрел и копий.

— Дайте-ка, дайте-ка, голубчик, на вас посмотреть! — Желоховцев подвел его к окну. — Слава богу! Если не считать усов, тот же Костя Трофимов. Зачем вам эти усы? Сбрейте, ну их к бесу! А я вас, между

прочим, на днях вспоминал. — Он схватил с полки картонную папку. — Узнаете?

Костя взял папку, раскрыл наугад: «...из 27 монет Аликинского клада 8 являются обрезками дирхемов. Они, как можно предположить, использовались в качестве платежных единиц, меньших, чем целые монеты...» Да, его студенческая работа, посвященная находкам восточного серебра в Приуралье. Когда же он писал ее? Кажется, осенью семнадцатого. Вечность прошла.

— Франциска Андреевна здорова? — Костя равнодушно отложил папку.

— Ворчит, — улыбнулся Желоховцев. — Боюсь ее больше, чем ректора и коменданта, вместе взятых.

— А как наши? Что с семинарием?

— Только Якубов со Свечниковым и ходят. Такие времена. Счастлив, конечно, «кого призвали всеблагие, как собеседника на пир», но я, знаете, даже на университетских банкетах сживал неохотно. Предпочитаю чаек в домашней обстановке... А где вас носило с февраля? Правда, что вы были у красных?

— Правда, — сказал Костя.

Желоховцев страдальчески поморщился:

— Зачем вы мне это говорите?

— Убежден в вашей порядочности.

— Что ж, я вам не судья, нет. Понимаю, Колчак не та фигура, которая может импонировать молодежи. Но представьте себе на его месте другого человека, самого либерального. И что? В России, Костенька, правители всегда пользовались громадной властью против отдельных людей и никакой — против установлений и обычаев. Не знаю, хорошо это или плохо. Но не стоит во всем обвинять Колчака... А теперь скажите, что вам от меня нужно. Думаю, вы явились не только для того, чтобы справиться о здоровье Франциски Андреевны.

— Я хотел бы взглянуть на серебряную коллекцию.

— А конкретнее?

— Блюдо шахиншаха Пероза. Оно цело?

Желоховцев молча прошел в угол кабинета, где стоял железный ящик с облупившимся орлом на крышке. Лет семьдесят назад, примерно во времена Крымской войны, в этом ящике хранились денежные суммы какого-то уланского полка. Створы его стягивал висячий наборный замок, изделие гораздо более поздней эпохи. Установив на вращающихся валиках кодовое слово, Желоховцев снял замок, откинул крышку и достал из

ящика обыкновенную шляпную картонку. Поставил ее на стол, сделав приглашающий жест, а сам вернулся к окну, словно хотел оставить Костю наедине с шахиншахом Перозом.

Крылатый шлем шахиншаха поблескивал из-под сероватой корпии, в которой утопало блюдо. Шахиншах натягивал невидимую тетиву лука. На его груди лежал апезак — круглая бляха с лентами, знак царского достоинства династии Сасанидов. Костя отгреб корпию, и сбоку открылась чудовищная птица с маленькой, плоской, как у змеи, головой и кривым клювом; высоко воздев крылья, она несла в когтях женщину. Женщина висела в воздухе, слегка изогнувшись и запрокинув лицо, как акробатка на трапеции, ее широкие шаровары слабо относилось назад, и чувствовалось, что птица летит со своей добычей медленно, тяжело взмахивая зубчатыми крыльями. Такие же крылья украшали шлем шахиншаха. Птица была сама по себе, шахиншах — тоже как бы сам по себе, но их столкновение не казалось случайным, они что-то знали друг про друга необыкновенно важное, тайное, и в этом был смысл всего рисунка.

Костя осторожно провел пальцем по блюду. Ослепительно белое в центре, оно чуть темнело во впадинах чеканки, у обрамлявших края фестонов, и всегда почем-то волновал этот перепад оттенков серебра, выявляющий фактуру металла.

В вятском госпитале, куда Костя попал после ранения, в бреду, глядя на электрическую лампочку, которая то приближалась к самому его лицу, то странно уменьшалась, удалялась, словно кто-то с чердака подтягивал ее на шнуре, он понял вдруг, как нужно будет после победы разместить коллекцию Желоховцева. Ей не место было в железном ящике, в шляпных картонках, набитых ватой. Ее должны были видеть все. Лампочка, зыбко подрагивая, опускалась все ниже, и в ее отвратительно желтом свете он отчетливо увидел небольшую комнату. Комната заполнена была людьми — красноармейцами, студентами, рабочими, а с потолка ее свисали прозрачные стеклянные шары. Вроде елочных, только гораздо больше, и в самом большом лежало блюдо шахиншаха Пероза. После, выздоравливая, Костя развлекался тем, что разрабатывал свою идею. Комната представляла перед ним в мельчайших подробностях — обтянутые черным сукном стены, витые, выкрашенные серебряной краской шнуры, ковер на полу,

приглушающий шаги и голоса. Он придумал особые фонари с подвижными щитками, чтобы высвечивать нужную деталь, а также скрытые в стенах лебедки: подкрутив ручку, можно было установить шар на определенной высоте, в зависимости от роста...

— Григорий Анемподистович, вам известно о взятии Глазова?

— Странные, однако, мысли вызывает у вас, Костя, созерцание сасанидских сокровищ. Разумеется, известно.

— Поверьте слову очевидца, это полный разгром. Контрнаступление невозможно. Сплошного фронта на нашем участке нет, бои идут лишь вдоль железнодорожной линии. К концу июня город будет взят.

— У историков есть поговорка: врет как очевидец.

— Всегда восхищался вашим остроумием, — сказал Костя. — Но сейчас я хочу знать, что вы намерены делать в случае эвакуации университета на восток.

— Пожалуйста, не секрет. Уеду сам и постараюсь вывезти отсюда все, до последнего черепка.

— Но вы не имеете права увозить коллекцию!

— А вы, молодой человек, — холодно парировал Желоховцев, — не имеете ни малейшего права говорить мне о моих правах. Как бы я лично ни относился к Колчаку, в Томск все равно поеду, потому что знаю цену вашим порывам. Они бессмысленны! Помните, у Хемницера есть басня. Захотела собака перегрызть свою привязь. Грызла, грызла и перегрызла пополам. А хозяин возьми да привяжи ее обгрызенной половинкой.

— Я не читал Хемницера, — сказал Костя.

— И очень жаль. Узость интересов еще простительна в моем возрасте, но никак не в вашем.

— Этот упрек я могу адресовать и вам. Вы слишком мало знаете о нас, чтобы судить.

— Вполне достаточно. И кое-что, к сожалению, мне пришлось испытать на собственном опыте. В восемнадцатом году... Бесцеремонное вмешательство в дела университетского самоуправления. Раз. Бесконечные митинги и собрания, отвлекающие студентов от занятий. Два. Засилье недоучек. Три. Приказ читать лекции солдатне, дымившей прямо мне в лицо своей махоркой. Четыре... Ну и так далее.

— Простите меня, Григорий Анемподистович, но в

вас говорит раздражение кабинетного ученого, которому помешал работать уличный шум. И только!

— Может быть, может быть...

— И вы не имеете права увозить серебряную коллекцию, — повторил Костя. — Она не принадлежит лично вам.

— Совершенно верно. Она принадлежит университету, и я не собираюсь обсуждать с вами ее судьбу. А теперь уходите. Рад был вас повидать.

— Кланяйтесь Франциске Андреевне.

— Непременно.

— Надеюсь, мы еще увидимся. — Костя шагнул к двери.

У двери на выступе книжной полки лежал замок — дужка отдельно, валики на оси тоже отдельно. Буквы на внешней стороне валиков складывались в слово «зеро».

Около полудня в научно-промышленный музей явился рассыльный из городской управы с предписанием начать подготовку к эвакуации наиболее ценных экспонатов. Директор не появлялся в музее уже с неделю — говорили, будто он выехал в Омск, и бумагу с прыгающими машинописными строчками приняла Лера. До этого она еще надеялась, что все каким-то образом обойдется, что про них забудут, и теперь, глядя на подпись городского головы Ширяева, занимавшую чуть ли не треть листа, испытала мгновенное чувство безысходности.

— Дура ты, — сказала она своему отражению в застекленном стенде с фотографиями губернских заводов. — Дура стриженная! И чего надеялась?

Лера служила смотрительницей музея с осени шестнадцатого года. Она помнила наизусть паспорта половины экспонатов и с одинаковой нежностью относилась к вещам совершенно несоизмеримой ценности. Вещам было тесно в кирпичном двухэтажном доме на Соликамской улице. Здесь хранились бронзовые отливки и фарфор фабрики Кузнецова, старинные ядра и заспиртованные стерляди в банках, французские гобелены времен Людовика XVI и рудничные фонари. На стенах висели картины, в шкафах и витринах лежали кости ископаемых животных, монеты, стояли шкатулки, вазы, фигурки Каслинского и Кусинского заводов — весь тот пест-

рый набор, который никак не ложился в единое русло правильной экспозиции и в самой пестроте которого было обаяние, отсутствовавшее во многих, несравненно более богатых собраниях.

Лера обошла пустые комнаты, отомкнула витрины. Смахнула рукавом пыль с чугунной статуи Геркулеса, разрушающего пещеру ветров. За последние полгода в музей заходили разве что члены управы по долгу службы, студенты и скучающие офицеры, которые уже в первой комнате начинали интересоваться больше самой смотрительницей, нежели ее экспонатами.

Эвакуироваться она никуда не собиралась, но и мысль о том, что экспонаты отправят без нее, тоже была невыносима — все растащат или растеряют в этой неразберихе. Кое-что можно было, конечно, припрятать, но самые ценные вещи все равно не скрыть: в управе имеются копии каталогов.

Лера щелкнула ногтем по склянке, в которой плавали серые полупрозрачные катышки — икра австралийской гигантской жабы, бог весть как попавшая на Соликамскую улицу. С этим, естественно, никто возиться не станет, не до жаб сейчас, хотя бы и австралийских. Другое дело — художественная коллекция с ее раритетами, их-то проверят в первую очередь.

Она провозилась в музее до вечера. Унесла в чулан вещи понезаметнее, закидала всяким хламом. Когда же совсем собралась уходить, к крыльцу, погромохивая наваленными ящиками, подъехала подвода; рядом шагали двое солдат и офицер. Он заметил в окне Леру, козырнул, затем что-то сказал солдатам. Те сняли один пустой ящик и двинулись к ступеням крыльца.

Лера обмерла: неужели так скоро?

— Здравствуйте, барышня, — офицер по-хозяйски, без стука вошел в комнату, вслед за ним протиснулись солдаты. — Вы получили предписание из управы?

Лера кивнула.

На погонах офицера было по две маленькие звездочки — подпоручик. Лицо показалось знакомым, где-то она раньше его видела.

— Отчаиваться не нужно. — Он показал солдатам, куда поставить ящик. — Это временные трудности. Английская пехота уже высаживается во Владивостоке... Где отобранные экспонаты?

— Я ничего не успела сделать, — сказала Лера.

— Что ж, мы сами займемся этим.

Подпоручик достал из ящика грудку пустых мешков, бросил на пол. Его взгляд равнодушно скользнул по бубну вогульского шамана, по разложенным в витрине наконечникам стрел и остановился на малахитовом канделабре начала прошлого столетия.

— Шедевр, не правда ли? — Взял его в руки, провел пальцем по серебряной инкрустации у основания.

Минут через десять Лера убедилась, что подпоручик отыскивает самые ценные экспонаты с безошибочным чутьем владельца антикварной лавки. В ящиках, бережно обернутые мешками, исчезли две севрские вазы, палестинский этюд Поленова, полотна неизвестных голландцев, каждое из которых подпоручик собственноручно укутывал сорванными с окон занавесками.

Был он невысок, изящен, но фигуру портил слишком широкий френч, собиравшийся под ремнем неряшливыми складками. Копий музейных каталогов у него не было. Наверное, после проверят, решила Лера, заметив, что подпоручик записывает в книжечке отобранные экспонаты.

Вначале она безучастно стояла в стороне и на вопросы отвечала через один — гордо и невразумительно. Потом попробовала вмешаться, отговаривала брать одно, советовала взять другое, но в итоге добилась лишь того, что подпоручик начал посматривать на нее с явным подозрением.

Наконец ящики и мешки вынесли, уложили на подводу.

— А как же я? — чуть не плача спросила Лера. — Я не могу бросить все это на произвол судьбы!

— Во избежание паники, — объяснил подпоручик, — подлежащие эвакуации ценности заранее свозят на станцию. Но отправят их лишь в случае реальной опасности. Послезавтра справьтесь о них в управе. Там же получите сопроводительные бумаги.

Он вышел. В тишине июньского вечера подвода прохотала по Соликамской, свернула на Покровку.

В центре стола сукно было истертое, серое, по краям — густо-зеленое. Белый лист бумаги лежал на столе.

— Итак, если я вас правильно понял, профессор, — Рысин положил карандаш рядом с листом, строго параллельно боковому обрезу, — вы обнаружили исчезновение коллекции сегодня. Но не можете сказать, когда

именно она пропала, поскольку вчера в университете не появлялись...

— Вы меня правильно поняли, — подтвердил Желоховцев, раздражаясь все больше. — Я уже говорил вам об этом два раза!

— Вы сообщили поручику Тышкевичу о составе коллекции?

— Нет. Он сразу же послал меня к вам.

— Тогда попрошу...

— Сасанидское блюдо шахиншаха Пероза, — начал перечислять Желоховцев. — Блюдо с Сэнмурв-Паскуджем...

— С кем, с кем?

— Это мифическое чудовище древних персов. Олицетворение трех стихий — земли, неба и воды. Впрочем, долго объяснять... Еще три серебряных блюда. Самое позднее датируется первой половиной восьмого века.

— До рождества Христова?

— Увы. — Желоховцев еле сдержался. — После... Византийская чаша со львами и несколько десятков восточных монет. Повторяю, все вещи серебряные.

— Откуда они у вас? — поинтересовался Рысин.

— Монеты частью найдены при раскопках, частью приобретены по деревням у коллекционеров. Блюда и чаша куплены моей экспедицией по стоимости серебра в деревнях Казанка, Аликино и в селе Большие Евтята. Крестьяне не знали их подлинной стоимости. В отдельных случаях они даже не могли распознать серебро. Блюдо с Сэнмурв-Паскуджем, например, использовалось в качестве крышки для горшков.

— На чьи средства делались приобретения?

— В основном на университетские. Но с добавлением моих личных... Нельзя ли ближе к делу?

— Какова приблизительная стоимость коллекции? — Рысин будто не слышал последнего замечания.

— Перед войной она стоила бы тысяч десять-двенадцать. Но теперь, насколько мне известно, цены на такие вещи в Европе значительно возросли. Даже здесь, на месте, майор Финчкок из британской миссии предлагал мне шестьсот фунтов за одно лишь блюдо шахиншаха Пероза. Видите ли, находки сасанидской посуды за пределами Приуралья — факт исключительный.

— Простите, майор Финчкок предлагал эти деньги вам лично или университету?

— Университету в моем лице.

— Так. — Рысин взял карандаш, нарисовал на бумаге непонятный кругляшок. — В котором часу вы обнаружили пропажу?

— Около полудня... Дверь была заперта, окно разбито.

— У кого, кроме вас, имелся ключ от кабинета?

— Я же ясно сказал! — вспыхнул Желоховцев. — Окно было разбито. Понимаете? Разбито! Весь пол в осколках.

— Отвечайте на мои вопросы, — вежливо попросил Рысин. — У кого еще был ключ от кабинета?

— Только у меня. — Желоховцев поджал губы. — Это мой кабинет.

— Кто знал о коллекции?

— Многие... Студенты, коллеги. Кроме того, в семнадцатом году я успел опубликовать статью о ней. Рысин улыбнулся:

— Да, теперь жулики тоже интересуются трудами по археологии. Слыхали, наверное, о тиаре скифского царя Сайтоферна?

— Которую изготовил и продал в Лувр ювелир Рухомовский из Одессы?

— Вот именно.

— На всякий случай повторяю: все предметы коллекции — подлинные. Тому гарантия мой научный авторитет.

— Я не сомневаюсь. — Рядом с кругляшком Рысин нарисовал столь же непонятный квадратик. — Вопрос, профессор, стоит таким образом: где искать похитителя? Среди ваших коллег и студентов или среди лиц посторонних? Если честно, у вас есть какие-то подозрения?

— Есть, — твердо сказал Желоховцев. — Я подозреваю моего бывшего студента Константина Трофимова.

— Основания?

Желоховцев помедлил с ответом. Как бы ни обстояло дело, он не мог в этих стенах упомянуть о связях Кости с красными. Агента совдепии судят по иным законам, нежели ординарного вора. Да и какие сейчас законы?

— Этот Трофимов никак не связан с майором Финчком? — спросил Рысин.

— Никак.

— Но почему вы подозреваете именно его?

— Я не могу вам этого сказать!

— Вот как? — Рысин провел стрелку от кругляшка

к основанию квадрата, встал. — Не буду настаивать. В прошлом я частный сыщик и привык уважать секреты моих клиентов.

Он произнес это с нескрываемой гордостью, и Желховцев даже в теперешнем своем состоянии не мог не отметить, что в устах помощника военного коменданта подобное заявление звучит довольно-таки странно.

Член городской управы доктор Федоров явился в музей через день после того, как вывезли экспонаты художественной коллекции. Лера столкнулась с ним на крыльце:

— Добрый день, Алексей Васильевич! А я как раз в управу собираюсь.

— Да чего туда ходить, — посетовал Федоров. — О положении на фронте мы знаем не больше, чем какой-нибудь взводный. Скрывают, голубушка, скрывают!

— Когда вы думаете ехать? — спросила Лера.

Вопрос был самый обычный, вроде приветствия — теперь об этом все говорили.

Федоров опечалился:

— А бог его знает! Все от дочери зависит. Вы ведь помните Лизу. Как она решит, так и будет. Матери-то нет... Да у нее тут еще роман с капитаном из городской комендатуры. В общем, полнейшая неизвестность.

— Да-а, — посочувствовала Лера.

В Мариинской гимназии все знали, что Лиза Федорова вьет из отца веревки.

— А я так и остался бы! Честно вам скажу, страшно с места сниматься. Вдруг, думаю, и не тронут меня красные. Велика ли шишка — член управы? К тому же я всегда был противником диктатуры...

В январе, когда Колчак приезжал в Пермь, городская дума поднесла ему приветственный адрес. Но при составлении его разгорелись дебаты: кадеты предлагали титуловать Колчака «верховным правителем», а эсеры, к которым относил себя и Федоров, — всего лишь «верховным главнокомандующим». Последние, правда, быстро уступили, но Федоров потребовал занести в протокол его особое мнение, для чего в те времена требовалось немалое мужество.

— Ну-с, голубушка, — он шагнул к двери, — я ведь к вам от управы в помощь и в надзор послан. Сейчас плотник подойдет, давайте укладываться.

— То есть как укладываться?

— Ничего не поделаешь! За Урал, за Урал... Вы предписание получили?

— Но самые ценные экспонаты уже вывезены.

— И кто же их вывез?

— Какой-то подпоручик. Смуглый такой, худощавый. Федоров замахал руками:

— Бог с вами, Лера, голубушка! Я только что из управы. Вот и каталоги при мне!

— Пожалуйста, можете убедиться! — Лера распахнула дверь.

— Ничего не понимаю! — бормотал Федоров. — Это какое-то недоразумение. Я же только что из управы!

Лера смотрела на него улыбаясь. Она тоже ничего не понимала, но сейчас ей было весело. После того, как вчера встретила Костю Трофимова, ей все время было весело, хотя она ничего, ничегошеньки не понимала.

В ресторане при номерах Миллера на Кунгурской улице народу было немного. На вешалке висело несколько шляп и офицерская фуражка с помятой тульей. Костя прошел в зал, выбрал столик рядом с латанией в кадке. Обклеенная фиолетовой фольгой кадка стояла на табурете, заслоняя столик со стороны входа.

Сел, взглянул на часы — четверть шестого. Лера обещала быть около шести. Волнующие запахи долетали с кухни, и Костя, чувствуя легкие уколы совести, велел принести себе суп и жаркое. В конце концов, когда придет Лера, можно будет повторить заказ.

Да, назначать ей встречу здесь, в самом центре города, было опрометчиво, но так хотелось увидеть ее именно здесь. Они иногда встречались у Миллера осенью шестнадцатого — Костя в то время имел целых шесть уроков и сорил деньгами с гусарской лихостью. Сидели голова к голове, почти ничего не ели и не пили; Лера шепотом читала Блока и Северянина, а он со страстью делился своими научными планами. Слово «дирхем» повторялось в его рассказах так часто, что к концу вечера теряло свое значение, становилось чем-то вроде магической формулы, приоткрывающей завесу не только прошлого, но и будущего. Смешно. Неужели он был таким всего три года назад? Встретил бы теперь себя тогдашнего, непременно поссорились бы.

А ведь было, было! Раза два даже приводил Леру

домой к Желоховцеву, где та очаровала Франциску Андреевну умением стряпать лепешки на кислом молоке. Приходил Сережа Свечников, еще кое-кто из студентов, пили чай, спорили, и Желоховцев, что было невыразимо приятно, Леру называл «коллегой».

Едва Костя придвинул к себе дымящуюся тарелку, из-за соседнего столика к нему пересел могучего сложения поручик с рюмкой водки в руке. Спросил:

— Юрист?

— Историк, — сказал Костя.

— Ну, тогда вам должна быть известна моя фамилия: Тышкевич! Мы ведем свой род от князя Гедимины.

— Я не силен в генеалогии.

— А «Бархатную книгу» читали?

Костя покачал головой, продолжая есть суп.

— И зря. — Тышкевич опрокинул рюмку, засопел. — Вот вы, господин студент, рассуждаете, наверное, так: ну и пьяницы эти офицеры! Пропьют Россию! Признайтесь-ка, случаются такие мысли?

— Случаются, — согласился Костя.

— А почему? Да потому что пришли вы, скажем, к Миллеру. Видите, сидят поручик с капитаном. Пьют, естественно. Штатские тоже пьют, но на них вы внимания не обращаете. Погоны слепят. Через неделю опять пришли. И опять видите: сидят поручик с капитаном. Так?

— Допустим.

— Вот вы и думаете: пропьют, сволочи, Россию! А того не замечаете, что это другой поручик и другой капитан. — Он внезапно помрачнел. — Мы для вас все на одно лицо.

От хлопка входной двери дрогнули пыльные листья латаний. Не снимая фуражки, в конец залы прошел высокий капитан, его спина мощно круглилась под ремнями портупей, складчатая шея распирала ворот френча. Рядом, то пропуская капитана вперед, то изящно лавируя между столиками, следовал молодой человек в зеленом люстриновом пиджаке. Костя взглянул на него, и сердце упало: встреча эта не сулила ничего хорошего. Только бы не заметил!

Тышкевич, привстав, помахал капитану пустой рюмкой:

— Калугин! Мое почтение!

— Мне пора. — Костя поднялся. — Не откажите в любезности уплатить.

Положил на стол кредитный билет Омского правительства, похожий на аптечную сигнатурку, и быстро, пряча лицо, направился к выходу.

У крыльца едва не налетел на Леру.

— Разве я опоздала? — Она отстранилась обиженно.

— Сейчас все объясню. — Костя подхватил ее под руку и почти бегом потащил за собой через улицу, к Стефановскому училищу.

Мимо них шагом проехал казачий патруль. До обеда, не переставая, лил дождь, и ноги у лошадей были в грязи по самые бабки — будто чулками обтянуты ноги, как у цирковых кобыл.

Подворотни, флигеля, сарай, цветочные горшки в окнах полуподвалов, истаявшие к лету поленницы, куры с чернильными метками на перьях — через проходные дворы шли к Каме.

— Не сердись, — говорил Костя. — Пришлось уйти, потому что там был Якубов. Мишка Якубов. Помнишь, однажды видели его у Желоховцева? Это как раз тот человек, с кем лучше бы не встречаться.

— А он тебя видел?

— По-моему, да.

— И чем это грозит?

— Если узнал меня, то, думаю, донесет. Поганец он! Раньше у жандармов осведомителем был, сообщал о настроениях среди студентов. Желоховцев, когда это выяснилось, хотел прогнать его из семинария, но Мишка хитер, сумел оправдаться перед ним. Он делец, Мишка. Все, помню, хвастал, что с университетским дипломом легко получит выгодное место на одном из столичных аукционов. Как знаток древностей... А сейчас я видел его с каким-то капитаном.

— Слушай. — Лера остановилась, отняла руку. — Наверное, уже пора сказать мне, что ты делаешь в городе.

Накануне боев под Глазовом, когда на фронте наметился перелом, Костя пришел к командиру полка Гилеву, бывшему кизеловскому шахтеру. Штаб полка размещался прямо в лесу, Гилев сидел на чурбаке за столом из белых, пахнущих смолой неструганых плах. Два дня назад в случайной перестрелке ему пробило пулей щеку, выкрошило несколько зубов и повредило язык.

Поверх бинтов носил он черную косынку, завязанную узлом на макушке; эта косынка с ее торчащими, словно рожки, хвостами придавала командиру полка вид мирный, почти домашний. Говорить он не мог и писал распоряжения на клочках бумаги, заготовленных с таким расчетом, чтобы после хватало на закрутку.

— Товарищ командир! — Стоя перед ним, Костя подумал, что теперь уж Гилев его не прервет, даст договорить до конца. — Помните, обещали отпустить меня в Пермь? Нынче самое время. Возьмем Глазов, поздно будет. Белые начнут эвакуацию. У меня есть шансы помешать им вывезти художественные ценности из университета и музея...

«Развей мысль», — написал Гилев.

— Сокровища культуры должны принадлежать пролетариату, — отчеканил Костя, памятуя пристрастие командира к лаконическим формулировкам.

Гилев быстро черкнул: «А попадешься?»

— Будьте покойны, — заверил Костя, — не попадусь.

Обо всем этом уже не раз говорено было раньше, и Гилев наконец вывел на своей бумажке: «Езжай». Подумав, добавил: «Буржуазные ценности пушай вывозят. Не препятствуй».

— На день бы раньше, — сказала Лера.

Они вышли на Монастырскую. Отсюда видна была Кама, одинокий буксир с торчащими на носу и на корме стволами пушек тащился вверх по реке, ветром доносило чавканье колесных плит.

Через полквартала опять свернули во двор, остановились у флигелька, сложенного из черных необшитых бревен.

— Вот здесь я и квартирую. — Костя стукнул в окошко и, когда появился на крыльце узколицый коренастый мужчина лет тридцати пяти, легонько подтолкнул к нему Леру. — Знакомься. Товарищ Андрей.

— А по отчеству? — спросила она.

— Это не обязательно. — Хозяин провел их в комнату. — Чаю хотите?

— Нет-нет, не беспокойтесь. — Лера прошла к столу, стараясь не наступать грязными башмаками на войлочные дорожки, села.

— Тогда к делу. Значит, вам сообщили, что музей-

ные экспонаты, подлежащие эвакуации, будут храниться на железной дороге?

— Да, — подтвердила Лера.

— Куда их повезли из музея? По Соликамской вниз или вверх?

— Вверх.

— Выходит, к нам, на главную. Но у нас ничего нет.

— Ты что-то не то говоришь, Андрей, — заволновался Костя. — Твои ребята хорошо проверили?

— Если я говорю нет, значит, нет.

— А ты еще проверь. На Сортировке пускай посмотрят.

— Думаешь, мне больше делать нечего? — рассердился Андрей. — Станки вывозить собираются, типографские машины. Вот чем я должен заниматься. А не картинками!

— Ишь, благодетель! Да ты сам же мне потом спасибо скажешь. После войны сына приведешь в музей и скажешь: дурак я был!

— Тут какая-то странная история получается, — вмешалась Лера. — В городской управе почему-то не знают, что экспонаты уже вывезены. Сегодня оттуда приходил доктор Федоров.

— Ничего странного, — отмахнулся Костя. — Просто у них начинается паника. Правая рука не знает, что делает левая. Я тебя очень прошу, Андрей, проверьте на Сортировке.

— Ладно. — Андрей с улыбкой взглянул на Леру. — А я вас только сейчас признал. Вы ведь Агнии Ивановны дочка? Сынишка мой у нее в школе учился. Как она поживает? Как здоровье?

— Мама зимой умерла...

— Что же ты мне вчера не сказала? — изумился Костя.

— А ты не спрашивал. Ты меня вообще ни о чем не спрашивал.

В кабинете у Желоховцева висела растянутая между двумя палочками тибетская картинка на шелке: всадник в тускло-золотых одеждах летит по небу на прыничном тупомордом скакуне.

Рысин тронул ее пальцем:

— Тоже персидская?

— Тибет, — сказал Желоховцев.

— Любопытно, любопытно, — пробормотал Рысин. При этом на его бледном лице не промелькнуло тени интереса.

Он вернулся к двери, постоял над железным ящиком.

— Значит, коллекцию вы здесь хранили?

Желоховцев утвердительно помычал — он устал от бесполезных разговоров. И вообще-то было непонятно, зачем понадобилось Рысину осматривать его кабинет. Чего тут смотреть? Конечно, отыскать Трофимова не так-то просто. Но ведь он даже попытки не сделал.

— Где замок? — спросил Рысин.

Желоховцев пожал плечами:

— Не знаю. Пропал куда-то.

— Это был простой замок?

— Нет, наборный.

— Код кто-нибудь знал?

— Я никому не говорил, но могли подсмотреть. — Желоховцев подошел к окну. — Глядите, осколки лежат на полу. Следовательно, стекло высадили с внешней стороны. Вот и пожарная лестница рядом.

Рысин подобрал один из осколков.

— Кабинет сегодня прибирали?

— Я ничего не велел здесь трогать.

— Очень хорошо. Скажите, профессор, вы читали когда-нибудь записки начальника петербургской сыскной полиции Путилина?

— Не имел счастья. — Желоховцев задохнулся от бешенства.

— Жаль, жаль. Необыкновенно полезное сочинение. Ведь историк, я полагаю, тот же следователь... Вот посмотрите на пол. Вчера и сегодня ночью шел дождь. А где засохшая грязь от сапог похитителя? Не ищите, не ищите. Я внимательно обследовал пол перед ящиком. И на подоконнике ее тоже нет.

— А как же стекло?

— Его могли разбить и изнутри. Для этого достаточно встать на подоконник и просунуть руку в форточку. Через окно преступник не вошел, а вышел.

— Но как он в таком случае пробрался в кабинет? Моя печать на двери была цела. — Желоховцев достал маленькую печатку, сделанную из восточной монеты, показал Рысину. — Не сквозь стену же он прошел?

— Как раз это я и хочу выяснить. Здесь есть другая дверь?

— Нет.

— Предположим. — Рысин опустился на четвереньки и пополз вдоль стен, осматривая пол.

Желоховцев молча наблюдал за ним, время от времени иронически прищмокивая губами: голубая серия, да и только!

У шкафа Рысин резко вскочил на ноги:

— Нет, это невероятно!

— Что именно? — встревожился Желоховцев.

— У Путилина описан в точности такой же случай!

На этот раз Желоховцев с большей терпимостью отнесся к упоминанию о начальнике петербургской сыскной полиции. Он подошел к Рысину, сосредоточенно посмотрел ему под ноги, но ничего примечательного не увидел.

— Царапины, — сказал Рысин. — Свежие царапины. Вы давно двигали этот шкаф?

— Вообще не двигал.

— Тогда все ясно. За шкафом должна быть дверь.

Желоховцеву стало неловко — как же он забыл про такую возможность?

— Вы правы. Я просто упустил это из виду. Дверь действительно есть. Но ее заставили года два назад и с тех пор ни разу не открывали.

— Куда она выходит?

— В аудиторию номер семнадцать.

— У кого есть ключи от аудиторий?

— Они не запираются. Там нет ничего, кроме столов и скамей.

— Понятно. — Рысин вдруг бросился в угол, поднял дужку от замка. — Этот замок висел на ящике?

— Да, — подтвердил Желоховцев. — Я, видимо, был настолько расстроен, что не заметил ее.

— Все правильно... Вы покупали этот замок в скобяной лавке Исмагилова?

— Откуда вы знаете? — удивился Желоховцев.

— Еще бы не знать! Он снабдил такими замками половину города. У меня у самого дома такой же. Их код известен каждому мальчишке. «Зеро».

— И что из этого следует? — Желоховцев почувствовал себя окончательно сбитым с толку.

— Как раз из этого не следует ровным счетом ничего. Повреждений на дужке нет. Значит, замок был открыт, а не сорван. Но это мог сделать кто угодно. Гораздо важнее царапины. Очевидно, преступник с вече-

ра спрятался в аудитории, ночью, отодвинув шкаф, проник в кабинет и выбрался с добычей по пожарной лестнице. Осколки на полу есть не что иное, как попытка ввести нас в заблуждение.

— Это все? — спросил Желоховцев.

Он уже настроился на дальнейшие разоблачения

— Разве мало? — обиделся Рысин. — Теперь я убежден, что кража совершена кем-то из ваших коллег или студентов.

— Как я и говорил с самого начала. — Желоховцев уже не скрывал своего разочарования.

— Что за человек швейцар? — спросил Рысин.

Желоховцев повел ладонью из стороны в сторону:

— Исключено!

— Тогда попрошу сообщить адрес и место службы вашего Трофимова. — Рысин достал записную книжку.

— Мне это неизвестно, — сказал Желоховцев.

— У него есть родственники в Перми?

— Нет, он родом из Соликамска.

— Кто мог бы помочь его найти?

И скажу, со злостью подумал Желоховцев, нечего тут церемониться.

— О нем может знать смотрительница научно-промышленного музея. Зовут ее Лера, фамилию не помню.

— Кажется, я ее видел там. — Рысин щелкнул пальцами. — Такая маленькая быстрая блондинка. Стриженная.

— Именно, — сказал Желоховцев.

На другое утро Рысин проснулся с тягостным чувством совершенной вчера оплошности. Не глядя на жену, выпил приготовленный для него можжевелевый отвар с шипицей, помогающий от почечной колики, выплюнул ягоду прямо на пол и отправился в комендатуру. По дороге он тщательно восстановил в памяти все детали вчерашнего обследования: отсутствие грязных следов, выбитое окно, царапины на полу, глубокие отпечатки подошв под пожарной лестницей, подтверждающие его мысль, и, наконец, разговор со швейцаром, который ничего подозрительного в последние два вечера не замечал.

Все это было не то, и он знал, что это не то.

Чего-то он недоглядел при осмотре кабинета, каких-то очевидных умозаключений не сделал, и возникало

чувство упущенных возможностей, знакомое по прежним делам и, как правило, никогда его не обманывавшее. С этим чувством он и предстал перед Тышкевичем.

— Как раз сегодня ночью я думал над вашим рассказом, — сказал Тышкевич. — Наверное, того австрийца перевернули на постели потому, что он держал револьвер под подушкой.

— Не угадали, — обрадовался Рысин. — Там все хитрее было. У атташе имелась в изголовье тайная сонетка звонка в лакейскую. И если его от этой сонетки постарались отдалить, значит, убийца был из числа домашних, знал про нее. Путилин выяснил, что за неделю перед тем атташе рассчитал одного лакея за пьянство. Проверили — и точно, он оказался убийцей!

Но стройность этих логических построений не произвела на Тышкевича должного впечатления.

— Как долго вы еще намерены возиться с тем профессором? — спросил он.

— До тех пор, пока не верну коллекцию законному владельцу.

— А если красные войдут в город прежде, чем вы это сделаете?

— Вор остается вором при любой власти. Я постараюсь передать материалы расследования тому, кто займет мое место.

Это соображение Рысин высказал с таким видом, будто изрекал абсолютную истину, непонятную лишь идиоту.

Агнец, с внезапной жалостью подумал Тышкевич, потерянно рассматривая своего помощника, который без шинели выглядел еще курьезнее.

— Профессор подозревает в краже некоего Трофимова, — сказал Рысин. — Но при теперешнем положении вещей найти его в стотысячном городе весьма не просто.

— Бывший студент-историк? — перебил Тышкевич.

— Совершенно верно. Вы его знаете?

— Это становится любопытным. — Тышкевич протянул листок с синим машинописным текстом. — Читайте.

«Военному коменданту Слудского района поручику Тышкевичу, — прочел Рысин. — Секретно. Вчера в ресторане Миллера опознан большевистский агент Константин Трофимов, в прошлом студент историко-филологического факультета Пермского университета. При-

был в город с неизвестными целями, предположительно для совершения диверсий. Возраст 23 года. Приметы: рост средний, худощав, глаза серые, надбровные дуги сильно развиты, нос толстый, волосы короткие, русые, усы рыжеватые. Одет в студенческую тужурку с неформенными пуговицами, носит очки. Особых примет не имеется. Вам вменяется в обязанность установить наблюдение за университетом и квартирой профессора Желоховцева Г. А., с которым Трофимов имеет давние связи, раздать перечисленные приметы начальникам патрулей и начальнику вокзальной охраны, при обнаружении немедленно доставить в городскую комендатуру. Помощник военного коменданта г. Перми к-н Калугин».

Ниже была сделана карандашом странная приписка: «Гедиминович! Ты доверчив, как институтка! С кем ты сидел вчера у Миллера? К.».

— Это не нужно читать! — Тышкевич выхватил у Рысина бумагу. — Идемте, я вам выделю трех человек. Потрудитесь организовать наблюдение в указанных пунктах.

— Но я занимаюсь уголовными делами, — возразил Рысин.

— Теперь не имеет значения. Сами видите, в этой войне все перепуталось.

В коридоре навстречу им выкатился из-за угла маленький плотный человечек.

— Вы поручик Тышкевич? — спросил он, размахивая носовым платком. — Я член городской управы доктор Федоров.

— Ну? — без особого воодушевления произнес Тышкевич.

— Мы вынуждены обратиться к вам за помощью. — Федоров стоял почти вплотную к нему и для вящей убедительности норовил ухватиться за портупею коменданта. — Три дня назад из научно-промышленного музея неизвестными лицами вывезены ценнейшие экспонаты художественной коллекции...

— А! — Тышкевич сделал неудачную попытку прорвать заслон. — Городской голова телефонировал мне об этом.

— Отбিরавший экспонаты офицер сообщил смотрительнице, что они будут пока храниться на станции железной дороги. Поскольку вокзал подлежит вашей юрисдикции, мы решили...

— Но музей находится не в моем районе. Я не имею к нему ни малейшего касательства.

— Это ценнейшие экспонаты! — воскликнул Федоров. — Мы сражаемся за цивилизацию, и судьба культурных ценностей никого не должна оставлять равнодушным!

Тышкевич грозно навис над ним:

— Знаю я ваши ценности. Чугунная свинья и две голые бабы работы неизвестных художников.

Рысин, с большим вниманием слушая обе стороны, сам не проронил ни слова. Он уже начинал догадываться, с какой целью прибыл в город Константин Трофимов. И ясно стало, почему Желоховцев не захотел говорить о своих подозрениях более внятно. Однако делиться своими догадками с Тышкевичем он вовсе не собирался. У них были разные задачи; Тышкевичу нужно поймать красного агента, а ему, Рысину, — отыскать коллекцию.

— Поручик, вы рассуждаете, как нигилист! — дернулся Федоров. — Сам городской голова чрезвычайно встревожен этим инцидентом.

— С высокой колокольни, — багровея, сказал Тышкевич, — с высокой колокольни я плевал на вашего городского голову!

Плечом отодвинув Федорова, он направился к выходу, и это его движение внезапно вернуло мысли Рысина к вчерашнему обследованию. Царапины, расположение царапин, вот что он упустил из виду, осматривая кабинет Желоховцева. Рысин поднял на уровень плеч согнутые в локтях руки и напрягся, словно двигал невидимый шкаф. Потом оглянулся: Федоров смотрел ему вслед с выражением крайнего недоумения на лице.

Около девяти часов утра под насыпью железной дороги, на полпути между университетом и заводом Леснера, путевой обходчик обнаружил труп молодого человека в студенческой тужурке, о чем незамедлительно донес начальнику вокзальной охраны. Тот выслал на место двух солдат с унтер-офицером, дав последнему секретную инструкцию: долго не возиться, доставить тело в университет или в комендатуру — смотря по обстоятельствам, и сразу возвращаться на станцию; если в комендатуре будут пенять на несоблюдение формальностей, отговариваться необразованностью и спешными

делами. В конце июня 1919 года забот у начальника вокзальной охраны было много, а солдат — мало, некоторые посты, определенные караульным расписанием, вообще не выставлялись.

Поскольку убитый одет был в студенческую тужурку, а неподалеку валялась такая же фуражка, унтер велел нести его для опознания в университет. Сам же отправился в комендатуру Слудского района, где, встретив у крыльца Тышкевича с Рысиным, по всей форме отрапортовал о случившемся.

— Тело нельзя было трогать до прибытия доктора и следователя, — сказал Рысин.

— Мы об том неизвестны, — деревянным голосом отвечал унтер. — Да и народ стал собираться, разговоры всякие.

— Он прав, — бросил Тышкевич. — Не до протоколов сейчас.

— Несоблюдение правил следственной процедуры, — заметил Рысин, — гораздо больше роняет авторитет власти у населения, чем моя шинель.

Тышкевич небрежно кивнул в сторону Федорова:

— Хорошо, возьмите с собой этого мецената. Он, кажется, доктор. Пусть составит медицинское заключение.

— Я всегда готов исполнить свой профессиональный долг. — Федоров шагнул вперед. — Но и вы, поручик, должны исполнить свой!

На это пожелание Тышкевич ничего не ответил.

— Я даю вам троих человек, — обратился он к Рысину. — Больше не могу. Сообщите им приметы Трофимова. Вы их запомнили?

Рысин снисходительно улыбнулся:

— У меня есть система, по которой я могу запомнить до двадцати трехзначных чисел в нужном порядке.

— Вот и прекрасно. О результатах доложите завтра утром, когда придете за сменой караульным. Кстати, где ваш револьвер?

Рысин похлопал по оттопыренному карману галифе.

— Почему без кобуры?

— Застежка сломалась, — объяснил Рысин.

Обязанности начальника университетской дружины исполнял мрачный подпоручик с рукой на перевязи. Изложив суть дела, Рысин оставил на его попечение одного из своих солдат, а двух других, узнав адрес Жело-

ховцева, отправил патрулировать улицу перед профессорским домом — эту затею он считал совершенно бесполезной. Сам же вместе с Федоровым пошел в подвал, куда успели снести труп. Унтера из вокзальной охраны Рысин отпустил; тот сказал, что убитый лежал на спине, показал место, где его нашли, и больше от него ничего не требовалось. Убийство было совершено именно там, в этом убеждали кровь на земле и найденная возле фуражка. Как сообщил унтер, она в самый раз пришлась по голове убитому — вероятно, слетела при падении.

— Оpoznали тело? — спросил Рысин у швейцара.

— А то как же! Я тут третий год на должности, всех знаю. Как принесли, так сразу и признал. Мать, думаю, честная. Это же Свечников, историк. И кому его душа понадобилась? Тихий такой был студентик.

— Из Перми он?

— Кунгурский вроде.

— Вот что, — распорядился Рысин. — Ступай сейчас к начальнику дружины, скажи, пусть пошлет за хозяином квартиры, где жил Свечников.

— А мертвеца кто покажет? — расстроился швейцар.

— Сами найдем, не волнуйся.

Часть аудиторий заняли под офицерский лазарет, и подвал загроможила снесенная с этажей мебель. У стены стоял большой портрет царя Николая, обитый траурным шелковым крепом.

— Провозглашаем: вперед, к Учредительному собранию! — грустно сказал Федоров. — А на всякий случай держим в запасе вот это. — Он ткнул пальцем в портрет.

В полосе света, бившей из зарешеченного оконца, пыльный шелк казался не черным, а серым.

Под оконцем, на двух составленных столах лежал человек. Он лежал на спине, одна ступня по-неживому вывернута, на лице фуражка.

Федоров осторожно убрал фуражку.

Рысин увидел перепачканный землей лоб убитого и отметил это. Почему лицо в земле, если там, под насыпью, он тоже на спине лежал?

— Совсем еще мальчик, — вздохнул Федоров.

Они вдвоем перевернули тело — под левой лопаткой сукно тужурки было разорвано пулей. Пока Федоров осматривал рану, Рысин отвернулся, чтобы не видеть.

Он ни разу в жизни не занимался расследованием убийства, для этого существовала полиция. О громких преступлениях узнавал из газет. Иногда писал даже письма следователям, излагая свои предположения, и радовался, когда они подтверждались в ходе процесса. До сих пор убийство было для него лишь ходом игрока, идущего к определенной цели, случайностей здесь быть не могло, вернее, они просто не интересовали. Чья-то смерть была конечным итогом одной комбинации и началом другой, где человек не более чем срубленная шахматная фигура, которая исчезает с доски лишь для того, чтобы появиться в новой партии с новым игроком. Но сейчас, в сумеречном университетском подвале, на окраине города, живущего слухами, страхами и надеждами, под взглядом мертвого императора, он впервые, может быть, подумал о смерти как о чем-то таком, что само по себе отрицает всеисилие разума и логики. Он, Рысин, всегда верил в логику мелочей, но теперь наступали такие времена, когда мелочи теряли привычный житейский смысл. Не только люди, вещи начинали вести себя по-другому.

Он отошел подальше, попробовал сосредоточиться на своей утренней догадке. Для подтверждения ее вовсе не нужно было подниматься в кабинет Желоховцева, Рысин и без того помнил расположение царاپин на полу. Собственно, царापина была одна, поскольку двигали только один конец шкафа — левый со стороны аудитории номер семнадцать и правый со стороны кабинета. Значит, преступник — левша? Это тем более казалось вероятным, что с другого конца шкаф двигать было гораздо удобнее, там он выдавался за косяк всего вершка на два.

— Гражданская война ведет к падению нравственности. — Федоров, закончив осмотр, снова прикрыл фуражкой лицо убитого. — Вот что всего печальнее.

— Вы достали пулю? — спросил Рысин.

— Увы. У меня нет с собой инструментов.

— Тогда пойдемте. С хозяином квартиры я побеседую наверху. А вы, когда сможете, извлечете пулю и принесете мне в комендатуру вместе с медицинским заключением.

— Сейчас. — Федоров повернул портрет лицом к стене.

— Близ царя — близ смерти, — сказал Рысин.

— Что-что? — не понял Федоров.

— Ничего... Поговорка такая.

Они поднялись в вестибюль.

Навстречу со второго этажа спускался Желоховцев. Он шел по лестнице медленно, сутулясь больше обычного, и рука его не скользила по перилам, а двигалась короткими судорожными рывками, будто всякий раз успевала прилипнуть к дереву, и требовалось усилие, чтобы ее отлепить.

Уже знает, догадался Рысин.

— У меня к вам один вопрос, профессор...

Желоховцев остановился:

— Опять вы?

— Поверьте, я понимаю ваше состояние. Но всего один вопрос: Трофимов — левша?

— Не помню.

— Пожалуйста, вспомните! Среди ваших коллег или студентов есть левша?

Стоя на лестнице, Желоховцев невидяще взглянул на Рысина сверху вниз, потом тихо, с какой-то странной ритмичностью, словно произносимые им слова были латинской цитатой, проговорил:

— А подите вы к черту, молодой человек...

Что-то будет?

Стучит, заходится в штабе генерала Зиневича юзовский аппарат. Ползет, скручиваясь, лента, ложится на пол рождественским серпантинном.

Полуприкрыв глаза, слушает генерал бесстрастный голос телеграфиста. Начальник штаба стоит у настенной карты с карандашом в руке. Лица посерели от бессонницы, красными ободками обведены припухшие веки. Все ближе и ближе к городу клубится на карте хаос кривых стрелок, треугольничков с флажками, зубчатых полуколесиков, обозначающих занятые рубежи.

Поблескивает на столе банка английских консервов. Хлеб лежит на тарелке, а рядом оплывает, желтеет по краям шмат сала.

Генерал Зиневич слушает сводку и вдруг кричит вошедшему адъютанту:

— Вы что, поручик?

Адъютант испуганно молчит, лоб его собирается морщинами.

— Вы забываетесь! — кричит генерал. — Почему

вы входите сюда, не потрудившись обтереть ног, как в конюшню?

Адъютант смотрит на свои только что вымытые сапоги, затем круто разворачивается, и в эту минуту на сорок девятой версте от города — направление северо-запад, случайный осколок задевает телеграфный провод. Проволоку срывает с кольев, со звенящим шорохом она скользит по траве, и в штабе генерала Зиневича умолкает юзовский аппарат.

Через несколько минут двое вестовых уже скачут от штаба к обоим вокзалам. Редкие прохожие смотрят, как разбрызгивают кони просыхающие лужи на мостовой, и душа замирает от бешеного их галопа.

Куда? Зачем?

Была жизнь как жизнь, а теперь неизвестно что. Еще висят на заборах приказы, шагают патрули, играет оркестр в ресторане Миллера, и майор Финчкок пишет письмо сыну о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Но уже ушли на Каспий канонерки капитана Джемиссона, ползут от госпиталей санитарные фуры, ночами постреливают на улицах, и хозяева с вечера закладывают железными штырями оконные ставни — не власть, не безвластье.

Генерал Зиневич подходит к окну. Курчавое азиатское облако висит над городом. Тишина.

Четыре месяца назад, в феврале, Костя стоял среди толпы на площади перед Спасо-Преображенским собором; ждали Колчака, который уже прибыл в Пермь и должен был явиться на торжественный молебен. Ждали долго. По площади перекатывался дробный стукоток — согреваясь, били каблуком о каблук, прыгали, топтались на месте. Перед толпой расхаживали сибирские стрелки из корпуса генерала Пепеляева, под их сапогами, надетыми вместо валенок ради такого случая, начищенными, но потускневшими на морозе, пронзительно скрипел утоптаный снег. От паперти двумя неравными крыльями тянулись ряды духовенства, собранного сюда со всего города; священники облачились в белые пасхальные ризы и мерзли в них нещадно. Отдельно темнела группа представителей власти: городской голова, председатель губернской земской управы, главный

военный комендант и еще человек десять рангом помнее, среди которых Костя заметил ректора университета профессора Култашева.

Все то и дело оглядывались назад, на Кунгурскую, откуда должен был появиться верховный правитель, Костя тоже оглядывался, сжимая в кармане шинели холодеющий браунинг. Металл холодел, пальцы styли, и уже не было того ощущения мертвой слитности руки и рукояти, когда и целиться-то почти не нужно, пуля сама найдет цель.

Ни Андрею, ни Лере, ни кому-либо другому он ничего не сказал о своем намерении убить Колчака. Зачем? Начали бы отговаривать: мол, эсеровские методы, и прочая. Но, честно говоря, не только в этом было дело. Хотя накануне написал прощальные письма родителям в Соликамск и Лере, но оставил себе лазейку, решив стрелять лишь в том случае, если будут хоть малейшие шансы на успех. Не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а для дела. Но тут и соблазн был, и сомнение возникало — действительно ли не выстрелит потому только, что невозможно попасть, или желание жить убедит его в такой невозможности?

Внезапно шум на площади смолк, раздались команды, замерли пепеляевские стрелки, сразу четко отделившись от толпы, и в наступившей тишине ясно стал различим вдали хряск многих копыт, бьющих в плотную снежную корку на мостовой.

Наконец вылетели из-под горы четверо казаков, следом — запряженная парой открытая коляска. Вокруг, тщательно выдерживая дистанцию, скакали казаки конвойного полуэскадрона в черных курчавых папах. Затем те из них, что были впереди и с боков, оттянулись назад, резко осадил коней, взбив белую пыль. Поматывая заиндевелыми мордами, заржали лошади; часть казаков осталась в седлах, другие спешили, быстро и ловко построились в маленькое полукаре возле коляски, и при виде этой кавалькады, которая пронеслась в снежной пыли и с механической правильностью, изломившись, застыла на площади, Костя почувствовал, как ледяным восторгом сдавило сердце.

Толпа расступилась, грянуло оглушительное «ура», кое-кто бросил вверх шапки. Верховный правитель вышел из коляски прямо на ковровую дорожку, расстеленную от паперти. Он был невысок, худ, смуглое лицо казалось усталым, зеленовато-желтым, и многие поначалу

приняли за Колчака генерала Гайду, первым вышедшего из коляски.

Костя все время старался держаться в стороне, но теперь все сместилось, он очутился в самой гуще толпы. Стискивали так, что трудно было дышать. Он даже не мог вытащить из кармана руку с браунингом. А Колчак уже всходил на паперть. Навстречу ему из соборных врат почти выбежал епископ Борис, однако сразу перешел на шаг, чтобы встретить верховного правителя точно на середине паперти. Они обнялись, расцеловались, и лишь потом Колчак склонил голову под благословение. Тут же по боковым ступеням на паперть изящно порхнула нарядная девочка в пушистой меховой шубке; сделав книксен, подала икону.

— От церковноприходских советов губернии! — зычно возгласил епископ.

Колчак, нагнувшись, поцеловал девочку в лоб, затем приложился к иконе и высоко поднял ее над толпой — это был святой Георгий, топчущий змия.

Послышались крики:

— На Москву! На Москву!

Костю теснили со всех сторон, да и расстояние выходило приличное — саженой двадцать. И злость, и стыдное чувство облегчения, что нет, стрелять невозможно — все было, но и надежда еще была; он продолжал наблюдать церемонию, надеясь на чудо.

От губернской управы поднесли каравай, Колчак небрежно передал его Гайде, тот сунул кому-то из свитских офицеров, и в этот момент передние прорвали оцепление. Толпа шатнулась к собору. Прежде звонили одни верхние колокола, а теперь ударили средние и нижний; от рева толпы, от густого звона, сотрясающего морозный воздух, по крыше архиерейского дома медленно начал ползти снежный пласт. Вот сорвался вниз. Ухнуло, как из пушки. Кого-то придавило, отчаянно завизжали бабы, и с этим визгом, звоном, беспорядочным движением человеческих тел, обтекавших Костю справа и слева, он почувствовал в теле странную легкость. Рука с браунингом согрелась мгновенно. Это была легкость преодоленного сомнения, упительная пустота, какую после, на фронте, он испытывал во время атаки. Уже понимал, что вынесет к самой паперти. Вот сейчас вырвать браунинг, высадить всю обойму по Колчаку, по Гайде и упасть, закрыть глаза. Пускай топчут, сволочи, пускай прямо здесь убивают. Вот сейчас... И в

этот миг, ослепительно провидя собственную смерть, замешкался, будто отозвалось видение, мерзкой слабостью налило ноги — на какую-то долю секунды замешкался, и толкнули сзади, сшибли на снег.

Он упал на одно колено, изо всех сил стараясь не нажать спусковой крючок, и еще толкнули, кто-то перекувырнулся через него, закипела свалка, а когда сумел наконец встать на ноги, Колчак уже исчезал в распахнутых воротах собора, вошел — и взлетели голоса певчих.

После встречи с Якубовым появляться в университете Костя остерегался и решил зайти к Желоховцеву на квартиру. Около двух часов тот всегда приходил домой обедать. У Григория Анемподистовича был больной желудок, и ел он только то, что готовила няня, Франциска Андреевна. Стряпала она лихо, не жалея соли и перца, однако ее воспитанник утверждал, будто в домашних условиях все эти специи для него совершенно безвредны.

Костя шел по улице, курил, глубоко затягиваясь. Очередной разговор с Андреем только что закончился на высоких тонах, вспоминать о нем было неприятно: на Сортировке вывезенные экспонаты также не обнаружилось, и от дальнейших поисков Андрей отказался наотрез. Он считал, что овчинка не стоит выделки. Оставалось уповать на Федорова — тот, как сообщила Лера, побывав сегодня утром в управе, бегаёт по городу, пытается что-то разузнать.

Желоховцева дома не оказалось, и до его прихода Франциска Андреевна усадила Костю пить чай с сухарями. Пока пыхтел самовар и настаивалась в чайничке «хербата», он взял с полки книжку французского историка Токвиля «Старый порядок и революция», полистал рассеянно. Токвилем увлекался когда-то Сережа Свечников — цитировал к месту и не к месту, проводил сомнительные аналогии.

Костя взял сухарь, сдавил и нечаянно раскрошил его в кулаке.

— Смотрю, нервный ты стал, — посочувствовала Франциска Андреевна. — И Григорий Анемподистович таков же. А уж как у него тарелки эти украли, сам не свой ходит. Чуть что, в крик. Не понимает, что здоровье всего дороже.

— Какие тарелки?

— Серебряные. Не знаешь разве? И монетки там. Он у меня еще укус выпрашивал, чистить их. Не напа-сешься уксусу...

— Вы ничего не путаете? — холодея, спросил Ко-стя. — Украли?

— Украли, украли. Креста на них нет!

— Григорий Анемподистович обращался куда-то, не знаете?

— Ходил вроде в полицию, — сказала Франциска Андреевна. — Или в комендатуру.

Отказавшись от чая, Костя попросил у нее бумагу и карандаш. Написал: «Григорий Анемподистович, нам необходимо встретиться. Догадываюсь, что мне не уда-лось избежать Ваших подозрений. Но они напрасны, даю слово. В ближайшее время зайду к Вам домой. К. Т.».

Нужно было идти, Лера уже ждала его у Андрея с известиями от Федорова.

Он сложил листок, и в памяти всплыло вычитанное где-то наблюдение: письмо, написанное карандашом, подобно разговору вполголоса.

Едва вышел на улицу, его окликнули:

— Трофимов!

Он обернулся, успев заметить впереди, в полуквар-тале, двоих солдат. Солдаты были одни, без офицера, и, следовательно, опасности не представляли.

— Наше вам с бахромочкой! — Костю нагонял зуб-ной техник Лунцев, обладатель лучшей в городе ну-мизматической коллекции.

Года полтора назад Костя с Желоховцевым пыта-лись приобрести у него для университета несколько персидских монет, но Лунцев заломил такую цену, что от покупки пришлось отказаться.

— Давненько не видались, давненько! — Он с чув-ством пожал Косте руку. — Говорили, будто ты в боль-шеvizию подался. Болтовня? Ну, не отвечай, не отве-чай. Мне, знаешь, все едино!

— Да я к своим уезжал, — сказал Костя. — В Со-ликамск.

— А удачно ты попался! Мне как раз консультация требуется. — Лунцев достал маленький бумажный па-кетик, развернул. — Глянь, какой образчик!

Костя взял монету. Это была серебряная драхма шахиншаха Балаша с небольшим отломом. На аверсе — погрудье шахиншаха с исходящим из его левого плеча

языком огня, на реверсе — голова Ахурамазды в пламени жертвенника. Серебро чистое, без патины, на отломе — мелкозернистое, тусклое. Дырка для подвески залита позеленевшей медью. Костя сразу узнал эту драхму по дырке и характерному отлому. Спросил, напугавшись:

— Откуда она у вас?

Лунцев расплылся:

— Что, хороша?

— Я спрашиваю, откуда у вас эта монета?

— Только что у Федорова выменял на два краковских свободных полузлотых. Он же с приветом, польские монеты особо собирает. Мать у него полька была, что ли, из ссыльных...

Лунцев внезапно замолчал, увидев кого-то, а Костя не успел и обернуться, как его крепко обхватили сзади. Из-за плеча вынырнул солдат в черных погонах, оттолкнул Лунцева и наставил винтовку.

— Я его сразу засек, — сказал тот, что держал сзади. — Смотрю, сходствует!

— Не болтай, — отвечал второй. — Окликнули, вот и признал... Давай-ка пощупай его.

Лунцев торопливо рвал из-за пазухи удостоверение:

— Граждане солдаты, я заговорил с ним совершенно случайно! Я зубной техник, меня все знают. Вот мой адрес. Прием ежедневно, по воскресеньям и всем праздникам, кроме двенадцатых. Милости прошу!

Не обращая на него внимания, солдат щелкнул затвором:

— Руки подыми!

Костя поднял руки, в правом кулаке зажимая драхму шахиншаха Балаша. Монета скользнула в рукав, прокатилась под рубахой и щекочущим холодком замерла на боку у гашника.

Второй солдат отпустил его, зашел спереди, быстро, сноровисто охлопал Костю по груди, потом по животу, по бедрам. Нашупав браунинг в заднем кармане, не стал сразу его вытаскивать, подмигнул товарищу:

— Нашлась игрушка!

Костя оглядел улицу — пусто. Откачнувшись, он незаметно перенес тяжесть тела на правую ногу и, когда солдат вновь повернулся к нему, ударил его в переносицу крученым ударом, на лету выворачивая кулак пальцами вниз.

Солдат мотнул головой, как болванчик, и беззвучно

повалился на своего напарника. Тот резко повел винтовку в сторону, палец, лежавший на спусковом крючке, дернулся, грянул выстрел. Лунцев пригнулся, зажимая руками затылок, ему опалило волосы над ухом. Костя с разбегу прыгнул на забор, упираясь в доски одной ступней, подтянулся и мешком рухнул в палисадник Желоховцева. Рядом с ним брызнули из забора щепки, пуля звонко ударила в висевший на столбе медный умывальныйник. Он выхватил браунинг и, не стреляя, бросился в глубь двора. Еще успел заметить выскочившую на крыльцо Франциску Андреевну, а потом уже ничего не видел, кроме изгородей, калиток, сараев и огородов, за которыми открывалось пыльное полотно соседней улицы.

Студент, ходивший на квартиру убитого, вернулся и сообщил, что хозяина дома нет, а хозяйка идти отказывается: у нее печь топится и ребятишек не на кого оставить.

— Совсем народ распустили, — возмущился швейцар. — Послать сейчас троих человек и силой привести! — Не надо, — сказал Рысин.

Он спросил адрес, еще раз напомнил Федорову про пулю и пошел домой. Пообедав и повздорив с женой — та непременно сегодня хотела затащить его на именины к своей двоюродной сестре, которую Рысин терпеть не мог, он вывел из сарая старенький велосипед марки «дукс», доставшийся ему три года назад от купца Грибушина в качестве гонорара за секретную помощь в борьбе с конкурентами, и покатил на квартиру Свечникова.

Тот снимал комнату в доме владельца керосиновой лавки неподалеку от завода Лесснера, на горе. Лавка помещалась тут же, в кирпичном полуэтажке. Сейчас она была закрыта, за железным ставнем торчал кусок фанеры с надписью: «Керосину нет». Во дворе Рысина встретила хозяйка; узнав, кто он и откуда, спросила:

— Неужто правда убили его?

— Правда, — сказал Рысин.

— Беда прямо, что дается. Он ведь смирный был студент, непьющий, некурящий. Мы курящих на квартиру не пускаем, керосин внизу.

Рысин попросил показать жилецкую. Хозяйка неохотно провела его наверх, в жалкую, скудно обставленную комнатешку.

— Вот тут и жил. Мы дорого не берем. Десять рублей, и живи не крестись.

Стоя у порога, Рысин оглядел жилище Свечникова: койка, стол, полка с книгами, жестяной рукомойник в углу. Подошел к полке, вытащил одну книжку — Толстой и Кондаков, «Русские древности», часть III. Другую — «Инвентарный каталог мусульманских монет» Маркова.

— Девоч не водил, нет, — сказала хозяйка. — Чисто жил. По полдня за столом просиживал. Читает, пишет чего-то.

— Гости к нему приходили?

— Нет, никто не бывал.

— А стол давно так стоит?

— Да Сергей-от как стал жить, передвинул.

— Раньше вон там стоял? — Рысин показал на оставшиеся от ножек отметины в углу.

Хозяйка кивнула:

— Тама.

Рысин взглянул на окно, на придвинутый к столу колченогий стул. Прикинул, что при письме свет падает с правой стороны и написанное ложится в тень от ладони, если писать правой рукой. Человек, целыми днями сидящий за столом, не может не обращать внимания на такие вещи.

— Скажите, ваш постоялец был левша?

— Вот не скажу, — огорчилась хозяйка. — Не примечала, леворукий, нет ли.

— Когда он ушел вчера из дому?

— Часу в шестом.

— И больше не приходил?

— Нет, не был.

— А раньше случалось, что не ночевал дома?

— Позапрошлую ночь не ночевал. Под утро только пришел. Мы еще спали, слышим, ключ в замке вертит. У него своего ключа не было, а в тот раз попросил с вечера.

— Ага, — сказал Рысин. — Понятно.

Итак, можно было считать, что похититель серебряной коллекции обнаружен: мертвый, он лежал в университетском подвале рядом с портретом последнего российского самодержца. Но мысль эта, хотя и была следствием логического подхода к обстоятельствам, особой радости не принесла.

Он выдвинул ящик стола, увидел тетрадь в синем

клеенчатом переплете, довольно толстую. Раскрыл ее на первой странице: «12 января 1917 г. Сегодня мне исполнилось восемнадцать лет. Решено! Буду вести дневник, «дневные записки», как говорили в прошлом столетии. Вот, написал эту фразу и уже солгал. Написал ее так, словно не для себя пишу, а для кого-то, кто будет читать мои заметки. Помянул зачем-то о прошлом столетии. Нет, нужно писать честно и, самое главное, вовсе не думать о стиле. Иначе легко сбиться в ложь, в многозначительность. Только мысли, только наблюдения!»

Рысин полистал дневник, отметил мелькнувшую несколько раз фамилию Желоховцева и сунул тетрадь за пазуху, решив прочесть дома.

— А имущество его? — поинтересовалась хозяйка.

— Имущество остается родителям. Они должны приехать из Кунгура. Я составлю опись, и, если что пропадет, ответите по закону.

— Одеяло мое, — торопливо сказала хозяйка. — Его не пишите. И чайник тоже мой.

Рысин еще раз тщательно осмотрел комнату, простучал стены и подоконник. Потом составил опись, занявшую полстранички, и дал подписать ее хозяйке. Спросил:

— Позавчера утром он домой ничего не приносил? Никаких коробок?

— Ничего не было. Я еще в сени выходила смотреть. Пьяный, думала, или с девкой.

Рысин спустился вниз, вывел на улицу велосипед.

Всю жизнь он был неудачником. В двадцать девять лет такие вещи вслух еще не говорят, но думают о них уже вполне откровенно. Что он делал все эти годы? Какой только чепухой не занимался. Изучал труды криминалиста Бертильона, а после шел собирать сведения о клиентах дома госпожи Чирковой в Разгуляе. Или выяснял в ярмарочное время подлинную стоимость деловых попок в ресторанах — приказчики и младшие компаньоны часто представляли фирмам фальшивые счета. Такие дела вел он из рук вон плохо, потому что неинтересно было, порой сам оставался в убытке, и тогда приходилось выслушивать вечерами долгие наставления жены. Теперь с этим было покончено. Навсегда. Он, Рысин, вел настоящее дело, о каком мечтал когда-то, а потом и мечтать перестал. Но зачем все-таки Свечников похитил коллекцию?

Навстречу, в сторону вокзала, проехала фура с ра-

неными. Лошадью правил бородатый казак в папахе и шинели, накинутой прямо поверх белья, рядом сидела сестра милосердия в грязном куколе. Лицо у нее было молодое, белое, а руки желтые, как у старухи. От йода, отметил Рысин и пожалел сестру.

Еще через квартал попалась подвода, груженная всяким домашним скарбом. Над корзинами и узлами, как мачта, торчала старинная лампа на длинной бронзовой ноге, мальчик в матроске с кошкой на коленях сидел под лампой. Рядом шел немолодой мужчина, в котором Рысин узнал известного в городе адвоката Лончковского. Когда-то он следил за ним по поручению мадам Лончковской, подозревавшей мужа в нарушении супружеской верности. Логического подхода это дело не требовало, Рысин вел его нехотя и никаких результатов не добился: адвокат так ловко применял правила конспирации, словно был не кадетом, а эсером-боевиком. Где-то теперь адвокатская пассия? Где мадам Лончковская с ее истериками и мигренью? Все смешалось, перепуталось. Город пустел на глазах, и уже никому здесь ни до чего не было дела.

За последними домами Покровской улицы вознесся паровозный гудок, все составы шли теперь только по восточной магистрали, в глубь Сибири, к далекой колчаковской столице.

Рысин сильнее надавил на педали и вновь подумал о том, что, когда в город войдут красные, ему очень может не поздоровиться. Иди потом доказывай, будто применял в комендатуре логический подход, а не плетъ с проволокой. Кто поверит? И угораздило же влипнуть в эту мобилизацию! Надо было вовремя послушать жену, отсидеться у тетки на Висиме. Не поздно, разумеется, исчезнуть и сейчас, прямо сегодня. Никто даже искать его не станет в нынешней неразберихе. Растравлял себя этой возможностью — дезертировать, не сходя с велосипеда, но в глубине души знал уже, что никуда-то он не исчезнет, пока не найдет убийцу Свечникова. А времени оставалось мало: после прихода красных ничего не сделаешь.

Шины успокаивающе шуршали по пыльной обочине, и неожиданно для себя Рысин решил, что на этот раз он послушает жену, пойдет с ней на именины. Он пойдет с ней на эти именины — будь они неладны! — напьется там и все забудет. А уже завтра станет читать дневник, думать и что-нибудь обязательно придумает.

Лера сидела у Андрея.

— Никаких новостей, — выпалила она, едва Костя показался в дверях. — Про того подпоручика в управе понятия не имеют. Но считают почему-то, что экспонаты уже в Екатеринбурге. И мне советуют немедленно туда выезжать. А Федоров отправился в Слудскую комендатуру. Может, что-нибудь узнает.

— А! — раздраженно отмахнулся Костя. — Пока мы тут возились, коллекция Желоховцева тоже пропала. Черт-те что!

— Откуда знаешь? — спросил Андрей.

— Няня его сказала.

— Няня! — усмехнулся Андрей. — Барчук он, твой профессор!

— Послушай, Лерочка, — сказал Костя, — я почти уверен, что твои экспонаты и коллекция Желоховцева находятся в одних руках. И Федоров твой вызывает у меня сильные подозрения. Уж слишком он старается. Вот. — Костя выложил на стол драхму шахиншаха Балаша. — Это монета принадлежит Григорию Анемподистовичу. Случайно взял ее у одного знакомого, которому она досталась от Федорова... Ты знаешь его адрес?

— По Вознесенской четвертый дом от тюремного сада. По левой стороне. Но ты лучше к нему не ходи. Он сам обещал завтра после обеда появиться в музее.

— Ты бы, Константин, осторожнее по городу разгуливал, — предупредил Андрей. — Твои приметы розданы патрулям.

— Уже знаю. Меня только что пытались арестовать.

— Сбрей хотя бы усы, — посоветовал Андрей.

— Еще чего! Много им чести.

— Дурак! — сказала Лера. — Видали такого дурака?

— Кто тебя мог выдать? — спросил Андрей.

— Или Желоховцев — он заявил в комендатуру о похищении коллекции, или Якубов.

— Это еще что за птица?

— Студент. Мы учились вместе. Два дня назад я видел его в ресторане Миллера. Он был там с каким-то капитаном. Да, фамилия этого капитана — Калугин. Во всяком случае, так его назвал мой сосед по столику.

— Ага, капитан Калугин из городской комендатуры. — Андрей повернулся к Лере. — Пока суд да дело, у меня к вам просьба!

Лера поправила волосы:

— Слушаю.

Она всегда поправляла волосы, когда к ней обращались.

— Этот Калугин готовит людей, которые останутся в городе после ухода белых. Мне поручено их выявить. По нашим сведениям, будущие агенты не появляются в комендатуре. Все встречи проходят у Миллера, где Калугин снимает номер. Или в самом номере, или в ресторане.

Костя забеспокоился:

— При чем тут Лера?

— Сейчас объясню. Наши ребята будут слишком выделяться среди тамошней публики. А одному мне идти не хотелось бы.

— Вы отводите мне роль ресторанной дивы, — догадалась Лера.

— Чепуха! — рассердился Костя. — У Миллера живут десятки людей. Для того чтобы узнать, куда идет посетитель, тебе нужно поставить топчан перед дверью этого Калугина.

— У Миллера снимают номера почти исключительно офицеры. Из штатских только редактор «Освобождения России» Мурашов, профессор Богаевский и еще два-три человека. Всех их я знаю в лицо. Они люди семейные, и в номера к ним никто не ходит. А у офицеров практически нет знакомств среди населения.

— Твое знание жизни просто удивительно, — сказал Костя.

— Вход в номера с улицы достаточно легко взять под контроль, — спокойно продолжал Андрей. — Но сложность в том, что есть и другой вход, через ресторан.

— А все-таки где гарантия, что посетитель направляется именно к Калугину? Не к Богаевскому, не к Мурашову.

— Гарантии, естественно, нет. Проверять придется каждого. Я поставлю у входа своих ребят и буду сообщать им обо всех подозреваемых. А они проследят адреса, после выяснят фамилии, ну и так далее. Громоздко, я понимаю. Но больше делать нечего. Проверить всех посетителей ресторана мы не можем.

— Но нельзя же там сидеть с утра и до вечера? — усомнился Костя.

— Зачем? Утром Калугин уходит и возвращается часам к семи. Достаточно прийти около этого времени.

А для наблюдения за входом с улицы мы сняли комнату в доме напротив.

— Но Якубов с Калугиным были у Миллера в шесть часов!

— Хорошо, отодвинем этот срок еще на час. Значит, Лера, я буду ждать вас сегодня в начале восьмого. Сам я приду раньше и выберу столик.

Лера задумалась:

— У меня, пожалуй, платья подходящего нет.

— А то зеленое, с рюшами? — напомнил Костя.

— Понимаешь, — сказала Лера, когда он вышел проводить ее до ворот, — ты, главное, не нервничай. Мне кажется, нужно притвориться перед кем-то — перед судьбой, что ли, или перед богом, будто мои экспонаты тебя уже не занимают. Другое начать делать. И тогда что-нибудь непременно обнаружится. Само собой. Как у тебя с этой монетой... Я путаюсь, да?

— Все понятно. Только ты все-таки дай мне ключ от музея. Завтра подожду там Федорова.

Лера порылась в сумочке, достала ключ:

— Открывать вправо, на два оборота.

Костя хотел взять ключ, но она не сразу его отпустила, и пальцы их на мгновение соприкоснулись. Ключ был теплый, а пальцы у Леры совсем холодные, словно после мытья.

«Если бы мы были воспитаны в совершенно тех же условиях, как улейные пчелы, то нет ни малейшего сомнения, что наши незамужние женщины, подобно пчелам-работницам, считали бы священным долгом убивать своих братьев, матери стремились бы убивать своих плодовитых дочерей и никто не думал бы протестовать против этого. Тем не менее пчела (или всякое другое общежительное животное) имела бы в приведенном случае понятие о добре и зле или совести...»

Одолев эту цитату из Дарвина, написанную, как и весь дневник Свечникова, стремительным и неразборчивым левонаклонным почерком, Рысин отхлебнул из ковшика глоток огуречного рассола.

Подумал: «Слава богу, что мы не пчелы!»

После вчерашних именин голова болела невыносимо.

Первым делом Рысин заглянул в самый конец дневника, надеясь отыскать там хоть что-нибудь, проливающее свет на обстоятельства смерти его автора. Однако

последняя запись, помеченная 12 июня, была такой: «Желоховцев как подлинный ученый любит все живое, острое, пряное, все, что питает и стремится к силе ума. Афоризм, сразу западающий в память, меткое сравнение, соленое, но точное словцо — все находит у него отзвук. Вчера Якубов принес с вокзальной площади пирожков. Григорий Анемподистович надкусил один и сморщился: «А пирожки-то...» Закончил фразу крепким словцом и счастливо засмеялся — точнее не скажешь!»

Восторг Свечникова по такому поводу Рысину был непонятен. Ну, выругался профессор. Эка важность!

Он проглядел еще несколько записей в конце дневника, посвященных теории Желоховцева о типизации вогульских могильников, а потом начал читать все подряд, с первой страницы. Чтение было не из легких. Цитаты перемежались размышлениями Свечникова на исторические темы и письмами его к какой-то Наташе в Кунгур. Впрочем, письма эти, аккуратно переписанные в дневник, также изобиловали цитатами из мыслителей всех времен и народов. Высказывание Дарвина о пчелах, например, должно было объяснить Наташе понятие относительности человеческой морали на доступном ей материале — она, как понял Рысин, служила секретарем в кунгурском обществе пчеловодства.

Свои житейские впечатления Свечников записывал редко. Первой записью такого рода после прихода белых была следующая: «Сегодня в университете, как и в прочих казенных зданиях города, проходили водосвятные молебны. Освящали стены, оскверненные пребыванием в них большевиков. Это какой-то шаманизм, недостойный людей двадцатого века. Священник кропил аудитории с таким величественным видом, как будто от этой процедуры зависит судьба цивилизации. Уловив минуту, я взглянул на Желоховцева и обрадовался: губы его кривила ироническая усмешка. Не вполне, правда, открытая, но достаточно очевидная для тех, кто дал бы себе труд в ней разобраться...» Рядом выписаны были строчки Блока о «пузатом иерее», а затем, уж вовсе по непонятному сцеплению мысли, стихи какого-то солдата, приходившего в университет после февральской революции: «Отняли власть мошенники, простые мужики, отняли власть у Коленьки, и да хоть в пастухи».

Судя по дневнику, Свечников вел жизнь замкнутую — хозяйка была права. Его интересы ограничивались книгами и университетом, где, кроме Желоховцева,

у него имелся еще один близкий человек — Михаил Якубов, тоже студент и вдобавок земляк. Он, помимо всего прочего, приходился двоюродным братом кунгурской Наташе. Правда, этой зимой отношения между Свечниковым и Якубовым были хотя и тесными, но далекими от полного понимания. «Поздно вечером, — читал Рысин, — я возвращался домой. На углу Торговой и Сибирской мне повстречались двое солдат с офицером. Они конвоировали человека, который, несмотря на мороз, был без шапки, в распахнутой шинели, открывавшей окровавленную рубашу. Когда я поравнялся с ними, этот человек внезапно бросился ко мне, толкнул на солдат, а сам побежал к торговым рядам. Офицер отшвырнул меня в сторону, я упал. Но тому человеку не удалось скрыться. Он не успел пробежать и десяти шагов, как был застрелен. Я не стал подходить к нему, поднялся и пошел домой. И всю дорогу чувствовал на сгибе руки его пальцы. Кажется, даже сейчас чувствую». Рысин перевернул страницу: «Я рассказал об этом случае Якубову. Показал, закатав рукав; красные пятна, выступившие у меня на коже как раз в том месте, где мою руку стиснули пальцы вчерашнего беглеца. Но он лишь посмеялся над этими «стигматами», сказав, что я чувствителен, как Вертер, и что ночами пленных большевиков часто водят на Каму — дело обычное...»

Но в начале июня отношения между земляками внезапно потеплели: «Говорил с Якубовым о возможной эвакуации университета и с радостью обнаружил, что он решительно не собирается никуда уезжать. Услышав это, я едва не бросился обнимать его. Лишь опасение показаться смешным удержало меня. Но я рад, рад! Как все-таки много значили для нас обоих истекшие месяцы! Мы увидели вещи вблизи, в натуральную величину. История глубже любых аналогий, и жаль, что это понимание пришло к нам с Михаилом порознь. Одно смущает меня: Желоховцев твердо намерен ехать. Он слишком прочно связан с университетом, и, боюсь, наши с Якубовым уговоры на него не подействуют. Порешили для убедительности беседовать с Гр. Ан. по очереди, а не вместе...»

Рысин читал дневник спокойно, и только предпоследняя запись вернула к вчерашним размышлениям. «Утром сидели с раненым прапорщиком из университетского лазарета, — записал Свечников. — Рассказывая о нелепой смерти своего товарища под Глазовом, он при-

помнил арабскую пословицу: убивает не пуля, убивает предназначение. Эта расхожая восточная мудрость почему-то произвела на меня сильное впечатление. Наверное, в наше время и для таких людей, как я, подобные изречения приобретают особый смысл...»

Рысин оделся, прихватил дневник и вышел во двор, откуда слышалось куриное квохтанье — жена кормила несушек.

— Маш, я вчера на именинах ничего лишнего не болтал?

— Что? — поразились жена. — Да ты за целый вечер и рта не раскрыл.

А ему-то мерещилось, будто он вел на именинах длинные, душевные и чрезвычайно важные разговоры.

Велосипеда в сарае почему-то не оказалось.

— Не ищи, не ищи, — сказала жена. — Я его спрятала, все равно не найдешь. С ума сошел — раскатывать в такое время? Людей вон шпана из-за галош режет. Только дразнишь их своей машиной. Думаешь, мне ее жалко? Да пропади она пропадом! Мне тебя жалко.

— Отдай, Маша, велосипед, — попросил Рысин.

— И не проси. Не дам.

Пришлось идти пешком.

В университетском вестибюле было пустынно, тихо. У лестницы висел большой пожелтевший плакат с обмахрившимися краями: «Все 12-ть казачьих войск приветствуют Верховного Правителя России адмирала Колчака!»

Желоховцев сидел у себя в кабинете. Войдя, Рысин сразу отметил, что разбитое стекло так и не вставили. Хотя все вещи оставались на прежних местах, лишь громоздилась на полу стопка книг, дух запустения уже витал над кабинетом.

— Я должен перед вами извиниться, — сказал Желоховцев.

— Пустяки, в тот момент вам было не до меня. — Рысин достал из-за пазухи синюю тетрадь. — Это дневник Свечникова. Сделайте одолжение, посмотрите прямо сейчас, при мне.

Желоховцев тоже начал читать дневник с конца, а Рысин, расхаживая по кабинету, вспомнил предпоследнюю запись, и странное для двадцатилетнего человека предчувствие смерти обернулось неожиданным сообщением: не мог Свечников сам придумать трюк со стеклом, кто-то посоветовал ему разбить окно снаружи.

И тем убедительнее казалось это соображение, что не было в нем никакой логики.

— Наверное, — начал Рысин, заметив, что Желоховцев закрыл тетрадь, — то, что я хочу сказать, покажется вам абсурдом. Но я все-таки скажу... Ваша коллекция, Григорий Анемподистович, похищена автором этого дневника...

Желоховцев слушал молча, не прерывая и не требуя дополнительных разъяснений, выражение отрешенной недоверчивости постепенно исчезало с его лица.

— Пожалуй, я догадываюсь, зачем он это сделал.

— Именно потому я к вам и пришел.

— Сережа очень любил меня, вы могли заметить это по дневнику. В последнее время он несколько раз заговаривал со мной о будущем. Спрашивал, что я собираюсь делать, если город возьмут красные, и наивно убеждал меня остаться.

— Якубов тоже беседовал с вами на эту тему?

— Да, тоже. Хотя такая стремительная перемена в его взглядах показалась мне странноватой. Он всегда был убежденным сторонником колчаковской диктатуры.

— А Свечников?

— У него не было четкой политической ориентации. Он очень впечатлителен, и некоторые крайние проявления режима легко могли показаться ему характерными чертами нынешней власти как таковой. Это тоже заметно по дневнику... Так вот, все мои ученики знали, как много значит для меня серебряная коллекция. Знал, разумеется, и Сережа. Мои ближайшие научные планы были связаны почти исключительно с ней. Говорят, поэты созревают быстро, а художники медленно. В науке важно найти свою тему. Открытия случайны. Только тема делает из блестящего эрудита подлинного ученого. Есть темы для магистерской диссертации, это одно. Есть кусок жизни, в котором ты узнаешь себя и делаешься своим человеком, это другое. Я долго искал свою тему, и Сережа с его любовью ко мне понимал это лучше многих. А любовь всегда эгоистична. Я думаю, он украл коллекцию для того, чтобы таким путем повлиять на меня, заставить отказаться от эвакуации. Своего рода шантаж. Звучит грубо, когда речь заходит о столь тонких материях, но в принципе верно отражает ситуацию.

— После исчезновения коллекции вы видели Свечникова?

— Нет.

— Если ваша догадка верна, — вслух начал рассуждать Рысин, — он должен был сообщить вам, что коллекция цела. В противном случае его действия теряют всякий смысл. Однако никаких писем вы не получили.

— Письмо есть, — сказал Желоховцев. — Я уверен. Но что-то помешало Сереже отправить его.

— Еще одна частность. Зачем понадобилось ему вводить вас в заблуждение? Осколки на полу должны были показать, что коллекцию похитил человек более или менее случайный. Посторонний, одним словом. Следовательно, мы можем выдвинуть две версии. Либо Свечников не собирался писать вам — тогда ваше предположение ложно в самой своей основе, либо с ним был еще кто-то. Причем сообщник предвидел несколько иной ход событий, нежели тот, что был намечен Свечниковым. Тому подобная маскировка была совершенно не нужна... Вы следите за моими рассуждениями?

Желоховцев кивнул:

— Знаете, мне кажется, что Сережа все равно вернул бы мне коллекцию. Каково бы ни было мое окончательное решение.

— Тем более. Может быть, ваши первоначальные подозрения имеют под собой какую-то почву?

— Нет, это не Трофимов. Я привык верить его честному слову.

— Вот как? Значит, вы встречались?

— Он оставил мне записку.

— Очень, очень любопытно... А вы знаете, что ваш Трофимов красный агент?

— Знать не хочу, — сказал Желоховцев. — Меня это не интересует.

— И вы так безусловно верите его честному слову?

— Да, верю. Будь иначе, он просто не осмелился бы явиться ко мне домой.

— Но если со Свечниковым был не Трофимов, как вы утверждаете, в таком случае остается один человек.

— Якубов? — догадался Желоховцев. — Тогда мы должны предположить...

— Продолжайте, — поощрил Рысин. — Вы на верном пути.

— ...что это он убил Сережу, — шепотом закончил Желоховцев.

Под дверью музея Костя обнаружил записку: «Милая Лера! Если Вам известно, где находится К. Т., передайте ему, что я не сказал о нем ничего лишнего. Случай у моего дома — полнейшая для меня неожиданность. Я не хотел бы выглядеть подлецом в его и Ваших глазах. Извините, коли совершаю бестактность, обращаясь по такому деликатному вопросу именно к Вам, но другого способа оправдаться просто не знаю. Ваш Г. А. Желоховцев».

Костя поднялся на второй этаж, помедлил перед чугунным, каслинского литья Геркулесом, разрушающим пещеру ветров. Рядом висели фотографии Мотовилихинского пушечного завода — корпуса, станки, пушка в профиль, пушка в фас. Где-то теперь эти пушки? Куда стреляют — на восток или на запад?

Икра австралийской жабы плавала в спирту — дурацкие серые вечные катышки.

В следующей комнате на выцветших обоях темнели прямоугольники от снятых картин, и Костя, глядя в простенок, где висел раньше палестинский этюд Поленова, опять с тревогой подумал о Федорове. Неужели не придет?

Но нет, явился, голубчик.

В шестом часу вечера, заметив из окна его фигурку, толстенькую и уютную, колобком катившуюся вниз от Покровки, Костя быстро отомкнул входную дверь, а сам притаился в темной прихожей, под лестницей.

Федоров дал, наверное, звонков десять, которые раз от разу делались все длиннее, и лишь потом догадался потянуть открытую дверь.

— Лера! — позвал он. — Валерия Павловна!

Не дождавшись ответа, стал подниматься на второй этаж. Когда отскрипели ступени, Костя бесшумно повернул ключ в замке, отрезая гостю обратный путь, и тоже двинулся вверх. Он шел по лестнице у самой стены, и ступени под ним не скрипели.

— Ау-у, Лера! Валерия Павловна-а! Где вы? — зывал Федоров, переходя из комнаты в комнату.

Едва он добрался до последней, выходившей окнами на соседние дровяники, Костя скользнул вслед за ним. Все произошло стремительно — одна дверь, другая, третья, ритм косяков, стен и притолок, странное ощущение, будто ты крокетный шар и катишься сквозь воротца.

Федоров испуганно обернулся:

— Я ищу смотрительницу музея, Валерию Павловну... Случайно не знаете, где она?

— Вы меня не узнаете? — спросил Костя.

Года два назад они были шапочно знакомы.

— Нет... Мне нужна смотрительница музея. — Видно было, что Федоров начинает беспокоиться.

Он шагнул к двери и вдруг понял, что пройти ему не удастся. Сделав еще один шаг, значительно короче первого, остановился.

— Если вы меня не помните, — сказал Костя, — тем лучше.

Эта загадочная фраза произвела на Федорова совершенно убийственное действие. Сморщившись, он начал зачем-то отряхивать пальто, лицо его посерело.

Косте стало неловко. Двумя пальцами он сжал драхму шахиншаха Балаша, показал Федорову:

— Откуда эта монета?

— Дочь подарила, — с готовностью ответил тот.

Заметно было, что он слегка успокоился, — если речь зашла о монетах, значит, перед ним порядочный человек. Во всяком случае, происшедшие на его лице перемены Костя объяснил себе именно так.

— Что взял за нее Лунцев? — поинтересовался Федоров. — Он ведь, по правде говоря, изрядный прохвост. Нумизматика сама по себе его не интересует.

— А каким образом она попала к вашей дочери? — спросил Костя, начиная понимать всю нелепость своей затеи; вовсе не обязательно было устраивать засаду.

— Видите ли, — наставительно произнес Федоров, — у нас в семье существует традиция. Именинные подарки должны быть не только сюрпризом, но и тайной. А эту монету дочь подарила мне на день рождения.

— Ее одну?

— Еще несколько восточных серебряных монет. Не знаю, где она их взяла. Не говорит! Хотя и спрашивал, разумеется. Думаю, через неделю сама расскажет, не утерпит. А почему вас это интересует?

Нельзя было его отпускать — непременно проболтается. Костя достал браунинг, но постеснялся наводить его на Федорова, просто держал дулом вниз в опущенной руке.

— Вам придется задержаться здесь до тех пор, пока я не проверю ваше сообщение.

Отвел обалдевшего от изумления и страха Федорова в чулан; спросил, задвигая засов:

— Может быть, еще что-то вспомните?

Молчание.

— Вы когда-нибудь слышали о нумизматической коллекции профессора Желоховцева?

Молчание, затем тупой малосильный удар ногой в стену.

— В таком случае вы пробудете здесь долго!

— Вы вор! — Федоров глухо ударился грудью в дверь. — Теперь-то я все понимаю! Это не музей, это осиное гнездо!

Распахнув дверь, Костя с силой швырнул в чулан стоявшее неподалеку пустое ведро:

— Для надобностей!

Ведро, брякая ручкой, покатилося по полу, и Костя подумал, что надо бы послать Леру на квартиру к Федорову, поговорить с его дочерью. Или, может, самому вечером сходить?

Лера узнала его сразу, хотя на этот раз он был в штатском: сидел за столиком — один, перед ним стояла высокая бутылка с серебряной головкой и желторозовым ярлыком — шампанское «Редерер», и опять, как тогда, в музее, шевельнулось другое воспоминание, совсем давнее: где-то она видела этого человека.

— Вон тот, темноволосый. — Лера глазами указала на него Андрею. — Правее смотрите... Это он!

— Кто? — не понял Андрей.

— Подпоручик, что экспонаты мои увез.

Оркестр заиграл вальс «Невозвратное время». Желтым светом горели электрические люстры, отражаясь в бокалах, подносах, пенсне, в фиолетовой фольге на кадках с пальмами. Шторы на окнах были задернуты, хотя на улице еще совсем светло — июнь, и от этого особенно острым было ощущение мгновенного уюта, отъединенности, призрачного равенства всех сидящих сейчас в этом зале посреди разоренного войной, пустеющего, несуразного города. Ровный гул голосов висел над залом. Гул этот был серьезен, значителен; казалось, что все сидящие здесь люди хорошо знакомы между собой и не просто собрались провести вечер в ресторане, а выполняют какое-то важное общее дело.

Вскоре из боковой двери, которая вела наверх, в номера, появился Калугин, рядом с ним шла молодая женщина в короткой синей юбке, такого же цвета жа-

кетке и в маленькой круглой шапочке, похожей на каскетку.

— Да это же Лизочек! — шепнула Лера.

— Вы знаете эту даму?

— Еще бы мне ее не знать! Мы вместе учились в гимназии. Дочь доктора Федорова. У нее прозвище такое — Лизочек.

«Мой Лизочек так уж мал, так уж мал, — пела она на благотворительных вечерах, — что из скорлупы яичной фаэтон себе отличный...» После гимназии она уехала из города, училась в Петербурге на каких-то музыкальных курсах и вернулась к отцу года полтора назад.

В центре зала Калугин подхватил Лизочка под руку и подвел к тому столику, где за бутылкой «Редерера» сидел молодой человек в зеленом пиджаке. Тот встал, отодвигая стул для дамы, и Лера вспомнила наконец, где она видела его раньше: у Желоховцева. Конечно, у Желоховцева! Тогда он уже одевался в передней, а они с Костей только зашли. Как же Костя называл его? Кажется, Михаилом, Мишей.

Минут через десять молодой человек поцеловал Лизочке руку и направился к выходу. Андрей, перекинув папироску в угол рта, поднялся было, но Лера удержала его:

— Не ходите, не надо.

— Почему?

— Сядьте. Я его вспомнила. Он теперь в штатском, и я вспомнила. Костя с ним прекрасно знаком по университету.

Андрей прикусил мундштук, сел. Зеленый люстриновый пиджак исчез за дверью, и тут же из-за соседнего столика вскочил, неловко откинув стул, длинный нескладный прапорщик.

— Вам в нулик-с? — К нему, загораживая дорогу, кинулся официант.

Он смотрел подозрительно и у груди, как щит, держал пустой поднос. Поднос был тагильский, лаковый, донце его сияло в свете электрических люстр.

— Деньги на столе, — сказал прапорщик и быстро прошел мимо Леры, на ходу надевая фуражку.

Выйдя из ресторана, Рысин увидел впереди, шагах в семидесяти, изящную фигурку Якубова: тот шел по направлению к Покровке. Еще перед войной, следя за

неверными мужьями и женами, Рысин пришел к выводу, что такие города, как Петербург или Пермь с их прямоугольной планировкой, идеально приспособлены для слежки. Человек на улице виден далеко, сколько глаз хватает, не то что в Москве, например, где от самого опытного филера скрыться нетрудно. А здесь можно держаться в приличном отдалении, не наступая подопечному на пятки из боязни упустить его.

Рысин держался в приличном отдалении. Было совсем светло, ночи стояли белые, опять же как в Петербурге. Пиджак Якубова зеленым пятном маячил впереди. Впрочем, Рысин привык уже к самому очерку его фигуры, к его походке, манере размахивать при ходьбе рукой и легко находил взглядом привычный силуэт даже днем, в толпе. Сейчас это и вовсе нетрудно было сделать. Улицы к вечеру опустели, редкие прохожие старались не смотреть друг на друга, шли торопливо — последнее время в городе появилось несколько банд, а шпаны и раньше хватало. Кое-где в домах уже зажгли лампы, в белесых сумерках они освещали плоскости окон не полностью, теплились желтыми кружками, и потому не было ощущения покоя и уюта за этими окнами, как в осенние или зимние вечера, когда они светятся в темноте яркими, четко очерченными прямоугольниками.

Одиноким пароход протрубил на Каме.

Они пересекли Покровку, дошли до здания Кирилло-Мефодиевского училища; здесь Якубов свернул налево. «Домой», — с некоторым разочарованием подумал Рысин.

Он следил за Якубовым уже второй день. При чем делал это на свой страх и риск, поскольку Тышкевич к предложению арестовать Якубова или хотя бы произвести у него обыск отнесся с ничем не оправданным возмущением. Конечно, оснований для подобных действий у Рысина было маловато, все так. То есть вообще никаких оснований не было — одни подозрения, но, с другой стороны, Тышкевича юридические тонкости совершенно не волновали, и принцип древних римлян, согласно которому даже гибель мира не должна препятствовать торжеству юстиции, никак не фигурировал в жизненной программе коменданта Слудского района. Нет, по каким-то неизвестным Рысину причинам Тышкевич не хотел трогать именно этого человека.

Когда за Якубовым закрылась калитка, Рысин про-

шел в конец квартала, сел на лавочку у чьих-то ворот, решив для очистки совести подождать минут двадцать — вдруг еще выйдет. Через двадцать минут он продлил себе срок до одиннадцати, в одиннадцать — до половины двенадцатого. В двадцать пять минут двенадцатого Якубов опять появился на улице. Спрятавшись за углом, Рысин пропустил его вперед: по Сибирской дошли до Благородного собрания, свернули на Вознесенскую и добрались почти до самого тюремного сада. Здесь Якубов поднялся на крыльцо деревянного, оштукатуренного под камень особняка с мезонином. Островерхий мезонин напомнил Рысину часы с кукушкой. Вот-вот, казалось, распахнутся ставенки, и высунет головку железная птица, подобная той, что на стене его собственной комнаты отмечала механическим криком ход времени, распорядок трапез, неумолимый срок отхода ко сну.

Неспешная прогулка по вечернему городу успокоила, исчезло ощущение охоты, погони, слежки. Были улицы в белой окантовке тополиного пуха, светлое небо, тишина. Странно, когда три года назад Рысин выслеживал нарушившего супружеский обет адвоката Лончковского, он испытывал несравненно большее напряжение. Тогда он был один, а теперь за ним стояла власть. Это была ущербная власть, уходящая, но все же она существовала пока, и из этого следовало извлечь все возможные выгоды. Сейчас она давала ему чувство покоя и защиты. Он знал, что в самом скором времени придется, возможно, расплачиваться за эти удобства, но думал об этом спокойно, не так, как в тот день, когда ехал на велосипеде с дневником Свечникова за пазухой.

На двери виднелась вертушка звонка с надписью «Просим крутить», рядом — бронзовая табличка: «Д-р А. В. Федоров, внутренние болезни». Опять Федоров? Навряд ли в такое время Якубов пришел к нему лечиться. Оглядевшись, Рысин перемахнул через невысокую оградку палисадника, скользнул в кусты сирени под окнами. Угловое окно было открыто. Возле него, спиной к палисаднику стояла в комнате та самая барышня, которую два часа назад он видел в ресторане с капитаном Калугиным. В одной руке она держала дымящуюся папиросу, другой зябко зажимала у шеи концы накинутаго на плечи шерстяного платка с двойной белой каймою.

— Папа до сих пор не возвращался. — Ее чистый

голосок слышен был отчетливо. — Просто ума не приложу, куда он мог подеваться.

Рысин всегда безотчетно жалел женщин, когда они кутаются в платок или в шаль. Веяло от этой позы беззащитностью и женской домашней тревогой — болезнью ребенка, поздним возвращением мужа, вечерним одиночеством. Жена знала за ним такую слабость и пользовалась ею не без успеха.

Якубов находился в другом конце комнаты, Рысин его не видел. Лишь слышал голос, и то плохо. Вот он спросил о чем-то, и барышня ответила раздраженно:

— Это за папой не водится.

Чуть слышно скрипнула оградка, кто-то спрыгнул на землю неподалеку от Рысина и, не заметив его, метнулся к углу дома. В пятне света из окна Рысин успел разглядеть студенческую фуражку, очки, полоску усов. Трофимов? Приметы сходились. Пальцы осторожно нащупали в кармане рукоять револьвера, и подумалось вдруг, что они с Трофимовым не могли не встретиться, хотя опять же не было в этой догадке никакой логики. Если, как говорилось в циркуляре, полученном Тышкевичем из городской комендатуры, Трофимов прибыл в город для совершения диверсий, то что ему делать здесь? Или его тоже интересует украденная коллекция?

Рысина, который на корточках затаился в кустах сирени, он по-прежнему не замечал, стоял за углом дома, прижавшись к стене и прислушиваясь к разговору в комнате; кисть руки смутно белела на темной жести водостока.

Якубов наконец подошел к раскрытому окну, сорвал листик сирени и задумчиво помял его губами. Спросил:

— Когда едете?

— Еще не решили, — ответила барышня. — Смотря по обстоятельствам.

— В Омск?

— Тоже еще не решено. Может быть, в Новониколаевск. У папы там родственники.

Мысль о том, чтобы выскочить с револьвером, арестовать Трофимова прямо на месте, была, само собой, но Рысин тут же ее отогнал. Зачем? В конце концов, он занимается уголовными преступлениями, и если Трофимов не вор и не убийца, то ему, Рысину, до него и дела нет. Гораздо важнее понять, зачем пришел сюда Якубов.

— Да, — сказал тот, — совсем забыл! Мы же условились, что вещи я перевезу к себе на квартиру.

— А почему я ничего не знаю? — спросила барышня.

— Сам удивляюсь. Все обговорено еще вчера.

— Ты пришел сообщить мне об этом?

— Нет, я был уверен, что ты знаешь. Хотел кое о чем расспросить твоего родителя.

— Интересно, о чем?

— Узнать, нет ли новостей об убийстве Сережи Свечникова. Говорят, отец твой освидетельствовал тело вместе со следователем из комендатуры.

Трофимов убрал руку с водосточной трубы, дернулся к окну, и Рысину показалось, что о смерти Свечникова этот человек слышал сейчас впервые. А ведь они, судя по дневнику, были друзьями.

— Значит, я буду у тебя завтра утром, в восемь часов, — сказал Якубов.

— Выйдем вместе, — отозвалась барышня. — Может быть, папа у Лунцева засиделся.

— Тебя проводить?

— Не стоит, здесь рядом... Разве что до угла.

Погасли окна, хлопнула дверь; тонкий отзвук молоточка в звонке надолго повис над палисадником, промелькнули за оградкой и растаяли в темноте зеленый пиджак Якубова, платок с каймою на плечах его спутницы, и вскоре их голоса смолкли в конце квартала. А еще через четверть часа, незаметно следуя по пятам за своим нечаянным соседом, Рысин увидел, что тот остановился перед входом в научно-промышленный музей, начал шарить по карманам — видимо, искал ключ.

Подойдя ближе, Рысин тихо окликнул его:

— Трофимов!

Тот отскочил в сторону, выхватил револьвер.

— Пожалуйста, не стреляйте! — Рысин хотел было поднять руки вверх, но в последний момент, устыдившись этой позы, просто широко развел их в стороны. — Мне нужно с вами поговорить!

Трофимов молчал. Браунинг светлел в его руке — теперь Рысин видел, что это браунинг. Его собственный револьвер оттопыривал карман галифе.

Напряжение не передавалось телу, лишь обостряло взгляд. Он видел круги под глазами Трофимова, его покатым лобом с сильно выпирающими надбровными дугами, что согласно учению физиогномистов свидетельству-

ет о преобладании логического мышления. У самого Рысина таких надбровий, увь, не было. У него был прямой, гладкий, как у девицы, лоб, над которым волосы торчали козырьком.

— Кто вы такой? — спросил Трофимов.

— Нам нужно поговорить, — повторил Рысин. — Очень нужно.

— Что ж, прошу. — Трофимов указал дулом браунинга в темневший дверной проем.

Дверь уже отворилась, на пороге стояла худенькая стриженная девушка в платье с рюшами.

Колонна растянулась по улицам. Вспыхивают здесь и там огоньки папирос, на мгновение освещают лица и гаснут. Кучками идут офицеры. Знамя в чехле, шашки в ножнах, револьверы в кобурах. Молча идет колонна, лишь новые французские сапоги с длинными голенищами стучат по булыжнику еще не отлетевшими подковками — цонк, цонк.

Последний резерв генерала Зиневича, 4-й Енисейский полк движется из казарм на станцию.

Сзади гремят две подводы, груженные связками казачьих пик, приказано доставить их на фронт.

Кому? Зачем?

В типографии, где печатается газета «Освобождение России», виден свет, редактор Мурашов вычитывает гранки: «Сегодня мы выбираем отцов города на новое четырехлетие...»

Цонк, цонк, цонк!

Выплывает — вначале темное, потом светло-темное — полотнище флага над кровлей вокзала. Флаг поистрепался на ветру, тонкими лохмами посекся обрез, и, сливаясь с ними, летят по предутреннему небу длинные хвостатые облака.

Солдаты неохотно разбирают с подвод пики, несут к эшелону. Кто-то тащит их волоком, и древки постукивают по лестничным ступеням. Удивительно тосклив этот звук; молоденький юнкер, вслушиваясь в него, морщится как от зубной боли.

Командир полка идет к голове эшелона. Он идет быстро — левая рука на отлете, полевая сумка мотается у бедра. За спиной у него остается темный молчаливый город, о котором он не думает.

Что ему этот город!

Наверное, Геркулес наконец-то разрушил пещеру ветров, и всю ночь выло за окнами, шумели деревья, грохали на крышах железные листы. Но дождь так и не пошел, тучи разогнало; утром Костя проснулся от яркого света — небо было чистейшее, синее, в тополях слитно и весело гремел птичий хор.

Рысин ушел еще ночью, а Лера спала на банкетке, положив ноги на приставленный стул и укутавшись портьерой, которую Костя сорвал с окна. Спала тихо, как мышка. Будить ее было жалко, но пришлось все-таки разбудить.

— Не смотри на меня, я заспанная, — попросила она. — Иди, иди, я тебя сама позову.

Позвала через пять минут, уже причесанная. Вскипятили на спиртовке ячменный кофе, затем через черный ход вышли во двор.

— Ты уходишь, — сказала Лера, — а мне что делать?

— Ничего. Главное, Федорова не выпускай. Он проситься будет, но ты уж, пожалуйста, не выпускай.

Поколебавшись, Костя поцеловал ее в угол рта — быстро и неловко, по-гимназически, и зашагал в сторону Покровки. С Рысиным условились встретиться в половине восьмого на Вознесенской, возле тюремного сада.

Когда-то сад этот, предназначенный для прогулок заключенных, был обнесен забором, но потом перешел в ведение городских властей, и забор сломали. На верхушках лип суетились, вспархивая, вороны. Было тихо, ясно. Поджидая Рысина, Костя остановился у афишной тумбы, долго изучал рекламу ресторана Миллера: судак аврор, стерлядь по-новгородски... Отсюда хорошо виден был дом Федорова с резным надымником на трубе. Справа поднимались купола Вознесенской церкви, синие звезды лежали на их облупившейся позолоте.

Хотя с Рысиным проговорили до четырех часов утра, определенного плана действий в общем-то не было. После того как Лера сообщила, что Якубов и подпоручик, увезший ее экспонаты — одно лицо, можно было предположить, что и они, и коллекция Желоховцева находятся в доме у Федорова. И утром Якубов придет за ними. Вернее, не придет, а приедет, ибо в таком случае без лошади не обойтись.

Ночью Костя сразу хотел пойти в чулан, взять Федорова за грудки, тряхнуть как следует, но Рысин вос-

противился — тот, мол, ни в чем не виноват. И стал говорить о дневнике Сережи, о своих подозрениях, и все было убедительно, логично, спорить не приходилось; лишь одного Костя никак не мог понять: что за человек сам-то Рысин? Станный субъект. Явился один, без солдат, хотя отлично знал, с кем имеет дело. И в форме явился. Ненормальный он, что ли? Вполне мог пулю схлопотать еще до начала разговора. Но вместе с тем чуть ли не с первой минуты возникла почему-то симпатия к этому нелепому тонкошеему прапорщику в кургузой шинели, который, поднимаясь по лестнице под наведенным на него браунингом, важно рассуждал о физиогномике, о надбровных дугах. Надо же!

И потом, когда постепенно все выяснили, обо всем переговорили, Костя спросил с надеждой:

— Вы нам сочувствуете?

— Большевикам? Ни в коей мере, — отсекся Рысин. — Меня политика вообще не интересует.

— Тогда какого же черта вы пришли ко мне?

— Считаю своим долгом довести до конца уголовное дело, за которое взялся. Безразлично, с чьей помощью. Я убежден, что Свечникова убил Якубов, и хочу это доказать. Но как? Тышкевич строжайше запретил мне трогать Якубова. Я даже не могу его допросить, не то что арестовать. Значит, интересы мои и моего начальства прямо противоположны, а мои и ваши — совпадают. Ведь вы же любили Сережу. Или я не прав?

— Якубов — человек Калугина, — сказал Костя.

— Вот видите. А кто я против Калугина? Никто. Меня и слушать-то не станут.

— То есть вы задумали завтра утром взять Якубова с поличным. А поскольку я тоже слышал его разговор с дочерью Федорова и мог бы вам помешать, вы решили привлечь меня на свою сторону.

Рысин улыбнулся:

— Выходит, физиогномисты правы. Действительно, вы обладаете способностью логически смотреть на вещи.

— Тогда что же получается, господин прапорщик? — разозлился Костя. — Давайте разберемся. Хорошо, мы с вами заключаем временный союз. А дальше? Что будет с экспонатами, с коллекцией? После всего я должен отдать их вам, так, что ли?

— Мне они не нужны, — спокойно отвечал Рысин. — Я считаю, что по совести коллекцию следует вернуть Желоховцеву. Его право поступить с ней так, как

он сочтет необходимым. А музейные экспонаты я оставил бы хранительнице. Вам, барышня. — Церемонный кивок в сторону Леры. — Вы имеете полное право распорядиться ими по своему усмотрению. В таком случае все будет по совести.

— Заладили, — сказал Костя. — По совести, по совести.

— А как же еще? — искренне удивился Рысин. — По совести и по чести. Для меня, например, найти убийцу Свечникова — дело чести. Я читал его дневник. А вы с ним были друзья, он очень хорошо о вас пишет, очень нежно. Разве вы не хотите передать его убийцу в руки правосудия?

— Господи! Да какое правосудие вы имеете в виду? Ваше? Колчаковское?

— Правосудие всегда одно, — сказал Рысин. — Только законы разные.

Костя расхаживал по комнате, его браунинг лежал на банкетке в полуаршине от Рысина, тому достаточно было протянуть руку, но оба они забыли об этом браунинге. Рысин предлагал завтра утром на извозчике поехать за Якубовым, проследить, куда тот повезет свою поклажу, и на месте взять с поличным — хорошо бы, например, на вокзале, чтобы при свидетелях: тогда Якубова можно будет уличить в похищении казенного имущества, арестовать, а позднее, в ходе следствия, он, Рысин, берется доказать и обвинение в убийстве.

— За ребенка меня считаете? — усмехнулся Костя. — Коллекция в таком случае вернется к Желоховцеву — допустим, вернется, хотя я лично в этом сомневаюсь, но уж экспонаты свои Лера никак не получит, их отправят на восток. Давайте лучше сделаем вот как:ждемся, пока все ящики и мешки будут погружены, а после угоним лошадь вместе с грузом. И с Якубовым, если выйдет.

У Рысина вытянулось лицо:

— Но тогда я не смогу возбудить против него дело. Мне останется одно: прятаться вместе с вами до прихода красных.

Но Костю как раз такой вариант и устраивал.

— Увезем, и все, — повторил он. — Можно сюда, в музей. Или к вам домой.

— Нет, — быстро сказал Рысин, — ко мне нельзя. У меня жена строгая. Удобнее к моей тетке на Висим.

— На Висим так на Висим. А с Якубовым сами разберемся. Я, вообще-то, не верю, что он мог убить Сережу. Но если убил, — Костя взглянул на свой браунинг и закончил тихо, — то рука не дрогнет.

— Самосуд? — ужаснулся Рысин. — Нет, на это я никогда не соглашусь. Через мой труп.

— Хорошо, спрячем его до прихода наших. Вы же говорите, что правосудие всегда одно... У тетки на Висиме подпол есть?

— Есть, — сказал Рысин.

— Вот там и посидит. А то где гарантия, что Калугин не выцарапает у вас Якубова из-под стражи? В нынешней-то неразберихе... Придут наши, будем его судить. Это уже скоро.

На том и порешили, после чего было выработано соглашение в трех пунктах.

Первый: похищенные экспонаты передаются Лере.

Второй: серебряная коллекция возвращается Желоховцеву.

По третьему пункту, который принят был Рысиным с большой неохотой, Костя получал право оставить за собой в качестве вознаграждения блюдо шахиншаха Пероза.

— И все-таки, — на прощанье спросил Костя, — почему вы рискуете? Какая тут выгода для вас лично? Ведь есть же она!

— Тогда станете мне больше доверять? — усмехнулся Рысин. — Допустим, имеется корысть.

— Не понимаю, — признался Костя, — какая.

— Совесть будет чиста.

А вот Лера, та сразу прониклась к Рысину доверием, щедро подливала в стакан ячменную бурду и даже подарила на счастье маленького чугунного ягненка.

...Договаривались встретиться в половине восьмого, но Рысин опоздал минут на пятнадцать. Объяснил безмятежно:

— Проспал.

Он был в форме, тщательно выбрит, шею облегал свежий подворотничок; револьвер не оттягивал карман, сидел в кобуре.

— Якубов, я думаю, при оружии, — предупредил Костя.

— Надеюсь. Я бы не прочь взглянуть на его пушку. — Рысин вынул из бумажника револьверную пулю, положил на ладонь. — Этой пулей был убит Свечников.

Костя взял ее, покрутил в пальцах:

— Кольт?

Кивнув, Рысин убрал пулю обратно в бумажник, сунул его в карман, огляделся и вдруг махнул рукой в сторону церкви:

— Смотрите!

Вдалеке, на фоне низкой и белой церковной ограды показалась извозчичья пролетка.

В это утро, не вылезая из постели, Желоховцев протянул руку к стоявшей в изголовье кровати этажерке с книгами и взял томик Токвиля — «Старый порядок и революция». Когда-то они с Сережей говорили об этой книге, потом разговор забылся, и лишь вчера, вновь пролистывая его дневник, Желоховцев о нем вспомнил.

«Токвиль, — записал Сережа, — стр. 188. Беседа с Гр. Ан. о французской революции». Запись была помечена 28 февраля 1917 года.

Он открыл указанную страницу: «Не думаю, чтобы истинная любовь к свободе когда-либо порождалась одним лишь зрелищем доставляемых ею материальных благ, потому что это зрелище нередко затемняется. Несомненно, что с течением времени свобода умеющим ее сохранить всегда дает довольство, благосостояние, а часто и богатство. Но бывают периоды, когда она временно нарушает пользование этими благами. Бывают и такие моменты, когда один деспотизм способен доставить мимолетное пользование ими. Люди, ценящие в свободе только эти блага, никогда не могли удержать ее надолго. Что во все времена так сильно привязывало к ней сердца некоторых людей, это ее непосредственные преимущества, ее собственные прелести, независимо от приносимых ею благодетей. Кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства...»

Последняя фраза была подчеркнута.

Что ж, если так, то он, Григорий Анемподистович Желоховцев, создан для рабства.

— Гришенька, вставай! — раздался из кухни властный голос Франциски Андреевны. — Каша остынет.

Желоховцев отложил книгу, сел в постели и вдруг услышал слабое дребезжанье оконного стекла. Он на шарил шлепанцы и подошел к окну. На улице было пустынно, ясно, даже малейший ветерок не шевелил листву на деревьях, но верхнее треснутое стекло продолжало

дребезжать все сильнее. Желоховцев прижал его ладонью, и тогда отчетливо стал различим на западе далекий неровный гул.

Он не знал, что еще полчаса назад к начальнику вокзальной охраны влетел телеграфист. В руках у него извивалась змейка телеграфной ленты. Точки и тире на ней извещали: ночью красный бронепоезд «Марат», вооруженный тяжелыми морскими орудиями, прорвался сквозь заградительные посты и ведет бой на расстоянии тридцати верст от города.

— Значит, так, — сказал Рысин, не обращая внимания на гул канонады. — Я пойду вперед и задержусь возле дома Федоровых. Вы остаетесь. Но на месте тоже не стойте, идите потихоньку вдоль заборов. Смотрите только, чтобы Якубов вас не узнал. Я думаю, ящики он будет выносить вместе с извозчиком. Когда кончат, подниму руку. Раньше не бегите. Лера тогда сколько ящиков насчитала?

— Три. И два мешка.

На всякий случай Рысин отстегнул металлическую пуговку на кобуре, только сегодня утром пришитую женой вместо сломанной застёжки, и медленно пошел по улице. Пока шел, из ворот федоровского дома показались двое: один в зеленом пиджаке, простоволосый, другой бородатый, в картузе. Они вынесли ящик, поставили его в пролетку. Зеленый пиджак вновь исчез в воротах, а извозчик замешкался, пристраивая ящик так, чтобы углами не ободрало кожаное сиденье. Рысин с болезненной отчетливостью видел его склоненную спину, пуговку на картузе — недавнего спокойствия как не бывало. Затем извозчик тоже направился к воротам, а на улице появилась Лиза Федорова.

Рысин пошел медленнее.

Вынесли второй ящик, поставили рядом с первым. Одна из лошадей всхрапнула, попятилась, натягивая обмотанные вокруг штакетины вожжи; ее, видимо, тревожила канонада.

Третий ящик не выносили долго — Рысин уже начал волноваться, но наконец принесли и ушли опять.

Федоров, которого они с Костей на исходе ночи все-таки решили допросить, клялся и божился, будто знать ничего не знает и не видал у себя в доме никаких ящиков. Соврал или нет?

Рысин остановился у пролетки, спросил со всей доступной ему в этот момент галантностью:

— На восток, барышня?

— Куда еще? — сказала Лиза. — Молчали бы уж, защитнички!

Четвертый ящик навалили на сиденье. Рысин удивился: почему четыре? Вздохнул сочувственно:

— Ничего не поделаешь... Надо уезжать.

Извозчик похлопал по ящику:

— Руки аж оттянуло. Прибавить бы надо против уговору.

Якубов подозрительно покосился на Рысина, но промолчал. Гул на западе начал стихать.

— Слава-те, господи, — перекрестился извозчик.

Давая условленный знак, Рысин поднял руку вверх, ладонью повертел туда-сюда, словно определяя направление ветра.

— Ветер западный, — сообщил он. — Может, и в самом деле отогнали.

Якубов ушел во двор, крикнул оттуда:

— Лизочек, а где мешки?

— Все переложено в ящики, — сказала Лиза.

Рысин посмотрел в сторону тюремного сада — Костя был уже совсем близко.

— Вон как нагрузились-то, барышня, — обиженно говорил извозчик, отвязывая вожжи, — все сиденье дорогой обдерем. Прибавить бы надо против уговору!

— Лизочек, посуда тоже в ящиках? — Якубов помедлил у ворот.

— Разумеется.

Извозчик залез на козлы:

— Ну, поехали, что ль?

Якубов попробовал отодрать рейки верхнего ящика. Рейки не поддавались. Осторожно вытягивая револьвер, Рысин шагнул к нему:

— Ваше оружие!

Якубов оторопело уставился на него, потом перевел взгляд на револьвер, который Рысин прижимал к под реберью, и тут же овладел собой:

— Это недоразумение. Угодно взглянуть мои документы?

— Ваше оружие, — повторил Рысин.

Якубов оглянулся, увидел подбегавшего Костю, и разом его смуглое лицо сделалось матово-желтым.

Пригибаясь, он метнулся к воротам, но Костя успел схватить его за руку. И в эту минуту в конце улицы показался патруль — двое солдат и офицер. Костя вырвал браунинг, прицелился в офицера.

— Зачем? Не надо! — крикнул Рысин.

Но тот уже нажал спуск. Промазал. Офицер что-то прокричал неразборчиво и зигзагами побежал вперед, солдаты сбросили с плеч винтовки. Плоский фонтанчик пыли косо брызнул возле колес.

Рысин подтолкнул Якубова к пролетке:

— Лезьте! Живо!

Патрульные, прижавшись к забору, открыли пальбу, одна из пуль расщепила верхушку штакетины. Извозчик, даже не пытаясь укрыться, оцепенело сидел на козлах; Лиза с воплем кинулась к дому, и сразу распахнулось окно — то самое, под которым ночью Рысин сидел в кустах сирени, отлетела занавеска. Из комнаты хлестнул выстрел, пуля впиалась в кожаное сиденье пролетки. Извозчик, опомнившись наконец, заорал, и лошади понесли. Рысин бросился к пролетке, успел заскочить в нее, вырвал у извозчика вожжи, но лошадей остановить не сумел.

Обернувшись, чувствуя, что кричит, не слыша собственного крика. Из окна еще дважды громынуло. Костя схватился за плечо, а Якубов, не успев добежать до ворот, вдруг изломился, словно его ударили в поясницу, запрокинулся назад, прижимая руки к горлу.

Проводив Костю, Лера вернулась в музей, заперла дверь. Детский стишок вертелся в голове:

Вот идет Петруша, славный трубочист.
Личиком он черен, а душою чист.
Нечего бояться его черноты,
Лучше опасаться большой красоты...

Она поднялась на второй этаж, постояла у окна.

Красота нередко к пагубе ведет,
А его метелка от огня спасет!

Этот стишок у них с мамой был вроде семейного гимна; его еще покойный отец любил распевать, а теперь во всем свете, наверное, одна Лера и помнила шесть нескладных строчек, бог весть почему полюбившихся когда-то ее родителям. Кому нужно помнить такую назидательную чепуху? Тем более сейчас. А вот она

его на всю жизнь запомнила, этот стишок, и детям своим велит выучить, если будут дети.

Лера открыла шкафчик, где лежали тома «Пермской летописи», подшивки журналов «Земская неделя» и «Фотограф-любитель», взяла с полки маленькую деревянную трубку с обломанным чубуком, вырезанную в виде фантастической птицы с вислоухой собачьей головой и чешуйчатым, раздвоенным рыбьим хвостом — когда-то ее случайно обнаружил Костя, роясь в музейном хламе. Он считал, что трубка изображает божество древних персов, это Сэнмурв-Паскудж — прообраз трех стихий: земли, неба и воды. Такое же изображение было на одном из блюд коллекции Желоховцева, и Косте хотелось думать, что трубку эту вырезали уже здесь, на Урале, по рисункам на серебряной посуде. Никого она в музее не интересовала и даже не значилась в каталогах, но отдать ее в университетскую коллекцию, о чем просил Костя, Лера отказалась. Заявила, что нет, не отдаст ни в коем случае, хотя вразумительно объяснить причину своего упрямства не могла. Как объяснишь? Просто она сразу для себя решила, что эта трубка и есть та самая вещь, которая будет напоминать о Косте. Сам-то он ничего не догадался подарить — ни колечка, ни брошки грошовой. А ей, как всякой женщине, нужен был какой-то залог.

Лера потрогала остро обломанный чубук, положила трубку на место и подумала про Федорова. Ночью тот спал и не слышал, как хлопнула дверь, когда после ресторана, обнаружив, что Кости у Андрея нет, она прибежала в музей. И хорошо, что не слышал. А то вполне могла бы и выпустить его по дурости.

Она сошла вниз, постучала в дверь чуланчика:

— Алексей Васильевич!

— Немедленно выпустите меня отсюда! — воззвал Федоров. — Сегодня состоятся выборы в городскую думу. Мне совершенно необходимо в них участвовать, я член комиссии!

— Не могу... Честное слово, не могу.

— Вот уж не думал, Валерия Павловна, что вы заодно с этими негодяями. А я-то, старый дурак, бегал, искал. Эк вы меня надули! И не стыдно?

— Честное слово, экспонаты украли.

— Ха, — сказал Федоров, — украли! И ваши приятели еще имеют наглость утверждать, будто все похищенное находится у меня же дома. Это форменное из-

девательство! Выпустите меня! — снова закричал он и ударил кулаком в дверь. — Я протестую!

— Алексей Васильевич, миленький, не могу! Вы есть хотите?

— Хочу, — смягчился Федоров.

— Пожалуйста, потерпите немножко. Ладно? Я чуть позже принесу.

Он шумно вздохнул:

— По крайней мере, скажите, что мне грозит.

— Ровным счетом ничего.

— Голубушка, — жалобно попросил Федоров, — вы хоть Лизу-то известите, что я жив пока. Лизочка ведь уже с ума сходит! Не хотите говорить правду, скажите, будто меня срочно на вскрытие командировали... Вы ведь знаете Лизочку, сходите к ней!

— Вечером схожу, — пообещала Лера.

— Вечером? — опечалился Федоров. — А до вечера мне тут сидеть?

Лера хотела честно сказать, что ему в чуланчике придется еще несколько дней просидеть, до прихода красных. Она уже совсем собралась с духом, чтобы это сказать, как вдруг услышала отдаленный звук выстрела. Потом еще и еще. Стреляли где-то в районе Вознесенской церкви.

Лошади несли вперед, прямо на патруль. Извозчик, что-то невнятно бормоча, стал хвататься за вожжи, и Рысин толкнул его локтем:

— Прыгай... Убьют!

Тот покорно вывалился на обочину.

Шарахнулся в сторону офицер, передний солдатик медленно повел винтовку; боек клюнул капсюль, но мгновением раньше пролетка подскочила на ухабе, Рысин даже выстрела не услышал. Теряя ногами днище, он завалился на ящики, пуля чиркнула рядом, оставила рваную щербинку на вожжах возле самых его рук. Но вожжи остались целы. Надвинулась, выросла церковь, разваливаясь, будто гармоника, потом ушла вбок; заборы приобрели объем, а дома и деревья стали плоскими, как театральные декорации. Изламываясь, они пролетали мимо с короткими легкими хлопками. Литые резиновые шины скользили в уличной пыли, с грохотом подпрыгивали ящики. Он свернул на Соли-

камскую, промчался три квартала вниз, к Каме, и выехал на Покровку.

Дома он затащил ящики в ограду, на ходу бросил жене:

— Я скоро, Маша!

Снова вскочил в пролетку и погнал лошадей под угор, в сторону завода Лесснера. Погони не было. Проехав несколько кварталов, остановил лошадей в пустынном проулке у железнодорожной насыпи. Огляделся — никого. В ближайших двух дворах огороды заросли лебедой, окна в домах заколочены. Рысин осмотрел пролетку — не обронил ли чего, и взгляд упал на дырку от пули. Из темной, потрескавшейся кожи сиденья торчал клочок ватина. Спрыгнув на землю, он достал складной нож, вспорол сиденье и поковырял лезвием внутри. Вытащил светлую, недеформированную пулю, сунул в карман.

Вернувшись, Рысин заволок ящики в дровяник, взял гвоздодер-бантик и осторожно поддел верхние рейки самого большого ящика. Гвозди отошли с протяжным скрипом, сверху лежала тонкая неровная плита известняка, какими хорошие хозяева выкладывают обыкновенно дорожки в огородах. Отшвырнул ее в сторону — плита разлетелась на куски. Под ней обнаружился всякий мусор — деревянные обрезки, стружка, ветошь. Раскидав все это по дровянику, он вскрыл другой ящик, третий — то же самое. В четвертом вместе с разным хламом лежали ржавый четырехрогий якорек и обломок багетовой рамы.

Чертыхнувшись, он запустил якорьком в стену. Два рога мягко впились в доски, якорек прилип к стене.

Рысин прошагал в комнаты, лег на незастланную постель лицом в подушку. Вошла жена, спросила:

— Чаю хочешь?

Рысин помотал головой.

— Почка болит? — встревожилась жена.

— Нет, — в подушку проговорил Рысин. — Не болит.

Она присела у него в ногах, попробовала стащить сапог. Не смогла и оставила так.

— А я вчера на рынке была. Бог знает, что делается! Неделю назад галоши по сто двадцать рублей торговали. Я и не покупала. Откуда у нас такие деньги? Все говорят, в закупсбыте дешевле. Да только где они там, галоши-то? А вчера прихожу, смотрю — галоши

уже по сорок рублей. И соль подешевела. И хлеб... С чего бы?

— А с того, — сказал Рысин, — что красные скоро город возьмут.

— Ну вот, — расстроилась жена. — А ты и денег не успел получить. Работал, работал, бегал чего-то по ночам, а денег не получишь. Жить-то как будем?

— Маша, — тихо попросил Рысин, — уйди, пожалуйста. Мне подумать надо.

Она обиделась:

— Вот и всегда так! Не посоветуешься, не расскажешь ничего. Держишь, ровно прислугу!

— Ну что ты, Маша. — Рысин погладил жену по руке. — Перестань.

— А я тебе подарок на рынке купила...

— Галоши мне не нужны! — отрубил он металлическим голосом.

— Галоши потом купим, лето на дворе... Ты посмотри, посмотри, что я тебе купила!

Нехотя Рысин оторвал голову от подушки — жена держала в руке металлический футлярчик, выгнутый наподобие чертежного лекала. Загадочно улыбаясь, ногомком вывернула из него большую лупу в металлическом же ободке, а с другого конца — вторую, поменьше. Похвалилась:

— Тридцать рублей просили, а я за двадцать пять торговала!

— Зачем, Маша? У меня же есть.

— Так ведь старая-то твоя сломалась.

— Кто ж ее сломал? — удивился Рысин.

Он впервые об этом слышал.

— Я и сломала третьего дня...

Рысин ткнул пальцем в белую бязь наволоки — на подушке образовалась ямка. В эту ямку он поместил пулю, извлеченную из сиденья пролетки, рядом положил другую, ту, которой убит был Свечников.

Пули оказались совершенно одинаковыми. Под лупой они дрогнули, поплыли, растекаясь в стекле, потом замерли, и он вспомнил: «Убивает не пуля, убивает предназначение».

Первая пуля была предназначена ему, Рысину.

— Так мне собираться, что ли? — робко спросила жена.

— Куда еще?

— Тебе лучше знать. Говорят, у красных впереди

мадьяры идут. Режут кого ни попало. Ты погляди, что пишут. — Она взяла газету «Освобождение России», которую аккуратно покупала раз в неделю, по пятницам, когда в ней печатался «Календарь садовода и птичницы», прочитала: — «Мадьярские части учиняют над пленными и мирным населением небывалые жестокости. Как сообщают красные перебежчики, в Глазове четырнадцать горожан, в том числе директор реального училища и преподаватели, а также пленные офицеры были распилены на куски двуручными пилами под пение «Интернационала»...

— Чепуха все это. — Рысин встал. — Никуда мы не поедем!

Переодевшись в штатское, он взял справочную книгу «Губернский город Пермь и окрестности», нашел в конце ее адрес зубного техника Лунцева и выписал его в книжечку. Жена подошла сзади, положила руки ему на плечи:

— Я тебя спросить хочу... Обещайся только, что честно скажешь! А не захочешь, вовсе ничего не говори.

— Ну? — Рысин повернулся к ней.

— Ты сегодня ночью где был? Поди, у бабы какой?

— Выдумаешь тоже. — Он погладил ее по волосам, поцеловал в пробор. — Ты, Маша, не думай, чего нет... Не выдумывай. Понятно?

— Понятно. — Она всхлипнула.

— Вот и не думай ничего. — Рысин еще раз ее поцеловал. — А за подарок спасибо.

Лунцев провел его в гостиную, поинтересовался:

— Вы по объявлению или по рекомендации?

— Я из военной комендатуры, — сказал Рысин. — Вот мои документы.

Лунцев заволновался, но документы смотреть не стал — видно, побоялся оскорбить визитера недоверием. Замахал руками:

— Если вы по поводу Трофимова, то я тут совершенно ни при чем! Стечение обстоятельств. Откуда мне было знать, что его ищут? На лбу, знаете, не написано...

— Успокойтесь, — перебил Рысин, — я по другому делу. Скажите, вчера поздно вечером к вам заходила мадемуазель Федорова?

— Алексея Васильевича дочка?

— Она самая.
— Нет, не заходила.
— Вы уверены?
— Я весь вечер был дома.
— Может быть, мне стоит на всякий случай расспросить прислугу?

Лунцев обиделся:

— Как вам будет угодно... Ксенька!

Он направился к двери, но Рысин остановил его:

— Не нужно... Прошу прощения.

Вышел на залитую солнцем улицу, кликнул извозчика и велел ехать к университету. Перед университетским подъездом присел в холодке на лавочку под липами, достал записную книжку; пристроив ее на колене, написал вверху страницы: «Якубов». Остальных действующих лиц обозначил начальными буквами их фамилий, а Лизу Федорову — двумя буквами: «Л. Ф.». Все буквы он расположил полукругом, на некотором расстоянии друг от друга, и обвел аккуратными кружочками. Затем, используя стрелки и условные значки, которые тут же и придумал, стал чертить схему. Прямоугольник символизировал в ней музейные экспонаты, треугольник — коллекцию Желоховцева, три маленьких кругляшка — монеты, полученные Федоровым от дочери; сплошные стрелки означали уверенность, пунктирные — вероятность, а стрелки, состоявшие из точек и тире, — вероятность на грани с невозможностью. Они шли рядом, пересекались, даты событий и условные значки ложились на страницу связующими звеньями, и скоро весь чертеж начал напоминать схему крупного железнодорожного узла.

Рысин отстранился, посмотрел на дело рук своих с видимым удовольствием.

В его чертеже была та логика обстоятельств, которую все время затемняли, а то и вовсе скрывали всякие житейские мелочи. Летящий над городом тополиный пух, гудки уходящих на восток эшелонов и орудийный гул на западе, портрет мертвого императора, платок с двойной каймою на плечах у Лизы, синяя — почему именно синяя? — тетрадь Сережи Свечникова и многое другое, что трудно было даже выразить словами, весь этот невнятный и вместе с тем странно значительный язык жизни уступил место ясному, безукоснительно строгому коду геометрических фигур, цифр и стрелок.

Особенно много стрелок — сплошных и пунктир-

ных — сходилось к человеку, обозначенному на схеме буквой «икс».

Убрав книжечку в карман, где лежал подаренный Лерой чугунный ягненок — теплый и уже какой-то родной на ощупь, Рысин двинулся к главному университетскому подъезду, возле которого и нашел Желоховцева. Тот вяло распоряжался погрузкой книг на подводы. Погрузка книг — дело нехитрое, особых указаний не требующее, и видно было, что Желоховцев занялся им скорее от тоски, чем по необходимости. Заняться-то занялся, но и отдался этому делу всей душой тоже не может, томится.

Вдвоем прошли в замусоренный вестибюль, по которому сновали студенты и служащие с пачками бумаг, связками книг, ящиками, кулями, чучелами и физическими приборами. Офицерский лазарет уже эвакуировали, сквозь раскрытые двери виднелась груда грязного белья и бурых бинтов на полу, голые продавленные койки. Швейцар стоял у окна, важно приставив к глазу старинную подзорную трубу.

— Едете? — по-светски спросил Рысин, не зная, с чего начать разговор.

Вопрос был пустой, и Желоховцев ответил официально:

— Эвакуация университета решена давно. Вчера вечером ректор сделал окончательные распоряжения.

— И куда же?

— Пока в Томск. — Желоховцев смотрел выжидающе.

— Пойдемте там поговорим, — предложил Рысин.

В опустевшем лазарете сели на койки друг против друга, провисшие панцирные сетки со звоном опустились под ними почти до самого пола.

— Значит, едете... А как же коллекция?

Желоховцев пожал плечами:

— Мои научные интересы ею не ограничиваются.

— Я понимаю, — покивал Рысин. — Кругозор ученого, так сказать...

— Послушайте, зачем вы пришли? У вас есть сообщить мне что-то новое?

— Вы так об этом спрашиваете, будто не вы, а я главное заинтересованное лицо.

Сказал и понял, что отчасти так оно и есть: слишком многое слилось для него в этом деле, которое уже и делом-то перестало быть, стало жизнью, судьбой.

— Уж сделайте милость, — медленно проговорил Желоховцев, — простите меня, маловера, но я не верю, что вы отыщете коллекцию... И я не хочу знать, кто убил Сережу, этим его не воскресишь. Я уезжаю.

Рысин промолчал. В этом неустойчивом дурацком мире он, бывший частный сыщик с ничтожной практикой, недоучка и неудачник, представлял собой правосудие. Не убогое правосудие Тышкевича, а настоящее, то, о котором во все времена мечтают честные люди — неподкупное, грозное и не зависящее ни от какой земной власти. И он имел на это право, потому что все вокруг свои интересы преследовали — корыстные или достойные уважения, но свои, а ему, Рысину, одному за всех приходилось думать о справедливости.

— Григорий Анемподистович, вы уезжаете, подчиняясь приказу ректора или по внутреннему убеждению?

— Я мог бы не отвечать на ваш, скажем так, деликатный вопрос. Но отвечаю... Видите ли, я слишком прочно связан с университетом. Без него я не мыслю себе жизни и работы. Это первое. Во-вторых, красные как сила не внушают мне особого доверия. Хотя, должен признать, и среди них попадаются порядочные люди.

— Например, Трофимов.

— Например, он. — Желоховцев вызывающе взглянул на собеседника. — Но, увы, это не имеет значения. Я лично не знаю ни одной политической партии, которая бы на все сто процентов состояла из подлецов. Или, напротив, альтруистов.

— Трофимов сегодня арестован...

— Я тут ни при чем, — быстро сказал Желоховцев. — Что ему грозит?

— А то сами не знаете!

— Господи! — Желоховцев прикрыл глаза. — Сережа, теперь Костя... Бедные мальчики...

— Григорий Анемподистович, вы можете ему помочь, — сказал Рысин, понимая уже, что и у него самого появилась теперь в этом деле своя корысть: он хотел спасти Костю.

— Каким образом?

— А когда вы должны уехать?

— Завтра вечером.

— Отлично! Тогда у нас еще есть время.

— Минуточку! — подозрительно сощурился Желоховцев. — Какое вам, прапорщик, дело до Кости Трофимова? Да, я не скрываю своего сочувствия к нему,

он мой бывший ученик. Любимый ученик. Но вам-то что, расстреляют его или нет?

— Вы думаете, что это провокация? Нет, поверьте мне! Я действительно хочу спасти Трофимова.

— Будьте добры объяснить, почему.

— Трудно объяснить... Я столкнулся с ним случайно, во время поисков нашей коллекции. Идеи, которые он исповедует, меня не интересуют, но он, безусловно, честный человек. И в его глазах я тоже хочу остаться честным человеком...

Ведь Костя мог подумать, что патруль на Вознесенской появился не случайно, а заранее направлен был туда им, Рысиным, и эта мысль, возникшая еще утром, не давала покоя, от нее кисло делалось во рту. Но как объяснишь? Он заерзал на койке, унылым звоном отозвалась продавленная сетка.

— Честное слово, Григорий Анемподистович! Я просто хочу ему помочь...

— Не продолжайте, — перебил Желоховцев. — Кажется, я вас понял. Решили к приходу красных заработать себе политический капитал?

— Мой капитал всегда при мне, — сказал Рысин.

— Любопытно. Что же это за капитал?

— Чистая совесть.

Желоховцев усмехнулся:

— А может быть, вы, как и Трофимов, хотите передать мою коллекцию большевикам?

— Ни в коем случае. Наши с вами отношения не дают мне права на это.

— Весьма признателен.

— Боюсь, вы неправильно меня поняли. Вы мой клиент, что накладывает на меня определенные обязательства. Но по совести я бы отдал коллекцию Трофимову. Для него она не просто тема очередной научной работы.

— Очередной? — вспыхнул Желоховцев. — Вижу, напрасно я пытался что-то вам растолковать. Сказано: не мечите... И вообще, почему вы говорите со мной таким тоном, будто блюдо шахиншаха Пероза лежит у вас за пазухой?

— Нет, — сказал Рысин. — К сожалению, пока не лежит. Но я, кажется, знаю человека, у которого оно находится.

— Это Якубов?

— Нет.

— Кто же?

— Наберитесь терпения до вечера.

— Перестаньте морочить мне голову! — вскакивая, заорал Желоховцев. — Говорите прямо: вы нашли коллекцию?

— Я нашел человека, ее присвоившего.

— Прекратите немедленно! Мне надоели ваши дурацкие недомолвки! — кричал Желоховцев, грозя Рысину пальцем. — Я уверен, это Якубов! Он темный человек, я никогда ему не доверял. Какого черта вы играете со мной в молчанку? Вы знаете, что с тех пор, как пропала коллекция, Якубов ни разу не появился в университете? А Свечников тут совершенно ни при чем. Слышите, прапорщик? Ваши подозрения гроша ломаного не стоят!

— Сядьте, Григорий Анемподистович, — спокойно сказал Рысин. — Я понимаю, вам не хочется думать, что причина смерти Свечникова — его любовь к вам. Но я не стану вас успокаивать. Шкаф отодвигал левша, о чем я вам говорил, а почерк, которым написал дневник, — это почерк левши с характерным левым наклоном. Коллекцию украл Свечников, а мотивы вам известны...

Желоховцев провел по лицу ладонью, сел. То, что он не замечал за самым преданным своим учеником такой явной особенности, можно было объяснить рассеянностью, но можно — и равнодушием; Рысин хотел сказать об этом прямо, но передумал. Разговор и без того кренился в нужную сторону: Желоховцев сам должен был понять, что, если он откажется помочь Косте, вина за его гибель тоже будет лежать на нем. И он это понял. Спросил:

— Что я должен сделать?

— Пойти со мной к помощнику военного коменданта города капитану Калугину, выслушать нашу беседу и подтвердить известные вам факты. Только и всего.

— К Калугину? — переспросил Желоховцев.

— Да. Вы с ним знакомы?

— Он несколько раз бывал в университете.

— Вот и хорошо. — Рысин поднялся. — Встретимся в восемь часов. В ресторане Миллера.

— Почему там? — удивился Желоховцев.

— Наш разговор удобнее будет вести во внеслужебной обстановке.

Весь день Лера боялась выйти из музея даже на пять минут: вдруг придет Костя? Накануне условились встретиться с Андреем у Миллера в половине восьмого, но она решила никуда не ходить. С того самого момента, как услышала выстрелы, ее не оставляло чувство свершившегося несчастья. Всячески успокаивала себя, пыталась читать, потом взялась прибрать комнаты — напрасно; день длился бесконечно, как в детстве, и было вместе с тем мучительное, до тошноты, ощущение стремительно уходящего времени, в котором она могла что-то сделать и не сделала.

Ближе к вечеру вспомнила про Лизу Федорову: вот у кого можно обо всем разузнать!

Лера пулей сгоняла в соседнюю лавку, на последние деньги купила хлеба, конской колбасы, налила в бутылку теплого кофе, затем заставила Федорова торжественно поклясться здоровьем дочери, что не сделает попытки убежать, велела ему на всякий случай отойти в дальний угол чуланчика; прислушиваясь к шагам, на мгновение отворила дверь, положила еду на пол у порога и вновь задвинула засов.

Федоров честно выполнил обещанное.

— Сейчас иду к вам домой, — сказала Лера. — Все передам Лизе, как вы просили.

— Буду очень обязан, голубушка, — вполне миролюбиво откликнулся Федоров.

...Лизочек сидела на софе, курила.

— Ты-ы? — изумленно протянула она, увидев Леру. — Вот это сюрпри-из!

— Я на минуточку, — смутилась Лера. — Алексей Васильевич просил меня...

— Да ты садись. Ведь сто лет не видались! В одном городе живем, а повидаться некогда.

— Алексей Васильевич просил передать, чтобы ты не беспокоилась. Его срочно командировали на вскрытие в Верхние Муллы. Дело спешное, и не успел тебя предупредить. Меня он встретил по дороге. Но я, свинья такая, закрутилась вчера, забыла. Ты уж извини. — Все это Лера выпалила единым духом, потому что врать неловко было даже по поручению самого Федорова, и лишь потом присела на софу рядом с Лизочком.

— Спасибо. — Та равнодушно кивнула. — Бедный папочка, он всегда чересчур серьезно относился к своим служебным обязанностям. В нынешние времена это осо-

бенно смешно... Небось и в ваши музейные дела мешался почему зря?

Лере стало обидно за Федорова.

— Нет, — искренне возразила она. — Алексей Васильевич бывал нам очень полезен.

— Так я тебе и поверила... Ладно, расскажи лучше, как живешь. Замуж не вышла? — Лизочек засмеялась, картинно откинув завитую головку. — Обычный разговор двух бывших гимназисток после разлуки, да? Между прочим, видела тебя вчера у Миллера с каким-то мужчиной. Довольно симпатичный, мне такие нравятся. Одет, правда, неважно. Хотя сейчас штатскому трудно хорошо одеться... Замуж взять обещает?

— Да я сама не хочу, — сказала Лера.

— И правильно. Куда торопиться? Ты Верку Лебедеву помнишь? Она еще на словесности Пушкина декламировала: «И мальчики кровавые в зубах...» Помнишь? Ужасная дура. Но фигура! Даная. Ты ее голую когда-нибудь видела? Богиня греческая, ей-богу. Я думала, она с такой фигурой за генерала выйдет. А вышла за купца Калмыкова. Представляешь?

— Это рыбой который торгует?

— Ну да, вдовец. А Наташу Корниенко помнишь? — Лизочек достала еще одну папиросу, прикурила от первой. — Знаю, что вредно для горла, но не могу удержаться... Нет, нам надо непременно всем встретиться. Посидим, повспоминаем. Просто преступление, что мы растеряли друг друга. Столько есть чего вспомнить! — Она взяла со стола большое серебряное блюдо, задумчиво стряхнула на него пепел. — Впрочем, что я говорю? Какие теперь встречи... Ты когда едешь?

— Еще не знаю.

— Поторопись, поторопись. Говорят, билет в классном вагоне до Омска стоит уже пять тысяч.

Лизочек поставила блюдо на софу, Лера отодвинулась, чтобы невзначай не опрокинуть его, и вдруг отчетливо увидела под сероватым налетом пепла изображение лежащего Сэнмурв-Паскуджа — собачья голова, птичье туловище, рыбий хвост. Деланно-равнодушным голосом спросила:

— Что у вас тут за стрельба была сегодня утром?

— Ой, не говори! Страху натерпелась! Возле самого нашего дома красного шпиона арестовали. Один в офицерской форме был, тот ускакал на лошади. А другого

взяли... Ты уже пошла? Куда ты спешишь? Ведь только разговорились... Да куда ты?

В прихожей, за дверью, лежали какие-то предметы, накрытые одеялом. Рядом стояли два мешка, в одном из них под натянутой мешковиной Лера угадала знакомые очертания малахитового канделябра.

Но теперь наплевать ей было на этот канделябр. Какой еще канделябр, если Костя арестован?

— Не уходи, — попросила Лизочек. — Ну пожалуйста, посиди хоть четверть часика!

Не отвечая, Лера выскочила на крыльцо и бегом припустила по улице в сторону номеров Миллера. У нее оставалась одна только надежда — Андрей. Больше ей не на кого было надеяться.

По Сибирской, мимо бывшего губернаторского особняка, мимо Покровской церкви, откуда как раз вышел отец Геннадий и, узнав Леру, осуждающе покачал головой вслед своей нерадивой прихожанке, она бежала, прижимая к груди сумочку; стишок про Петрушу, славного трубочиста, чья метелка от огня спасет, мельтешил в памяти бессмысленно и неотвязно.

В общей камере губернской тюрьмы, куда Костю привели после предварительного допроса, сидело человек тридцать, в большинстве пленные красноармейцы. Ему освободили место в углу, но никто ни о чем не расспрашивал, и он был рад этому. Не то что говорить, думать не хотелось. В голове было пусто, раненое плечо горело, знобкий жар от него разливался по телу. Часа через два рядом присел мужик, начал рассказывать:

— Сам-от я из Драчева. Не слыхал? Драчево наша деревня, от Троицы четыре версты...

Голос его словно доносился из другого конца камеры, хотя бубнил он над самым ухом.

— А прошлую неделю, — рассказывал мужик свою историю, которую все в камере, видимо, уже слышали не первый раз, — объявляются у нас казаки. Ну, понятно, все хватать. Живность, одежду какую ни на есть. Курей там. Короче, реквизиция. Но уж без квитанций, так. А у Ефима Кошурникова ничего не взяли. У него в избе царский портрет висел, они поглядели и не взяли нисколько ничего. Ну, бабы и раззвонили по деревне. Моя-то чистое колоколо, ее не переслушаешь. Ноет и ноет: мол, доставай тоже. А и все не дураки. Казаки в одну

избу зашли — портрет. В другую — опять портрет. Поначалу пропустили избы две-три, а как до моей добрались, осерчали. «Ты зачем, — говорят, — падла, вчетверо сложенного государя на стенку повесил?» А я его из сундука достал... И давай меня нагайками обхаживать. Я не утерпел, шоркнул одному по уху. Так сперва в Троицу отвели, потом сюда. По дороге испинали всего. И сижу тут с вами. А за что? Вы хоть за дело сидите, а я за что? За дурость бабью...

— Сиди, сиди, — сказал один из пленных. — Посидишь, поумнеешь. Царя-то зачем в сундуке держал?

— Баба дура, — сокрушался мужик. — Сложила его пополам, да еще раз пополам. Вот у Ефима Кошурникова для всякой власти есть свой портрет. И все невелики, перегибать не надо.

— Попить бы, — попросил Костя.

Мужик тронул ему лоб:

— Эге, да ты горишь весь. Тиф, может? Эй, глянь-те-ка, сыпняк ведь у него!

— Какой сыпняк! — отмахнулся бородатый красноармеец, сидевший рядом с Костей. — От раны горит.

— А я говорю, сыпняк! Вон и пятна пошли по мордето. Позаражает всех к...

— Да пусть лежит, — сказал бородатый. — Чего тебя мозолит? Боишься, так сядь подальше.

— Одно кончат всех через день-два, — откликнулся еще кто-то. — Пускай перед смертью с народом побудет.

— Тебя, может, и кончат, — выкрикнул мужик. — А меня-то за что? — Он подскочил к двери, забарабанил в нее кулаками и, когда появился надзиратель, доложил ему, вытянувшись по-военному: — Тифозный тут. Прибрать бы куда положено...

— Да пускай лежит, — раздались голоса. — Не мешает никому!

— Дело-то к концу, чего там!

Последняя реплика все и решила.

— Шабаш, думаете? — спросил надзиратель, набычив шею и грозно оглядывая камеру. — Не-ет, рано распелись! Тифозный, значит, в барак. Давай, бери его. Ну!

Никто не пошевелился.

— То пушай лежит, — злорадно сказал мужик, — а то так заразы боятся.

— Ну! — рявкнул надзиратель.

Двое пленных помоложе подошли к Косте, помогли встать. Он не сопротивлялся.

Перед входом в ресторанный зал висело зеркало, которое понравилось Рысину еще накануне: оно заметно сплющивало и раздвигало вширь его долговязую нескладную фигуру; такие зеркала попадались нечасто, и Рысин любил в них смотреться, они придавали ему уверенности. Перед этим зеркалом он тщательно причесался, держа фуражку под мышкой, поправил ремень, который все время сползал вниз под тяжестью кобуры с револьвером, и недобрым словом помянул жену, забывшую проверить в ремне еще одну дырку, о чем сказано было два раза.

Едва шагнул в зал, как навстречу бросилась Лера.

— Клянусь, я не виноват! — быстро проговорил Рысин, глядя в ее заплаканное лицо. — Вы все знаете?

— Я заходила к Лизе Федоровой...

— Постараемся ему помочь, — сказал Рысин. — Будьте умницей, наберитесь мужества.

Лера едва успела рассказать о своем визите на Вознесенскую, о Сэнмурв-Паскудже и малахитовом канделябре, как появился Желоховцев. Он был в строгой черной тройке, с тростью. Кивнув ему, Лера вернулась к себе за столик, где ждал ее узкилицый мужчина с цветом львиного зева в петлице.

— Выпить хотите? — спросил Рысин у Желоховцева.

Тот покачал головой.

— А я, пожалуй, выпью. — Рысин остановил пробежавшего мимо официанта. — Мне бы рюмку водки, любезный.

— Не положено, господин прапорщик. Садитесь за столик.

Рысин сунул ему серебряную полтину:

— Кстати, капитан Калугин в каком номере проживает?

— В четвертом.

— Он у себя?

— Вроде как пришел, не выходил больше.

Через минуту явилась рюмка водки. Рысин с наслаждением выпил ее под укоризненным взглядом Желоховцева, затем знаком пригласил его следовать за собой.

На лестнице было темно, металлический наконечник профессорской трости громко клацал по каменным ступеням. Откинув портьеру, Рысин первым ступил в освещенный коридор и почувствовал, как в животе, в самом неожиданном месте возникла вдруг тонкая напря-

женная ниточка пульса. Теперь он знал все, что хотел знать. Разговор с Лерой расставил последние точки. Подаренный ею на счастье чугунный ягненок лежал в кармане, Рысин и взял его с собой на счастье, потому что расследование кончено, начинается игра, и ему, как всякому игроку, нужна удача.

— Григорий Анемподистович, — Рысин удержал его за локоть, — все, что я буду говорить, принимайте, пожалуйста, как должное. Ничему не удивляйтесь и не задавайте мне никаких вопросов.

— Позвольте? — вскинулся было Желоховцев.

Но Рысин уже стучал в дверь четвертого номера.

Отозвался мужской баритон:

— Открыто!

Калугин в расстегнутом френче сидел за столом, что-то писал. Его портупея с большой желтой кобурой, из которой торчала рукоять кольта, висела на вешалке у двери.

— Профессор Желоховцев, — любезно поздоровавшись, представился Желоховцев. — Хотя мы знакомы. Помните, капитан, вы были в университете вместе с майором Финчкоком из британской миссии? Осматривали мою коллекцию сасанидской серебряной посуды.

— Как же, как же, профессор, — улыбнулся Калугин. — Конечно, помню и очень рад. Чем могу служить?

Рысин, выждав немного, шагнул следом, встал под вешалкой:

— Прапорщик Рысин. Помощник военного коменданта Слудского района.

Калугин перевел на него взгляд и тут же вскочил:

— Вы?

Отшвырнув стул, метнулся к двери, но Рысин уже держал в руке револьвер:

— Сядьте! Оружие вам ни к чему. И свое я сейчас уберу. У нас разговор сугубо конфиденциальный, свидетели не потребуются. — Он вынул из кобуры калугинский кольт. — О, именно? Это для меня приятный сюрприз.

Желоховцев с ужасом взирал на них обоих, но пока помалкивал. Левой рукой он опирался на трость, правую опустил в карман пиджака, и Калугин, видимо, решил, что профессор тоже вооружен. Покосившись на него, вернулся к столу, поднял стул. Сел, небрежно закинув ногу на ногу.

— Прошу, капитан, выслушать меня внимательно,—

сказал Рысин. — Вопросы будете задавать потом, я с удовольствием отвечу... Может быть, вам известно, что в следственной практике Североамериканских штатов применялся такой эксперимент: брали оружие человека, подозреваемого в убийстве, и стреляли из него в мешок, набитый шерстью или хлопком. Пуля, как вы понимаете, при этом не деформировалась. Затем эту пулю сравнивали с той, которая была извлечена из тела жертвы...

Калугин усмехнулся:

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Полоски, оставляемые на пулях нарезам ствола, позволяют сделать определенные выводы. Но есть и более простые случаи. Например, ваш. Это когда канал ствола имеет какой-то дефект, который метит пулю. Ваш кольт, скажем, — Рысин покачал его на ладони, — оставляет на ней характерную канавку. Ее хорошо видно под небольшим увеличением. Я располагаю двумя образцами. Первый извлек доктор Федоров из тела убитого студента Сергея Свечникова. Второй образец по счастливой случайности застрял не во мне, а в сиденье извозничьей пролетки... И еще! В точности такую же канавку мы можем при желании обнаружить на той пуле, которой сегодня утром был убит Михаил Якубов...

— Боже мой! — Желоховцев прислонился к стене.

Калугин, не обращая на него внимания, поощряюще кивнул:

— Продолжайте, продолжайте, прапорщик. Все это чрезвычайно любопытно.

— Я, пожалуй, вернусь к самому началу, — все так же размеренно проговорил Рысин. — Эта история требует последовательного изложения.

— Завязка, однако, весьма интригующая. Чувствуется, что в гимназии вы усердно читали детективные романы. Не пробовали себя в этом жанре?

— Помолчите, вы! — срывающимся голосом крикнул Желоховцев.

— За все детали я не ручаюсь, — сказал Рысин, — но основная линия выглядит приблизительно так: Якубов числился вашим агентом и должен был остаться в городе после прихода красных. С какой целью, вам лучше знать. Меня такие вещи не интересуют, я не из ЧК.

— Этим вы меня очень утешили.

— Итак, Якубову поручалось остаться в городе. Но его прошлое с точки зрения большевиков да и всякого,

простите, честного человека, далеко не безупречно. Насколько я знаю, в прежние времена он был связан с жандармским управлением и вполне резонно полагал, что новая власть большого доверия ему не окажет. Чтобы заслужить это доверие, он предложил предстать перед красными, имея на руках кое-какие ценности из университета и музея. Вам следовало реквизировать их своей властью. Однако вы этого не сделали и предпочли другой путь. Восточное серебро Якубов добыл, сыграв на привязанности Свечникова к Григорию Анемподистовичу, а для ограбления музея вы помогли ему устроить маленький невинный маскарад. Все прошло прекрасно, вы только одного не учли: жандармские осведомители редко бывают людьми чести по отношению к кому бы то ни было. И Якубов не исключение. Увы, капитан, ваш агент вовсе не собирался ни оставаться в городе, ни тем более отдавать похищенное большевикам. Да и вы сами, надо сказать, начали колебаться. Ведь знали, например, чего стоит одно лишь блюдо шахиншаха Пероза...

— Майор Финчкок предлагал за него шестьсот фунтов, — вставил Желоховцев.

— Что же касается музейных экспонатов, — продолжал Рысин, — тут вам пришлось целиком положиться на Якубова. И он не обманул ваших ожиданий, отобрав действительно самые ценные вещи. Я, правда, не знаю, в какой момент у вас зародилась мысль их присвоить, но это в конце концов и не важно. Во всяком случае, вы настояли на том, чтобы для сохранности перевезти все домой к Елизавете Алексеевне Федоровой. У вас роман с этой барышней, вместе собираетесь эвакуироваться...

Калугин выпрямился:

— Попрошу не упоминать всуе имя женщины!

— Хорошо, — согласился Рысин. — Не буду... Вы настаивали, и Якубов не посмел отказать вам, о чем впоследствии пожалел. Впрочем, я забегаю вперед... Еще до того, как все было перевезено к Елизавете Алексеевне... пардон, на Вознесенскую, причем втайне от хозяина дома, встал вопрос о том, что делать со Свечниковым. Этот мальчик написал письмо Григорию Анемподистовичу. Наивно шантажируя своего учителя, он призывал его остаться в городе. Такой план когда-то Свечникову подсказал Якубов, которому рисковать не хотелось. Сам он в кабинет не полез, но дал Свечнико-

ву несколько советов с целью инсценировать похищение коллекции человеком с улицы. Затем Свечников написал письмо и принес показать его Якубову. Он ведь считал Якубова своим единомышленником. Тот начал юлить, изворачиваться. Заподозрив неладное, Свечников решил забрать у него коллекцию.

— Почему же сразу не оставил ее у себя? — спросил Желоховцев.

— Думаю, он не очень-то доверял своим квартирным хозяевам... Тогда Якубов, не зная, что предпринять, пригласил к себе Свечникова и вас, капитан. Да-да, вас. Вы, очевидно, явились в штатском...

— Сцены с переодеванием вам особенно удаются, — заметил Калугин.

— ...но с оружием. Кем вы представились, не знаю. Но уговорить Свечникова не посылать письмо ни вам, ни Якубову не удалось. Напротив, после этого разговора он окончательно решил во всем признаться Григорию Анемподистовичу. Теперь Сережа должен был исчезнуть. Якубов предлагал выслать его или арестовать, но вас это не устраивало. Вы предпочли способ радикальный.

— Негодяй! — выкрикнул Желоховцев. — Убийца!

Рысин в упор смотрел на Калугина, который с невозмутимым видом покачивал носком сапога.

— Поздно вечером, выйдя от Якубова вместе со Свечниковым, вы, капитан, у железнодорожной насыпи выстрелили ему в спину. Пуля попала в сердце, и он упал лицом вперед. Лоб его был испачкан землей. Но утром, когда тело обнаружили, оно уже было перевернуто на спину. Значит, вы доставали что-то из нагрудного кармана. Что именно, догадаться нетрудно. То самое письмо.

— Я же говорил, что оно есть! — воскликнул Желоховцев.

— Один вопрос, прапорщик, — сказал Калугин. — Кому вы служите?

— Я помощник слудского коменданта по уголовным делам.

— Бывший, — поправил Калугин.

— Это неважно. Занимаясь расследованием убийства Свечникова, я исполняю мои прямые служебные обязанности.

— Помощь большевикам тоже входит в ваши обязанности?

— Если правосудие находится в преступных руках, то да. Я даже не мог арестовать Якубова. Тышкевич запретил мне это, поскольку знал, что тот — ваш человек. Хотя, отдаю должное моему начальнику, это было ему неприятно. Он кричал на меня так, что я сразу понял: совесть у него нечиста.

— Вы поставили на красных, прапорщик, — сказал Калугин. — Да, скоро они возьмут город. Но до того времени у вас еще будет возможность горько раскаяться, что сделали такой выбор. Поверьте, я предоставлю вам эту возможность.

— Продолжаю. — Рысин вытер обшлагом взмокший лоб, сдвинул фуражку на затылок. — Якубов, понимая, что тянуть дольше некуда, решил тайком увезти похищенные вещи на восток. Вчера вечером он известил Лизу, прикинув, что до утра она с вами не увидится. И обманулся. Лиза отправилась не к Лунцеву искать отца, как сказала Якубову, а к вам. Вы не захотели вступать с ним в объяснения. Еще бы! Тут неизбежно всплывали ваши собственные планы, отнюдь не бескорыстные. Тогда вы довольно удачно придумали этот трюк с ящиками. Все прошло бы гладко, не пояись на Вознесенской улице случайный патруль. Мы с Трофимовым вам ничуть не мешали. Пожалуй, вы даже готовы были закрыть глаза на появление под самым вашим носом красного разведчика. Но патруль, стрельба — это другое дело! Какое-то дознание, какие-то ненужные разговоры. И вы решили избавиться от всех свидетелей разом. Тем более, что убийство Якубова вполне можно было приписать мне или Трофимову. Напали, дескать, с невыясненными намерениями.

Помолчав, Калугин поднял голову:

— Ваша версия напоминает астрономическую систему Птолемея. Стройна, красива, объясняет все видимые явления, но неверна по существу. Сами подумайте, зачем мне при моем служебном положении все эти хитроумные уловки, о которых вы говорили? Как помощник коменданта города я просто мог изъять ценности из университета и музея. В условиях прифронтового города мои полномочия достаточно велики.

— Догадываюсь, — сказал Рысин. — Но ваше возражение лишь подтверждает правильность моей версии.

— Каким образом?

— Сейчас объясню... Если бы мысль о присвоении ценностей родилась у вас первого, вы именно так и по-

ступили бы. Но первым об этом подумал Якубов. А вы поначалу клюнули на его приманку. Слишком опасно было бы реквизировать коллекцию и экспонаты вашей властью. Такая акция могла обрасти слухами, которые неизбежно потянулись бы за Якубовым, захоти он и в самом деле предстать перед красными с этими вещами. Это вы сообразили. Потом ваши планы переменялись, но было уже поздно. В дело оказались втянуты Якубов и Свечников... Вот, собственно, и вся история.

— Весьма занимательно, — резюмировал Калугин. — И что же, по-вашему, я собирался делать дальше?

— Вот уж не знаю! Но подозреваю, что ваши замыслы возникли не без влияния майора Финчкока.

— Та-ак. А что вы скажете на такой вариант продолжения этой истории? Я зову на помощь. Стрелять, как я сейчас понимаю, вы не станете.

— Не стану, — подтвердил Рысин.

— Из соседних номеров сбегаются офицеры. Я говорю им, что вы красный шпион. Это не так уж далеко от истины. Вас отводят в тюрьму, где устраивают очную ставку с Трофимовым, а затем предъявляют на предмет опознания начальнику утреннего патруля. После чего по обвинению в измене... Эпилог предоставляю вашему пылкому воображению.

— Но я пойду к вашему начальству и все расскажу! — пообещал Желоховцев.

— Ваша сегодняшняя миссия, профессор, — сказал Калугин, — мне не совсем ясна. Но в случае с Трофимовым вы вели себя не лучшим образом. Ведь он был у вас? Так что поезжайте-ка в Томск.

Рысин улыбнулся:

— Ваш вариант не учитывает двух обстоятельств. Во-первых, я в форме и сумею привлечь внимание собравшихся кратким изложением только что сказанного. Во-вторых, вы не сможете избавиться от меня немедленно. Придется исполнять разные формальности. Скрыть факт моего ареста от поручика Тышкевича вы тоже не сможете. А он по-своему человек честный. Те доказательства, которыми я теперь располагаю, не снимут вины с меня, но убедят его и в вашей вине. Кроме того, обе пули, дневник Свечникова с записью о похищении коллекции, — при этих словах Рысин многозначительно посмотрел на Желоховцева, который, сообразив, торопливо кивнул, — а также протокол осмотра кабинета Григория Анемподистовича и медицинское за-

ключение, написанное доктором Федоровым, хранятся у вполне лояльного человека. В случае моего ареста они будут вместе с моей запиской представлены вашему прямому начальнику, полковнику Николаеву. Копии тоже пойдут в дело. Будет обследована и пуля, сидящая в горле Михаила Якубова... Так что если вы сейчас позовете на помощь, можете считать свою карьеру законченной. Это в лучшем случае! — Рысин невольно коснулся рукой кармана, где лежали все перечисленные доказательства.

— Тышкевич — мой старый приятель, — рассмеялся Калугин. — А доктор Федоров напишет такое заключение, какое мне будет нужно. Он прекрасно осведомлен о моих отношениях с его дочерью и рассчитывает, что я на ней женюсь.

— Не буду разрушать ваших иллюзий. Но в ближайшее время ваш возможный тесть ничего написать не сможет. Он заперт в чулане. А вот где находится этот чулан, вы не знаете и не узнаете. Трофимову тоже это неизвестно... Кстати, пока мы с вами здесь разговариваем, туда же везут и Елизавету Алексеевну.

Это был блеф чистой воды, но Калугин поверил.

— Подлец, — тихо проговорил он, с ненавистью глядя на Рысина. — Попомнишь у меня! — И вдруг трахнул кулаком по столу.

Чернильница подпрыгнула и опрокинулась, пятная бумаги, а Калугин саданул еще раз прямо по чернильной лужице, синие брызги ударили ему в лицо, рассеялись по обоям.

— Все вещи с Вознесенской отправлены в тот же чулан, — закончил Рысин. — А дабы вы окончательно мне поверили, добавлю: в один из тюков я лично засунул небольшое серебряное блюдо с изображением собачкоптицы. Елизавета Алексеевна легкомысленно использовала его в качестве пепельницы.

— Блюдо с Сэнмурв-Паскуджем? — спросил Желовцев.

— Вот-вот. Я забыл, как называется эта тварь.

— Хорошо. — Калугин снова взял себя в руки. — Допустим на минуту, что все рассказанное вами — правда. Тогда зачем вы пришли сюда? Отчего не представили материалы по начальству или сразу полковнику Николаеву? По-моему, вы чего-то не договариваете.

— Вы угадали, — сказал Рысин. — Мне нужен Трофимов.

— Ага! — обрадовался Калугин. — Все ясно. С этого и следовало начать. Роль неподкупного стража законности вам как-то не к лицу, прапорщик!

— Не будем отвлекаться. Вы согласны?

— А что я получу взамен?

— Все вещественные доказательства, исключая дневник Свечникова, и наше молчание.

— Вот теперь я полностью убедился, что вы продались большевикам, — отчеканил Калугин. — Ведь что же получается? Долг службы и чувство справедливости предписывают вам предъявить мне обвинение и открыть дело. А что делаете вы? Спасаете красного шпиона? Отлично, прапорщик! Bravo! Только зачем разыгрывать из себя Дон Кихота? Вы же отпускаете на свободу грабителя, убийцу. Не правда ли? — Он вскочил из-за стола — грузный, с побагровевшим лицом, испещренным чернильными брызгами. — А как же законность? Правосудие? Священная кара, наконец? Вы предлагаете мне сделку? Прекрасно! Так это и назовем. Давайте называть вещи своими именами. Да, я хотел сбыть коллекции союзникам. Да, мне нужны деньги. У моей невесты нет порядочного платья, прапорщик. Моя мать сидит в Омске без копейки. У обеих моих сестер мужья убиты за Россию, они бедствуют. А у меня нет ничего. Понимаете, ничего! Вот что я получил за службу! — Калугин ткнул пальцем в кольт, который Рысин по-прежнему сжимал в руке. — Именное оружие, чтобы пустить себе пулю в лоб. Так, по-вашему, я должен был поступить? Три года я провел в окопах. У меня прострелено легкое. А Якубов? Свечников? Эта дрянь отсиживалась в тылу, почитывала книжечки, когда я умирал в Мазурских болотах! А вы, прапорщик? Только честно: что вам посулили Трофимов и его дружки? Какие золотые горы?

— Замолчите! — прошептал Рысин.

— Что, не нравится? Успокойтесь, мы же оба деловые люди, и я принимаю ваше предложение. Ударим по рукам?

— Вы убийца, — сказал Рысин. — Я не подаю руки убийцам.

— Презираете меня? И зря. У вас нет для этого ровно никаких оснований. Проклятое время! Оно уравняло нас всех...

— Григорий Анемподистович, — попросил Рысин, — возьмите мой револьвер и постерегите господина Калу-

гина. Я пойду за извозчиком... Палец вот сюда. Пред-
охранитель снят.

Желоховцев положил палец куда было велено, однако тут же сморщился и вернул револьвер:

— Нет, не могу...

— Излишние предосторожности, — ухмыльнулся Калугин. — Оставьте бедного профессора в покое. Мы же обо всем договорились.

— Мне нужно письмо Сережи, — сказал Желоховцев. — Даю слово, капитан, что не использую его против вас.

— Когда я увижу Елизавету Алексеевну? — спросил Калугин.

— Через час после того, как я получу Трофимова, — ответил Рысин. — Она и передаст вам обещанные улики, исключая дневник.

— А кольт?

— Его я оставлю себе на память.

Спустившись в ресторан, Рысин велел швейцару позвать извозчика, а сам направился к тому столику, за которым сидела Лера со своим спутником.

— Вам придется меня подождать, — сказал Калугин, когда пролетка остановилась у тюремной ограды. — Здесь. Я постараюсь не задержаться.

Он поговорил о чем-то с часовым, выбежавший унтер-офицер, узнав помощника военного коменданта, взял под козырек, распахнул дверку в воротах, и Калугин исчез. Рысин остался сидеть в пролетке.

Логика обстоятельств была на его стороне: Калугин думает, будто Лиза взята заложницей, и не может ничего предпринять. Он бессилен. Умом Рысин понимал это, но неподвижная, словно впечатанная в стену, фигура часового, белый круг луны, истонившейся на ущербе, как брошенный в горячую воду сахар, неестественно четкий очерк тюремной кровли и странный контраст тишины, стоящей над городом, с далеким гулом артиллерийской канонады, все тревожило, все напоминало о том, что в нынешние времена логика утратила свое бывшее могущество.

Поежившись, Рысин вылез из пролетки. У земли ветер почти не чувствовался, а на вершинах лип тюремного сада под внезапными его порывами шелестела листва, и от этого тоже рождалось ощущение грозящей

опасности, близости иной жизни, неподвластной каким бы то ни было расчетам.

Лера с ее спутником и Желоховцев уехали на другом извозчике минут за десять до того, как Рысин с Калугиным покинули номера Миллера. Решили, что вещи с Вознесенской они вывезут, а Лизу трогать не станут. Даже в том случае, если Калугин из тюрьмы отправится прямо к ней, все будет уже кончено: Костя исчезнет, Желоховцев передаст свое серебро в университет, под охрану. Сам по себе он Калугину не нужен, и за судьбу его можно не опасаться. Лера вообще вне подозрений, к Федоровым она и заходить-то не будет.

Потом Рысин подумал о себе: что с ним теперь станет? Может, сегодня же ночью забрать жену и податься к тетке на Висим? Он в форме, заставы ему не помеха.

Почудилось вдруг, что поблизости кто-то есть. Взглянул на часового — тот все так же неподвижно стоял у будки. Извозчик, нахохлившись, дремал на козлах. Калугин не появлялся. Начиная волноваться, Рысин поднес к глазам руку с часами и успокоился: прошло всего пять минут.

Он ждал, что вот-вот придет к нему то чувство блаженной расслабленности, какое испытывает человек после трудной, хорошо сделанной работы, но желанное чувство не приходило, и дело было не только в том, что Костя Трофимов оставался пока за тюремными воротами. Дело в другом. Калугин прав: преступление не повлечет за собой возмездия, останется безнаказанным. Вспомнилось наблюдение Путилина: преступники не сидят. Он, Рысин, пожалел Костю и Леру, не довел дело до конца, как предписывали ему долг и совесть, и убийца будет иметь возможность мирно поседеть. Можно, разумеется, утешаться тем, что если бы даже передал материалы расследования полковнику Николаеву, все равно мало что изменилось бы; в беспристрастие нынешних властей Рысин не сильно-то верил. Ну, положим, разжалуют Калугина в рядовые. А то и просто переведут в армию с понижением в чине. Во всяком разе, не осмелятся судить его открытым судом. Но не важно, не важно! Все-таки нужно было попытаться открыть дело, а он впутал свои личные привязанности туда, где о личном и речи быть не может.

Рысин представил на своем месте Путилина Ивана Дмитриевича, знаменитого сыщика, и понял, что перед

ним такой вопрос и не встал бы никогда. Всю жизнь Путилин был только охотником, разве знал он, каково это — быть охотником, егерём и дичью одновременно?

Опять померещилось, что неподалеку прячется кто-то, легкий шорох донесся из кустов, по периметру окаймлявших тюремный сад, но Рысин уже не обратил внимания на этот шорох, потому что высоко над ним снова прошел ветер, липы зашумели кудрявыми верхушками, хотя внизу дуновение было слабым и теплым, почти неощутимым, как дыхание спящей рядом жены.

И внезапно Рысин подумал, что все-таки предъявит убийце обвинение, даст делу ход. Калугин, конечно, уверен, будто он не решится на это, ибо тем самым себя же подставит под удар: его, Рысина, легко уличить в сотрудничестве с большевиками. И пускай! Пускай уличают. Костя уже будет на свободе; завтра пойти к полковнику Николаеву и все рассказать. Наверное, посадят в тюрьму, расстреляют, может быть, но зато совесть будет чиста. Да, чиста! И ни к какой тетке на Висим он не поедет.

Правда, было и сомнение: значит, обманет Калугина, уговор нарушит? Да, обманет и нарушит. Но ведь за такой обман придется, глядишь, собственной жизнью заплатить. А он готов расплатиться — извольте! Сам принесет себя в жертву во имя справедливости, возляжет, как агнец, на ее алтарь. И какой же это обман, если единственная выгода от него — чистая совесть?

Рысин вынул из кармана чугунного ягненка — подарок Леры, поставил на ладонь. Тот уперся в нее всеми четырьмя копытцами на ножках-растопырьках, мордочка выражала недоумение и детское лукавое любопытство. Рысин смотрел на ягненка и думал о том, что так и не увидит никогда блюдо шахиншаха Пероза. А хотелось бы посмотреть. Он представлял его большим, ослепительно светлым и в то же время похожим на немецкую серебряную сухарницу, которую принесла в приданое Маша — самую ценную вещь в их доме.

Дверка в воротах отворилась.

— Прапорщик! — позвал Калугин, выбираясь к будке. — Где вы?

Рысин шагнул вперед.

Калугин быстро склонился к часовому, потом силуэт его, хорошо видный на фоне белой стены, странно изломился, локти выпятились в стороны, плечи приподнялись, и узкая стальная полоса, укорачиваясь, блесну-

ла между ними. Полыхнуло огнем — ярко, до самого неба. Подаренный на счастье чугунный ягненок спрыгнул в траву, подбежал к лицу Рысина и ткнулся холодным носом ему в подбородок.

В Кунгуре поезд простоял несколько часов.

На перроне творилось бог знает что — говорили, будто билеты на восток идут уже по десяти тысяч. Пьяные солдаты врывались в классные вагоны, отбирали багаж, сбрасывали пассажиров с площадок. Двое студентов из вагона, в котором ехал Желоховцев, с револьверами встали в тамбуре и заперли двери. Франциска Андреевна боялась даже к окну подойти. Сидела, сжавшись в уголке, и спрашивала:

— Что же это делается, Гришенька?

Потом страсти немного поутихли, и Желоховцев вышел на перрон. В стороне, у заколоченных ларьков, стояла, дожидаясь погрузки, артиллерийская батарея; на хоботах двух крайних орудий висело дамское белье из разбитых лавок — бюстгальтеры, чулки, панталоны, кружевные рубашки, вокруг с криками толпились бабы, шла меновая торговля.

Высокий офицер в погонах с черной окантовкой тронул Желоховцева за локоть:

— Я поручик Тышкевич. Помните меня? Что ваши тарелки, профессор? Так и не нашлись?

— Нашлись, — сказал Желоховцев.

— Да ну? Рысин, что ли, нашел?

— Да, Рысин.

— Чудеса, — удивился Тышкевич. — Ведь он сбежал, сука. Дезертировал... Неужели он вам все вернул?

Не ответив, Желоховцев зашагал к своему вагону. Что он мог рассказать этому поручику? Что он вообще мог рассказать про ту ночь, когда сидели с Лерой в темной комнате, на квартире ее приятеля — какого-то Андрея, а перед ними на голой столешнице лежало блюдо шахиншаха Пероза.

С Вознесенской тогда вдвоем с Лерой поехали домой к этому Андрею, а хозяин квартиры, отдав им ключ, помог погрузить мешки в пролетку и отправился к тюрьме: хотел перехватить там Рысина с Костей.

Из осторожности Лера отпустила извозчика, не дозжая до места. Сами заташили мешки в дом, и Жело-

ховцев первым делом нащупал в одном из них блюдо шахиншаха Пероза.

Сидели за столом, свет не зажигали. И позднее мучительно стыдно было вспоминать, как профессорским тоном зачем-то объяснял Лере, что круглый ободок на донце, так называемая кольцевая ножка, стерся не сам по себе, а был спилен — таким путем древние вогулы в Приуралье, на меха выменяв блюдо у персидских купцов, пытались придать ему большее сходство с ликом лунного светила, которому и поклонялись в образе этого блюда. Говорил, говорил, жадно оглаживая теплое серебро, как бы не понимая, начисто забыв, что Лере сейчас не до того. Какие еще вогулы? О чем он говорит? Она ждала Костю, прислушивалась. Иногда вставала и подходила к окну. Настоящая луна висела за окном — белая, низкая.

Что же было потом? Далекие выстрелы — сначала один, после еще два, через минуту еще и еще. Пальцы Леры, судорожно терзающие занавеску. Застывший на пороге Андрей — рукав у пиджака оторван, и нелепо торчит в петлице чудом уцелевший цветок львиного зева.

Он, оказывается, наблюдал за Рысиным, укрывшись в кустах возле тюремных ворот, и выстрелил секундой позже Калугина.

— Но как же? — крикнул Желоховцев. — Почему он стрелял? Ведь он думал, что его невеста у нас!

— Да на кой черт она ему! — Андрей стянул пиджак, бросил на пол. — Невеста! Обуза только лишняя... Я его, гада, второй пулей достал...

Лера плакала. Постояв рядом и не решаясь погладить ее по волосам, Желоховцев положил на стол блюдо шахиншаха Пероза и шагнул к двери. Никто его не удержал. Блюдо шахиншаха Пероза и блюдо с Сэнмурв-Паскуджем, и все остальное, что совсем недавно было самым важным в жизни, чуть ли не единственным ее смыслом и опорой, теперь казалось пустяком, ничтожной малостью, и эту малость Желоховцев оставлял там, за дверью, потому что так хотели мертвые — Сережа Свечников, и Рысин, и Костя, ждущий смерти в тюремной камере, а больше он ничего не мог для них сделать.

...Вдалеке взвыл паровоз, и Желоховцев прибавил шагу — Франциска Андреевна испуганно махала ему из вагонного окна.

29 июня 1919 года белые спустили в Каму и подожгли керосин из десятков цистерн, стоявших на берегу, в районе станции Левшино; огонь по течению двинулся вниз, к Перми. Горели, разваливаясь, лодки у берега, гигантскими свечами пылали дебаркадеры. Чалки обугливались, расползались; пароходы и баржи неуклюже разворачивались, огонь обтекал их борта, чернил ватеры, потом двумя-тремя языками взбегал к палубным надстройкам, на мгновение огненными языками провисали канаты, и баржи, медленно проседая, плыли вниз, к мосту. Дым стелился над рекой, над городом.

У реки, на путях железной дороги, суетились солдаты, поджигая составы, которым не хватило паровозов. Горели вагоны с зерном, хлопком, обмундированием, черные хлопья высоко взлетали под ветром и целый день потом падали в воду, на крыши домов, устилали улицы.

В это же время части 29-й дивизии 3-й армии Восточного фронта с северо-запада вышли к Каме.

Река лежала в дыму, клубы дыма окутывали левый, подветренный берег, откуда били пушки; снаряды падали в воду, черную вонючую пену выносило на плесы.

Командир полка Гилев поднес к глазам бинокль и увидел чайку. Бинокль чуть подрагивал, и чайка металась в окулярах, как подстреленная — вверх, вниз, опять вверх и вбок. Неподвижно распластанные крылья, настороженный блеск маленького глаза.

Больше Гилев ничего не увидел.

Ближе к вечеру подвезли орудия. Снаряды перелетали через реку, но разрывы их не были видны в сплошной завесе дыма. Вскоре белая батарея замолчала, дым снесло ветром и началась переправа. На мертвой реке затемнели лодки, шитики, плоты.

Утром тридцатого числа завязались бои на окраинах.

Утром тридцатого числа Костя очнулся на нарах тифозного барака в тюремном дворе и убедился, что никакого тифа у него нет и не было. Жар спал, слабость была во всем теле, тяжесть — рукой, кажется, не пошевелишь, и плечо ныло, но жар спал, голова была ясной. Даже есть хотелось — он ничего не ел уже третьи сутки. Воды и той не было. Сторожа исчезли еще позавчера, умерших никто не выносил. Рядом с Костей лежал мертвый матрос в распоротой нагайка-

ми тельняшке, тускло-зеленая муха ползла по его руке, чуть пониже сгиба, где выколото было: «Марат». Костя хотел согнать муху, но в этот момент со двора грянул залп, и она сама улетела.

Костя слез на пол, подполз к маленькому окошку, на три четверти забитому фанерой, осторожно выглянул наружу. Опять раздался залп, и он догадался: расстреливают.

Трое солдат подошли к окну.

— Вишь, как разит! — ругнулся один. — Я в такую помойку носу не суну. Лучше от пули подохнуть, чем от этой заразы.

— Может, из дверей хотя постреляем, — предложил другой. — Или пожжем.

— Да покойники одни, — вступил еще голос. — Кого там стрелять. Гранату кинем, и шабаш. Делов-то!

— Жалко гранату. Может, пожжем?

— Чем жечь станешь, дура? Керосину-то нет.

Костя сполз на пол, затаился, прислушиваясь к их разговору.

— Не эту, дура! Лимонку давай!

— Может, пожжем? А?

— Да пошел ты к...!

— От-то руки корявые! Ленту, сперва ленту срывай! Дай-ка сюда...

— Чиркай теперы!

— Сам знаю, отвязись.

Вспыхнула спичка, фосфор зашипел, и Костя, не видя, увидел, как огонек бежит к капсулю по внутреннему шнуру. Он свернулся на полу, вжал голову в колени.

— Давай-ай!

Граната влетела в окно, рассыпая белые искры, и разорвалась у противоположной стены, под нарами. Взметнулись вверх доски, тряпье, беленый потолок жутко забрызгало красным, посеколо осколками.

Костя лежал ничком, чувствуя на губах вкус извести — осыпавшейся побелкой запорошило лицо. Звенело в ушах, едкий дым плыл по барaku, в углу кто-то кричал. Потом дым разошелся, несколько выстрелов ударили из окна, и кричать перестали. Послышался удаляющийся разговор, и тогда Костя ясно различил тот звук, которого ждал со дня на день, с минуты на минуту, — отдаленный треск ружейной перестрелки.

Белое кружево салфеток на подзеркальнике и два ракушечных грота, поднявшихся из этой батистовой пены, и цветы на окнах, и чистые простыни, и подушки, на каких он с детства не спал — большие, легкие, в ситцевых ярких наволоках с торчащими уголками, все принадлежало иной жизни, прежней, той, которая, казалось, кончилась навсегда.

Лера, напевая, возилась в кухне, весело брякала посудой. «Красота нередко к пагубе ведет...» — разобрал Костя и позвал тихонько:

— Лера!

Она присела к нему на кровать, поправила одеяло.

— Почему опять зверобой не выпил? Я тебе целую кастрюлю заварила, а ты не пьешь.

Костя улыбнулся:

— Пью, пью.

— Тебе нужно пить как можно больше. Постоянно пить и пить, чтобы не было воспаления. Плечо болит?

— Почти совсем не болит.

Она снова поправила одеяло:

— Все время хочется тебя потрогать. До сих пор не могу поверить, что ты здесь, у меня.

— Я и сам не очень-то верю, — сказал Костя.

Грянул за окнами военный оркестр. Обо всех будущих победах пели трубы, радовались сегодняшней медные тарелки, и глухо бил барабан, вспоминая мертвых.

Блюдо шахиншаха Пероза лежало на столе. Шахиншах натягивал невидимую тетиву лука, птица уносила в когтях женщину, и что-то они знали друг про друга, шахиншах, женщина и птица, что-то такое, о чем, наверное, только Рысин и мог догадаться.

Гремел оркестр, блестели мокрые крыши, сияло солнце, и паром курились просыхающие заборы.

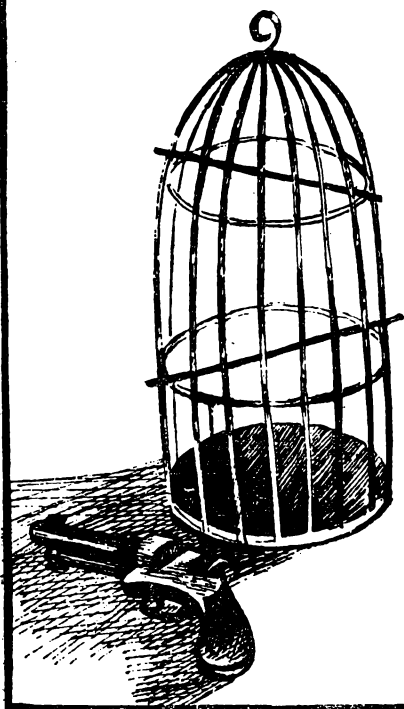
— Лето, — сказал Костя. — А мы и не заметили.

Под липами тюремного сада стоял в траве чугунный ягненок, задрав к небу влажную от утреннего дождя удивленно-лукавую мордочку. Мимо него, шлепая по лужам разбитыми сапогами, колонной по шесть проходил полк Гилева. Впереди шел командир. Качается на груди бинокль, криво сидит выгоревшая фуражка, левую щеку стягивает красный рубец.

«...а его метелка от огня спасет».

КЛУБ «ЭСПЕРО»

/1920г./





1

Во сне был девятнадцатый год, лето. Мимо кинематографа «Лоранж» шла к вокзалу пехота и, обгоняя колонну, прижимая ее к заборам, проезжал в автомобиле генерал Укко-Уговец — грузный, сплоским и невозмутимым лицом лапландского охотника. От далекого оружейного гула заныло в витрине треснутое стекло, и сон оборвался; Вадим Аркадьевич потянулся к тумбочке за часами. Двадцать минут шестого. Он всегда просыпался в это время, когда из парка, расположенного неподалеку от дома, выходили на маршрут первые трамваи. Хотя рамы были плотно закрыты, стекла все равно начинали дребезжать, откликаясь на грохот колес и лязганье стрелки. Потом этот звук сливался с другими звуками просыпающейся улицы, переставал быть таким одиноко мучительным, но едва подступала наконец зыбкая утренняя дремота, едва блаженно тяжелели веки, как в соседней комнате вставал сын. Он поднимался рано, собирался на работу обстоятельно и неторопливо, словно не на завод шел, а уезжал в долгую командировку, где нужно быть готовым к любой неожиданности. Это Вадима Аркадьевича раздражало. И долетавшее из ванной комнаты шумное фырканье, которое неизменно сопровождало водные процедуры сына, тоже казалось неестественным, деланно-мужским, лишним для пятидесятилетнего отца семейства. Господи, ну зачем он так шлепает себя по груди?

С оглушительным стуком ложилась на стол крышка чайника, сын открывал кран на полную мощность, но не сразу подставлял чайник под струю, пропускал застоявшуюся в трубах воду. С полминуты она хлестала

в раковину. Такую воду невестка считала вредной для здоровья, и, наверное, правильно считала, но Вадим Аркадьевич уже не мог успокоиться: домашние вызывали почти ненависть, раздражали их пустячные заботы, привычки, так и не ставшие его привычками. Он их всех любил — и сына, и внука Петьку, и даже невестку, и они его любили, но это нескончаемое раздражение, эти цепляющие одна другую обиды тянулись вот уже второй год, с тех пор как у Вадима Аркадьевича умерла жена и после обмена стали жить вместе в трехкомнатной квартире.

Чтобы отвлечься, он стал думать о близком лете, о том, как поедет на Сылву, будет рыбачить со своей старой надувной лодки, склеенной из автомобильных камер, и постепенно отлегло от сердца. Кроме того, вспомнил, что сегодня у него есть дело: невестка просила зайти в школу, посмотреть Петькины оценки — середина мая, учебный год кончается. Наступающий день уже не казался таким безнадежно пустым, и он бодро начал одеваться, предвкушая не просто прогулку, а прогулку с целью, дело.

Школа, где учился внук, помещалась в здании бывшего Стефановского училища, в центре города. Вадим Аркадьевич вошел в учительскую и сразу увидел Майю Антоновну, Петькину классную руководительницу; она сидела у окна, разговаривая с каким-то стариком, тоже, наверное, чьим-нибудь дедом. Старик был в расстегнутом плаще из мягкой серой ткани, в белом офицерском кашне. Держался он величаво, сцепив руки на поставленной между колен палке — большеносый, совершенно лысый, с бескровными тонкими губами, придававшими его лицу выражение высокомерной брезгливости. Вадим Аркадьевич хорошо знал это выражение; одно время у него самого появилось было такое же. Оно возникало у стариков с плохо подогнанными челюстными протезами, но со временем прирастало к лицу, становилось вечной, хотя и нечаянной гримасой, обманчивой и потому особенно неприятной.

Поздоровавшись, Вадим Аркадьевич привычно достал из шкафа классный журнал, раскрыл, нашел в столбике фамилий свою — Кабаков. Учился Петька так себе — тройки, четверки. Перелистнув несколько страниц, Вадим Аркадьевич поймал себя на мысли, что успеваемость внука перестала его интересовать. Зато очень хотелось послушать, о чем разговаривает Майя

Антоновна с этим стариком. Жаль было ее, такую молодую и славную, всегда занятую, не успевшую даже выйти замуж. Что он ей втолковывает? Учит, как детей воспитывать? Но вот заговорила Майя Антоновна, и ее собеседник, слушая, со старомодной вежливостью склонил голову. Может быть, он был глуховат, но Вадим Аркадьевич заподозрил здесь другое. Он и сам старался быть старомодным, так же склонял голову, употреблял выражения вроде «будьте любезны», мог даже поклониться или пропустить кого-нибудь в дверях не просто, а с неким торжественным простираем руки, словно всю жизнь так поступал и донес эти привычки до нынешнего времени сквозь все те времена, когда подобные жесты и выражения отнюдь не были в чести. На самом же деле раньше-то как раз ничего и не было, появилось только в последние годы вместе с чувством, что у каждого человека есть свое время — то, из которого ты вышел, и нужно его держаться, если хочешь вызывать уважение.

Зазвенел звонок, старик повернул голову, и Вадим Аркадьевич увидел его левое ухо — странно прижатое к голому виску, искореженное, маленькое. Вадим Аркадьевич смотрел на это ухо, ничуть не изменившееся за полвека, а школьный электрический звонок ревел как корабельная сирена — одно название, что звонок, и в его металлическом ровном гудении, заглушавшем слова и звуки, на лице старика вдруг проступили иные черты, прежние, тут же услужливо подсказанные памятью. Затем и фамилия всплыла: Семченко. И все как-то легко, без волнения, будто ничего удивительного нет в такой встрече. Пятьдесят лет не видались, но за то время, что прошло со смерти жены, юность странно приблизилась, вспоминалась теперь зримо и просто, как вчерашний день, и эта встреча в первый момент тоже показалась обычной. Разумеется, Семченко. Вадим Аркадьевич хотел подойти к нему, уже захлопнул журнал, готовил какие-то ничего не значащие, ни к чему не обязывающие слова, какими обменивался с соседями по лестничной клетке, но внезапно с ужасом ощутил всю бездну раздельно прожитой жизни, невозможность так, с налету, перешагнуть через нее. Он сунул журнал в шкаф и, не прощаясь, вышел из учительской. На улице было тепло, солнечно, тополя стояли в зеленой дымке. Возле школьного крыльца в ряд тянулись облупившиеся за зиму скамейки. Он сел на самую дальнюю,

устроившись так, чтобы держать под наблюдением крыльцо, и стал ждать, когда выйдет Семченко.

На асфальте мелом начерчены были классы. Последний оканчивался двумя дугами, внутренней и внешней; в одной написано «тюрьма», в другой — «сберкасса». Раньше в этих дугах писали «огонь» и «вода», еще раньше — «война» и «мир», а в те времена, когда сын гонял по таким квадратикам жестянку от сапожного крема, — «ад» и «рай». До этого в классы играли мало, асфальта не было; здесь, на Кунгурской, был булыжник, и по нему с особым оскользающим цокотом ходили лошади.

30 июня 1920 года курьер губернской газеты Вадим Кабаков подошел к редакции, ведя за собой рыжего мерина по кличке Глобус; морду его пересекали белые полосы, отдаленно напоминавшие параллели и меридианы. Эти полосы могли сойти и за решетку, и за что угодно другое, но человек, выбиравший когда-то имя рыжему жеребенку, увидел в них сетку координат земного шара и тем самым невольно выбрал для него не только имя, но и будущее; Вадим уверен был, что имя всякого живого существа — уже часть судьбы.

Раньше мерин служил в артиллерии, а теперь должен был возить редакционную бричку, и батарейцы, само собой, дали лошадь бракованную: Глобус был стар, костляв, равнодушен, к тому же слегка прихрамывал. Вадим привязал его около крыльца и направился в редакцию, где не оказалось никого, кроме корреспондента Коли Семченко, для Вадима — Николая Семеновича. Он читал вчерашний выпуск газеты, перед ним лежал на столе двухцветный, красно-синий карандаш. Голова у Семченко тоже была двухцветная — выбритая до синевы, с россыпью мелких красноватых шрамов над изуродованным левым ухом: посекло каменной крошкой от ударившего в скалу снаряда, который, на его счастье, не разорвался. Вадим всегда удивлялся, почему он при этом упорно продолжает бриться наголо.

— Вот не было меня вчера, — печально сказал Семченко, — и они таки тиснули эту гадость. На, читай!

Вадим взял газету. Синим крестом на полях отчеркнута была заметка под названием «Дудки-с!»

— Нет, лучше я сам прочитаю, — передумал Семченко, отбирая у него газету. — Садись... В Сергинскую

вселось явился из города товарищ Беклемышев для постановки кузницы. Узнал про то бывший торговец Жупин и принес ему тридцать тысяч рублей деньгами и десять фунтов топленого масла. Просит он товарища Беклемышева устроить его сына в кузницу. Товарищ Беклемышев деньги и масло взял, только деньги передал в отдел соцобеспечения, а масло отдал в фонд помощи Западному фронту. Не удалась кулаку его уловка.

— Ну и что? — спросил Вадим.

— Еще спрашиваешь? — рассвирепел Семченко. — Меня там не было! Да я бы этому Жупину в рожу его же маслом! Умойся, сволочь! Не нужно Красной Армии такое масло, за которое обманом плочено... А этот Беклемышев? Ведь врал, поди, обещался, устрою, мол, сына-то. Чему людей учим? — Он встал, подошел к окну и долго смотрел на мерина, комкая в углу рта потухшую папиросу. — Да-а... Буцефал!

— А вы что думали, призового рысака дадут?

— Черт с ним! — Семченко выплюнул папиросу во двор. — Программу праздника отпечатали?

1 июля отмечалась годовщина освобождения города от Колчака, Вадим сам, бегая по клубам, составлял текст программы и весь распорядок завтрашних мероприятий знал наизусть: днем парад войск гарнизона на Сенной площади и митинг, в семь часов митинг перед зданием гортеатра, затем концерт в самом театре с участием артистов приезжей петроградской труппы. В это же время в гарнизонном клубе давали спектакль «Две правды», в Мусульманском — отрывки из пьесы «Без тафты». Еще намечались концерты в клубе латышских стрелков «Циня», в Доме трудолюбия, в школе-коммуне «Муравейник» и в казарме дорожно-мостовой роты. Вход всюду был бесплатный, за исключением концерта в гортеатре. Говорили, правда, что по билетам будут пускать и в Мусульманский клуб, где выступали артисты цирка — их и направили туда специально для сборов, поскольку проведенная недавно неделя помощи Западному фронту совпала с постом и праздником ураза, многие мусульмане в неделе не участвовали, средств собрали мало, и теперь руководители клуба хотели наверстать упущенное.

Сам Вадим запасся двумя билетами в театр, один из которых собирался предложить редакционной машинистке Наденьке.

— Ты, значит, текст составлял? — грозно спросил Семченко, дочитав программу.

Вадим насторожился:

— Ну я...

— Где тут у тебя клуб «Эсперо»?

— Нигде, — сказал Вадим. — У вас свои интересы, узкие. Членов мало. Кто к вам пойдет?

— Это у нас узкие интересы? — поразился Семченко.

Все в редакции знали, что бывший комроты Николай Семченко изучает международный язык эсперанто. В боях под Глазовом он был ранен, долго валялся в госпитале, и там его приохотил к этому занятию доктор Сикорский. Сам Сикорский, будучи пацифистом, считал эсперанто залогом всеобщего мира, а его ученик, напротив, твердо верил в грядущие потрясения, при которых эсперанто послужит общепролетарскому делу. Он неоднократно предлагал учредить в газете «Уголок эсперантиста», а на столе у него всегда лежали самоучитель Девятнина и «Фундамент де эсперанто» Людвига Заменгофа, Семченко соблазнял ими каждого второго посетителя редакции. Вадима тоже пытался распропагандировать, чуть не силой всучил ему книжечку «500 фраз на эсперанто», выпущенную в Казани.

Фразы были такие:

«Весною снег и лед тают.

Меньшевик есть человек, недостойный веры.

Жену инженера мы можем назвать одним словом: инженерша.

Моя сестра так чистоплотна, что даже одной пылинки нельзя найти на ее платье.

Мир хижинам, война дворцам.

Чистые белые манжеты и воротничок — хорошее украшение для мужчины, не правда ли?»

И прочее в том же духе — перевод давался тут же. Вадим книжечку взял, подержал у себя для виду, чтобы не сердить Семченко, а после вернул, сказав, что у него к иностранным языкам способностей нет. Вообще-то дома он занимался французским, хотел в университет поступить на исторический факультет, но в изучении эсперанто ни малейшего проку для себя не видел, все равно ничего путного на нем не написано.

— А что там будет, в вашем «Эсперо»? — поинтересовался Вадим. — Концерт, что ли?

— Приходи, увидишь. Завтра после митинга жду тебя возле Стефановского училища. Ясно?

Прозвучало это как приказ, и отказаться Вадим не посмел: если бы не Семченко, его давно выперли бы из редакции за нерасторопность и забывчивость, качества для курьера непростительные. Значит, Наденьке придется идти в театр одной, без него. Черт бы побрал этих эсперантистов!

Еще весной Вадим случайно попал на лекцию московского пананархиста Гордина, который изобрел международный язык «АО». В этом птичьем языке было всего одиннадцать звуков: пять гласных и шесть согласных; на письме они обозначались цифрами. В университетском клубе, где шла лекция, дым стоял коромыслом, в углу кто-то тренькал на гитаре, а Гордин — патлатый, толстый, в чудовищном пиджаке фиолетового бархата с золотой бахромой, словно сшитом из театрального занавеса, писал мелом на доске слова своего языка, объяснял грамматику. Вадим тогда отметил на папиросной коробке спряжение глагола «делать»: «аа» — делать, «биааб» — я делаю, «цеааб» — ты делаешь, «циауб» — ты будешь делать. Потом Гордин взял гитару — это его оказалась гитара — и стал показывать, как те же слова можно изобразить звуками: язык-то был не просто международный, а универсальный! «Циауб! — возглашал он могучим басом, дергая струны и тряся гриф. — «Беаоб!»

Этот язык, как говорил Гордин, предназначен для будущего пананархистского общества, в котором для свободных, не знающих ни страха, ни запретов, нагих и прекрасных людей главную роль будут играть не мысли, а чувства. Да, чепуха, но если уж выбирать между эсперанто и языком «АО», то Вадим, пожалуй, предпочел бы последний. Гордин, тот по крайней мере честно заявил: мое изобретение практического смысла пока не имеет, общество еще не может его оценить, ибо не созрело. А эсперантисты тем и раздражали больше всего, что при всяком удобном случае выставляли напоказ жизненную необходимость своего эсперанто, необыкновенную его важность, и выходило, будто они, провидцы и чуть ли не мученики, весь мир хотят спасти, человечество осчастливить, а окружающие этого не понимают и даже суют им палки в колеса.

Вадим приготовился было рассказать Семченко про Гордина, но тут вошел литконсультант редакции Оси-

пов, сорокалетний брюнет с настороженным и усталым лицом раскаявшегося абрека. Он был заслуженный фельетонист, подвизался еще в «Губернских ведомостях», а потом, при Колчаке, в газете «Освобождение России» вел «Календарь садовода и птичницы». Но Осипов, как он сам хвалился, в этом календаре под видом птиц и различных плодово-ягодных растений ухитрился в критическом ракурсе показать многих деятелей местной администрации и даже омского кабинета министров, за что и пострадал. Правда, не так давно Семченко установил, что выгнали Осипова совсем по другим причинам, к политике отношения не имеющим. Будучи в садоводстве и птицеводстве полным профаном, тот попросту переписывал аналогичный календарь из подшивки одной киевской газеты за пятнадцатый год. При этом ему хватило сообразительности делать поправку на климат, но сроки всяких прививок и подкормок все равно не совпадали, от обывателей стали поступать возмущенные письма, и Осипова со скандалом уволили.

Семченко и ему рассказал, как бы он на месте товарища Беклемышева поступил с топленым маслом.

— Вы, Коля, самый сложный вопрос затронули, — шуясь, отвечал Осипов. — О цели и средствах. Я бы предоставил его решать провидению.

— Как это? — удивился Семченко.

— Ну, если масло в дороге прогоркнет, не доедет до Западного фронта, значит, Беклемышев поступил плохо. А если доедет испорченным, значит, все в порядке, и бог на его стороне...

— Вы тоже завтра к нам в клуб приходите, — перебил Семченко. — Между прочим, в концерте Казароза выступит Зинаида Казароза. Слыхали про такую певицу?

— Казароза, Казароза. — Осипов задумался. — Что-то припоминаю.

2

Если бы Семченко спросили, зачем он, восьмидесятилетний старик, недавно перенесший операцию на почках, два часа простоял в очереди за билетами на Казанском вокзале, а потом сутки трясся в душном вагоне, где не открывалось ни одно окно, он бы не знал, что и ответить. То есть для себя все решил, но объяснить кому-то другому было трудно. Что объяснишь? Были, ко-

нечно, письма — из Союза журналистов приглашали на юбилей областной газеты, из музея звали выступить с беседами о гражданской войне, обещали оплатить командировку через общество «Знание», но такие приглашения приходили время от времени из разных городов, по которым его мотала жизнь, он им радовался, клал на видное место, показывал гостям, однако никуда не ехал. А тут вдруг сорвался. Даже дочь не предупредил, позвонил ей на работу уже с вокзала, чтобы без лишних разговоров. И ведь всего-то было письмо от этой учительницы, Майи Антоновны, просившей написать воспоминания о клубе «Эсперо», — листок в длинном поздравительном конверте, казенные обороты, несколько вкрапленных в русский текст слов на эсперанто.

Ему иногда присылали на рецензирование мемуары, и он сочинял такие рецензии легко, быстро, сам удивляясь точности собственной памяти. Когда один кинорежиссер попросил описать, как выглядело советское посольство в Лондоне в двадцатых годах, Семченко отстукал ему страниц десять на машинке. А незадолго перед тем из ведомственного журнала заказали очерк о деятельности нашего торгпредства в Англии, где Семченко проработал до тридцать четвертого года, и он написал его за вечер, сразу набело, почти без правки, но очерк все равно понравился, напечатан был без сокращений и признан лучшим материалом номера. А эти злополучные воспоминания вымучивал целую неделю — маялся, уныло тыкал одним пальцем в клавиши машинки; потом порвал написанное и отправился на Казанский вокзал.

И сразу понял, что не напрасно, не напрасно поехал, когда вышел из такси возле Стефановского училища. Вокруг выросли двенадцатиэтажные дома, но здание училища осталось прежним — тот же розово-красный неоштукатуренный кирпич, зубчатые бордюры под крышей, железные карнизы, встроенный в правое крыло восьмигранный шатер часовни Стефана Великопермского.

— Пойдемте, покажу вам наш музей, — сказала Майя Антоновна.

На первом этаже, в вестибюле, она открыла боковую дверь, пропустила Семченко в комнату, сумрачную от плотных штор, сказав, что раньше здесь была швейцарская, но он уже и так вспомнил это полукруглое окно, низкий сводчатый потолок: в двадцатом году здесь раз-

мешалось правление клуба «Эсперо», хранились архив и библиотека.

Ему приходилось бывать в школьных музеях, и здесь все было то же самое: планшеты на стенах, за стеклом витрины немецкая каска, ствол СВТ, россыпь проржавевших патронов. Лист ватмана под ними пожелтел, скоробился, и Семченко, как это часто бывало с ним в последние годы, вспомнил окопы сорок первого, нестойкий слитный запах пороховой гари, талого снега и раскаленной латуни, который иногда мерещился теперь в начале почечного приступа.

На видном месте висел большой портрет Чкалова — писан маслом, но узнать все-таки можно. Под ним, на тумбочке, старинный самовар без крышки.

— Наша школа носит имя Чкалова, — объяснила Майя Антоновна. — Мы собираем воспоминания о нем, встречаемся с людьми, лично знавшими Валерия Павловича.

Семченко кивнул на самовар:

— Его собственный?

— К сожалению, нет. Это подарок человека, который видел Чкалова.

— Да-а! — Семченко нахально пристукнул палкой по самовару. — Он бы вам еще подштанники свои подарил. Тоже реликвия!

— Вот этот человек в молодости. — Как бы не слыша, Майя Антоновна показала фотографию на одном из планшетов. — Он всегда охотно откликался на наши просьбы, приходил в школу, рассказывал ребятам о Чкалове.

— И все-то, наверное, врал... Он что, летчик был?

Лицо на фотографии, обрамленное летным шлемом, казалось почему-то знакомым — длинное, с длинным острым подбородком, чуть асимметричное от неумело наложенной ретуши.

— Нет, просто служил в аэродромной охране.

— А для чего шлем напялил?

Но Майя Антоновна обладала замечательной способностью не слышать то, что ей не нравилось.

— После демобилизации он вернулся в родной город, — сообщила она. — До самой смерти работал директором гостиницы «Спутник». И знаете, как его там все уважали? Скажешь, что к Ходырёву, прямо в лицо меняются: пожалуйста, пожалуйста... У него в городе

был очень большой авторитет. А вы случайно в двадцатых годах с ним не встречались?

— Было дело, — сказал Семченко и еще раз ударил палкой по ходыревскому самовару, уже посильнее.

Самовар подпрыгнул на тумбочке, басовитый звон вырвался из его медного чрева.

Это было в тот день, когда Вадим Кабаков привел в редакцию Глобуса. В три часа дня, отдав Наденьке перепечатать статью «Как бороться с безнавозьем», написанную одним из уездных агрономов, Семченко отправился на заседание народного суда — уже давно следовало принципиально осветить его деятельность, растолковать что к чему, а то всякие опасные слухи ходили по городу.

Суд заседал в бывшем ресторане Яроцкого, чье одноэтажное, похожее на барак здание стояло у речного взвоза, рядом с клубом водников «Отдых бурлака». Далеко внизу теснились причалы — когда-то шумные, а теперь пустынные, ветшающие, со сломанными перилами и щербатыми сходнями, за ними темнела у берега вереница плотов. На плотам копошились люди с баграми — маленькие, неуклюже двигавшиеся фигурки; шла заготовка дров для городских учреждений. На эту работу направляли беженцев, которые начали возвращаться из Сибири после разгрома Колчака. Решением губисполкома каждый мужчина должен был заготовить по пять кубов, а каждая женщина — по два с половиной. Лишь после этого беженцы получали документы на право жительства.

Когда Семченко вошел в зал, послеобеденное заседание уже началось. На эстрадном возвышении, где когда-то пел цыганский хор, за длинным, почти без бумаг столом, который одной своей аскетически пустынной плоскостью способен был внушить уважение к суду, сидели трое, из чего Семченко заключил, что разбирается дело средней важности; в серьезных случаях приглашали не двоих заседателей, а шестерых. В центре перебирал какие-то листочки судья, пожилой слесарь с сепараторного завода, справа поигрывал пальцами незнакомый усатый кавказец, а слева сидела Альбина Ивановна, учительница из «Муравейника», входившая, как и сам Семченко, в правление клуба «Эсперо».

В зале было темно, мусорно. Первые ряды деревян-

ных лавок свободны, а дальше отдельными кучками разместились немногочисленные зрители. Кивнув Альбине Ивановне, Семченко пристроился во втором ряду, с краю.

Судили шорника Ходырева за кражу приводных ремней из паровозоремонтных мастерских.

Сам Ходырев, чернявый, унылого вида мужик лет сорока пяти, стоял на эстраде сбоку, за ним, в полушаге — милиционер. Свидетелей уже допросили.

— И брал, значит, — говорил Ходырев, тяжело сглатывая. — Там с улицы дыра есть в заборе. И в стене дыра. Прошлым летом пристрой на кирпич разбирать стали, да не кончили. Досками только забито... И брал, значит.

— Вы утверждаете, — сказал судья, — будто брали одни обрезки. А вот свидетели другое показали.

— Чем начнется, тем не кончится, — вставил кавказец.

— Ты, папаня, всю правду говори! — крикнули сзади. — Расскажи, как из «Рассвета» к тебе приходили!

Семченко обернулся — рядов через пять-шесть от него сидела зареванная баба с младенцем на руках, а рядом стоял паренек лет семнадцати, такой же чернявый и тощий, как Ходырев.

— Из «Рассвета», значит, ко мне приходили, — послушно начал тот, — из кооператива ветлянского. Зятек у меня там... Они всех лошадей на одну конюшню свели, сбрую тоже снесли. Сторожа, само собой, приставили. Мужики-то не хотели сперва, так уполномоченный из города приезжал, ругался. «Это, — говорит, — у вас кооператив буржуазный, всяк в своем углу сидит. Такие-то и при старой власти были...» Ну и свели, значит. А как сеять, упряжь и пропала. Кулаки, ясно дело, подгадили. Кто еще? А у них там ни шорника доброго нет, ни материала. Ну, зятек и подбил на грех. А так обрезь брал. — Ходырев хотел перекреститься, но раздумал.

— Расчет с вами производился деньгами?

— Не пряниками же! — огрызнулся Ходырев и тут же сник. — Маслица маленько дали, свининки...

Недавно Семченко был на объединенной сессии губчека, военно-транспортного трибунала и бюро угрозыска; там говорили, что случаи шпионажа и контрреволюции в городе резко пошли на убыль, зато возросло число преступлений на должности и воровство: лишь за одну неделю судили трех кладовщиков, торговавших похи-

ценным с железнодорожных складов мылом, бемским стеклом и минеральным маслом, корейца из табачной артели за спекуляцию спичками и начальника карточного бюро при потребобожестве за неправильное распределение талонов на питание в столовых.

Судья спросил:

— Вы знали, что обрезки тоже идут в дело? Их же сшивают. Итак вон сколько станков стоит из-за этих ремней... Знали?

— Так ведь и упряжь, поди, нужна, — рассудил Ходырев.

— Сами-то, гражданин судья, на велосипеде ездите? — опять встрял паренек за спиной у Семченко.

— Помолчи, сынок, — устало сказал судья.

— Надо нам из кооператива свидетеля вызывать, — предложил кавказец. — И если он нам сейчас неправду говорит, положить на него двойное наказание. Вот у хана Аммалата был закон...

— Ссылки на законы свергнутых правительств запрещаются, — напомнила Альбина Ивановна.

— Хватит свидетелей, — сказал судья. — Пускай благодарит, что мы его судим, а не военно-транспортный трибунал. Мастерские-то паровозоремонтные.

— Спасибо, — серьезно кивнул Ходырев.

— Да ты что, папаня! — опять крикнул тот самый паренек. — Не старая власть, чтобы кланяться!

— Сиди, Генька, — приказал Ходырев. — С имя не поспоришь.

На руках у его жены зашелся в вопле младенец, и именно потому, что жаль стало и Геньку, и эту бабу, и младенца, Семченко решил не поддаваться жалости. Он встал:

— Можно мне выступить?

Судья удивился:

— Зачем?

— Позвольте, — вмешалась Альбина Ивановна, — в слушании дела имеют право принять участие один защитник и один обвинитель из числа присутствующих на заседании.

— А вы кто? — спросил судья. — Обвинитель или защитник?

— Это уж вы сами решайте. Я просто хочу зачитать суду и собравшимся вот это письмо, поступившее к нам в редакцию. — Семченко достал из кармана листок, развернул и помахал им в воздухе. — Вот... «В декабре

1918 года при эвакуации красных со станции Буртым был выброшен кем-то из вагона маховик с валом кривошипа двигателя внутреннего сгорания. Недавно ездил с женой в коопторг за мукой и увидел: он до сих пор лежит на станции Буртым, когда в республике нужда. Как же получаются такие дела? Муки нет, мыла нет, машина где-то стоит в бездействии, а маховик лежит. С комприветом Семен Кутьев»... Видите, товарищи, — Семченко посмотрел на Геньку, — что творится! Машины стоят, станки стоят. Мы даже хлеб из Сибири вывезти не можем, потому что паровозов не хватает...

— Покамест и лошади нужны! — подскакивая к эстраде, крикнул Генька.

— Правильно, — согласился Семченко. — Кто же говорит, что не нужны? И гражданина Ходырева мне, конечно, жаль. Но судить его следует по всей строгости настоящего тяжелого момента. Иначе этот момент и не кончится никогда.

Опять, надрывая душу, заверещал ходыревский младенец, и кто-то сзади сказал:

— Да не щипи ты его, бога ради! Не щипи...

— Перестань, мать! — Генька погрозил ей кулаком и бесшумно, по-кошачьи, вскочил на эстраду. — Вот если бы папаня мой только обрезки брал, вы бы его к штрафу приговорили? Так? А остальное он для доброго дела позаимствовал. Для всеобщего счастья. Так? Вот за эти обрезки и судите, по справедливости!

Семченко уже сидел на своем месте, испытывая почему-то чувство неловкости, хотя все вроде сказал правильно — меньше всего этот мужик заботился о всеобщем счастье. Потом поднял голову и встретился с ненавидящим взглядом Геньки, которого милиционер выводил из зала. Глаза у него были бешеные, чуть выкаченные из орбит.

Ходырева приговорили к году общественно-принудительных работ с высылкой из города.

Семченко выслушал еще одно дело, перекинулся с Альбиной Ивановой несколькими словами по поводу завтрашнего вечера в Стефановском училище, а когда вышел на улицу, сразу увидел Геньку: одна рука в кармане штанов, другая отведена за спину, напряжена в плече. Семченко двинулся к нему, намереваясь поговорить по-хорошему, все объяснить, и тут же пущенный камень скользом оцарапал скулу.

— Ты что? — Он остановился.

Генька отпрыгнул в сторону и заорал:

— Башка каторжная! Сука ты! Сука!

— погоди, не трону, — смиряя себя, сказал Семченко. — Ты пойми! Если каждый под себя грести начнет, какое же тут всемирное счастье? Ты сам подумай! Если воруешь, отвечать надо.

Спокойным, лишь странно высоким от горловой судороги голосом Генька сказал:

— Влез-то зачем? Кто тебя звал, козел бритый?

Он бесстрашно стоял в двух шагах, скособочившись от напряжения, бледный, похожий на затравленного зверька, и такая ненависть была в его взгляде, что Семченко стало не по себе — повернулся и пошел прочь.

Но ни о чем об этом, разумеется, Майе Антоновне рассказывать не стал.

— Значит, мы договорились, — напомнила она, провожая его к выходу. — Встреча состоится завтра, в шесть часов. Здесь, в школе. Жаль только, что Кадыр Искандерович на курорте. Вы его помните?

Семченко с трудом вспомнил, что был такой Минабаев, лишь когда получил письмо от Майи Антоновны, но покивал уважительно: мол, как же не помнить?

— Кадыр Искандерович много рассказывал нам о клубе, о вас. — Она все время цитировала в разговоре собственное письмо. — Так жаль, что его не будет на встрече.

— А про певицу Казарозу он вам не рассказывал?

— Странная фамилия. Она тоже была эсперантисткой?

— Да нет, не была.

— Вы ведь в «Спутнике» остановились? — уже на крыльце спросила Майя Антоновна. — Какой у вас номер? Может быть, забегу вечером. Не возражаете?

— Триста четвертый, — сказал Семченко. — Милости прошу.

Спустился с крыльца, помедлил, подставляя лицо весеннему солнышку, потом сел на скамейку. Рядом, свесив голову, дремал маленький благообразный старичок, час назад заходивший в учительскую, — рот полукруглым, легкий белый пушок на темени шевелится от едва ощутимого ветерка, и Семченко с удовольствием подумал, что сам он никогда, ни при каких обстоя-

ствах не позволил бы себе заснуть вот так, прямо на улице.

Он достал бумажник, набитый визитными карточками и использованными аптечными рецептами, которые почему-то не решался выбрасывать, осторожно вынул плотную старинную фотографию с обтрепавшимися углами. Это был снимок с картины художника Яковлева — портрет Зинаиды Казарозы. В центре полотна, окруженная дикими зверями, стояла крохотная изящная женщина с птичьей клеткой в руке. Звери были всякие, но все со свирепыми мордами, оскаленные, вздыбленные — и медведь, и бегемот, и непонятный мохнатый уродец с прямым и длинным рогом на поросячем носу; даже мирный слон, и тот изготовился к нападению, взвив хобот и наставив клыки. Узкую, с круглым верхом клетку женщина держала за кольцо, чуть отведя в сторону, в клетке сидела райская птица, и взгляд у них обеих — у женщины и у птицы — был растерянный, непонимающий.

Утром первого июля Семченко побрился — голову и лицо, — пришел к вороту гимнастерки недостающую пуговицу и отправился в гортатеатр. В театральных переходах, располагавшихся внизу, на уровне полуподвала, было сумрачно, пахло пылью. За одной из дверей легковесно пиликала скрипка. Скрипку Семченко не уважал за ненатуральность звука, из музыкальных инструментов он больше всего ценил гитару — умел играть на ней романс «Ни слова, о друг мой, мы будем с тобой молчаливы...» и все кавалерийские сигналы. Он потянул на себя дверь, скрипка умолкла. Здоровенный мужик во фраке, надетом прямо на голое тело, спросил:

— Вам кого?

— Не подскажите, где бы Казарозу найти?

— Зинаида Георгиевна у себя в уборной. — Скрипач указал направление смычком. — Четвертая дверь направо... А по какому, простите, делу?

Не ответив, Семченко закрыл дверь и двинулся дальше по коридору.

..В восемнадцатом году, в Питере, в нетопленном зале на Соляном Городке, где зрители курили прямо в креслах и куда он попал случайно, бродя по столичным окраинам, увидел на сцене крохотную, удивительно сложенную женщину. Играла она в пьесе «Фуэнте овеху-

на», то есть «Овечий источник», а по ходу действия, аккомпанируя себе на бубне или на гитаре, танцевала и пела песенки, ни мелодии, ни слов которых Семченко не запомнил, потому что во все глаза смотрел на певицу, других артистов попросту не замечал. Он сидел в первом ряду, развалившись, нахально вытянув перед собой ноги в забрызганных грязью офицерских хромачах, снятых с убитого поручика под Гатчиной, вызываясь передвинув кобуру с бедра на живот, и рядом с ним никто не садился, можно было раскинуть руки на соседние кресла. Пьеса была испанская, но вполне революционная, хотя даже это вскоре перестало интересовать: видел одну главную героиню.

У нее были темные, с вишневым оттенком глаза, круглый подбородок; гладкие, пепельно-русые волосы, скелетные на затылке, углом обрамляли лоб и лежали как-то очень просто, мило, словно и в обычной жизни носила такую прическу, не только на сцене. Была она в неких полупрозрачных белых одеждах, на другой женщине эта хламида выглядела бы нескромно, а на ней — нет. И танцевала тоже просто и мило, как танцуют для собственного ребенка, причем босиком, не боясь занозить ноги о некрашенные доски пола.

В перерыве поинтересовался, кто такая, и объяснили коротко, удивившись, что не знает: Казароза, певица.

После спектакля, когда немногочисленная публика потянулась к выходу, Семченко пробрался за кулисы, отыскал Казарозу и предложил ей на завтра поехать в казарму, где стоял их полк, выступить перед бойцами. Он и сам понимал, что это предлог, не больше, просто хотелось увидеть ее еще раз, поговорить, услышать ее голос, обращенный не в зал, а лично к нему, Семченко. Время было смурное, маетное. Сегодня жив, завтра мертв. Через несколько дней полк отбывал на фронт, а пока все же в Питере стояли, в столице как-никак, в Северной Пальмире, и возмечталось вдруг о чем-то таком, особенном, вот и пошел. Думал, уговаривать придется, приготовился даже воззвать к ее революционной совести, если откажет, но она сразу согласилась. А на следующий день, после концерта в казарме, где пела странные, неожиданно вышибающие слезу песенки — про Алису, которая боялась мышей, про розовый домик на берегу залива, Семченко пошел ее провожать. Желающих обнаружилось много, но он всех отшил. И от лошади втихую отбоярился, сказав, что нет лошадей. Пошли пешком.

Тянуло осенней моросью, фонари не горели. Семченко старался идти помедленнее, но она быстро перебирала маленькими своими ножками и не отставала, когда он незаметно для себя прибавлял шаг. Светлые ее башмачки оставались чистыми, как-то она так умела ходить по слякоти, что совсем не забрызгивалась, будто плыла над лужами, над грязной мостовой, и Семченко не знал, о чем разговаривать с такой женщиной, шел рядом и молчал. Уже где-то на Литейном спросил: «Откуда у вас такая фамилия? Вы русская?» Она объяснила, что это псевдоним, имя для сцены: «каза» по-испански значит «дом», «роза» — «розовый». «Розовая хата», — перевел Семченко, и она поправила: розовый домик. Улыбнулась: «Один человек меня так назвал, и прижилось...» Семченко ощутил почти ненависть к этому человеку, мужу, наверное, или любовнику, давшему ей новое имя, как победитель переименовывает завоеванный город. «А настоящие-то имя-отчество?» — «Зинаида Георгиевна, — ответила она. — Шершнева...» У многооконного темного дома на Кирочной набрался смелости и попросил, хрипло хихикнув от неловкости: «Мне бы адресок ваш! Черкну, может, письмишко. » Вежливо, как бы и не удивившись, она сказала адрес и ушла, хлопнула дверь подъезда, а Семченко испытал даже облегчение, что вот она ушла, и все так хорошо кончилось. То есть никак не кончилось, но именно это и было хорошо. Шел обратно и повторял: Казароза, Каза-роза. И явилась мысль: казарма, каза-арма, дом армии, военный домик. Потом уж, когда эсперанто занялся, частенько про это вспоминал — язык был как вода у берега, и камушки на дне виднелись.

Она сидела перед зеркалом и не обернулась на скрип двери.

— Здравствуйте, Зинаида Георгиевна, — сказал Семченко, напирая на ее отчество, которое в афише не значилось.

Она ответила его отражению:

— Почему вы входите без стука?

— Я стучал, вы не слышали...

Даже в этом грязном, с облупившейся амальгамой зеркале видно было, как изменилась она за два года — пожелтело и посерело лицо, впадины прорезались под

скулами. Но волосы, сколотые на затылке, лежали так же, и глаза были прежние, и голос.

Она повернулась наконец:

— Что вам угодно?

— Вы меня не помните?

— Нет. — И даже попытки не сделала всмотреться внимательнее.

— Розовый домик. Алиса, которая боялась мышей. — Семченко произнес эти слова со значением, как явочный пароль.

Теперь-то он знал, что это были песни ее славы — далекой, почти неправдоподобной. Последние справки навел три дня назад, когда попала на глаза афиша приезжей петроградской труппы, где номером первым шла Зинаида Казароза — «романсеро Альгамбры, песни русских равнин, дивертисмент».

— Вы слышали меня в Петрограде?

— Я провожал вас однажды до дому. Вы жили на Кирочной...

О чем еще мог он сейчас ей напомнить? О том, что ходит, не забрызгиваясь? Что ладошка у нее смуглая? Голову он тогда не брил, и ухо было целое, и ни о чем существенном поговорить не успели, даже имени его не знает.

— На Кирочной? Действительно, я там жила одно время. Где только не встречаешь знакомых... Напомните, пожалуйста, вашу фамилию.

— Семченко.

— Вы хотите пройти на сегодняшний концерт? Я, конечно, могу дать вам контрамарку. Две, три, сколько угодно. — Она встала, кутаясь в халат. — Но, знаете, мне бы этого не хотелось. Если можете, то не ходите. Сравнение меня со мной не доставит вам радости...

— Собственно, я по другому делу, — сказал Семченко. — Я к вам по поручению городского клуба эсперантистов.

— Вот как?

— Да-да! Не могли бы вы что-нибудь спеть на нашем сегодняшнем вечере?

— Господи! — Она помотала головой. — Не может быть! И вы изучаете эсперанто?

— А чего тут особенного? Такое уж время.

— Надо же, эсперанто! Что ж, если так, я согласна... В каком году вы слышали меня на сцене?

— Осенью восемнадцатого.

— Тогда обещайте не проводить никаких сравнений... Значит, завтра вечером?

— Сегодня.

— Но я же сегодня занята в концерте...

— В начале первого отделения, я знаю. А к нам вы можете приехать позже. Вас встретят прямо возле театра. Кстати, у нас есть денежный фонд. На какой гонорар вы рассчитываете?

— Лучше бы что-нибудь из продуктов...

— Мы подумаем. — Семченко положил на подзеркальник лист бумаги. — Это романс «В полдневный жар в долине Дагестана». Слова Лермонтова. На эсперанто перевел доктор Сикорский. Мелодию вы знаете?

— Да. — Она явно ошеломлена была этим напором.

— Буквы латинские. Внизу я написал, как они произносятся. — Семченко ткнул пальцем в бумагу. — К вечеру выучите слова. Вас будут ждать с восьми часов у главного подъезда. До встречи!

3

Клонило в сон. Вадим Аркадьевич встал, прогулялся вдоль скамеек, поджидая Семченко, а когда шел обратно к своей, увидел возле школьного крыльца чугунную тумбу, косо торчавшую из асфальта. Сколько раз он ходил здесь, а этой тумбы никогда не замечал. Асфальт у ее основания вздулся, посекся трещинами, словно она только сейчас выросла из земли.

Он пристроился на скамейке напротив, и сквозь подступавшую дремоту подумал вот о чем: когда Семченко выйдет из школы, можно будет обратиться к нему по имени-отчеству, но на «ты». Что значат теперь те восемь лет, которые разделяли их тогда!

Вечером первого июля Вадим сидел на этой тумбе у крыльца Стефановского училища, ждал Семченко. Народ расходился с митинга. Мимо пронесли фанерного красноармейца — розовощекого, рот растянут, как гармоника; на его деревянном штыке болтались чучела генералов с лицами защитного цвета. Из галифе, отметил Вадим. Видать, много дорог исходили в этих галифе под дождем и солнцем, и потому тусклы, печальны были у генералов лица.

Неподалеку крутился Генька Ходырев, сосед. Вадим окликнул его:

— Ходырь! Подь-ка сюда!

— Чего тебе? — издали отозвался тот.

— Скажи мамке, пускай за козой лучше смотрит. Вечно ваша Билька у афишной стенки отирается. Вчера два раза гонял, у праздничной программы весь низ объела.

— Выше клеить надо, — сказал Генька и исчез в толпе.

Семченко приехал без четверти восемь. Он вылез из брички, ласково потрепал Глобуса по решетчатой морде:

— Это тебе, брат, не пушку таскать!

Привязал его к тумбе и ткнул пальцем в кучерявого пацаненка:

— Ты покараулишь. Вернусь, двадцать рублей дам.

— А я! Дяденька, а я! — заныли его голопые сора-ратники.

— Ну, вместе караульте. Семечек вам куплю.

— У ветеринара были? — спросил Вадим.

— Ага. Говорит, соколок воспален немного, мазь дал.

Они поднялись на крыльцо, над порталом которого уродливо зияла разбитая лепка царского герба, миновали прихожую и очутились в просторном предлестничном вестибюле. Здесь стояли трое молодых людей, по виду — студенты. Семченко пожал им руки, сказав:

— Бонан весперон.

Звучало это таинственно и строго, будто не на праздничный концерт пришли, а на сборище заговорщиков.

— Бонан весперон, Николай Семенович. — уважительно отвечали молодые люди. — Добрый вечер.

Потом они заговорили по-русски — про парад на Сенной площади, про митинг, а Вадим стал рассматривать диковинный плакат, висевший возле двери, на котором красками нарисован был согнутый указательный палец размером с дужку ведра. У ногтя, а также у внутренних и внешних сгибов его фаланг красовались латинские буквы, рядом на эсперанто написан был стишок в четыре строки. О том, что это стишок, можно было догадаться по окончаниям.

— Что это? — спросил Вадим. — Почему палец?

Семченко отмахнулся:

— А, чепуха! Не обращай внимания.

— Он вход в зал указывает?

— Юноша интересуется, Николай Семенович! Почему же не объяснить? — К ним подходил франтоватый старичок с длинными седыми волосами, косицами свисавшими на ворот пиджака. — Это изобретение нашего учителя, доктора Заменгофа. С помощью собственного пальца можно определить, какой будет день недели в любое число года. Инструмент простейший — палец! А сколько пользы! Смотрите, буква А соответствует понедельнику и так далее по ходу часовой стрелки. Стихотворение — это ключ. Выучить его наизусть весьма просто, даже если вы не знаете эсперанто. В нем всего двенадцать слов, по числу месяцев...

— Ведь договаривались же! — рывкнул вдруг Семченко. — Или снимайте это безобразие к чертовой матери, или другие стихи придумывайте! — Он сорвал плакат, смял его.

— Что вы себе позволяете? — возмутился старичок. — Я буду ставить вопрос на правлении, да-да!

— Ладно, Игнатий Федорович, — Семченко примирительно положил руку ему на плечо, — не сердитесь. Скажите лучше, кого вы нарядили Казарозу встречать?

— Ваша затея, вы и распоряжайтесь. При таком обращении я вообще готов сложить с себя председательские полномочия.

Семченко повернулся к Вадиму:

— Выручай, брат! Бери нашего Буцефала, дуй к театру. Встретишь там Казарозу и доставишь сюда... Выступать сейчас, а то сам бы поехал.

— Из себя-то она какая?

— Маленькая, тебя меньше. Волосы серые, гладкие, вот так углом лежат. — Семченко сложил у лба свои крупные бугристые ладони, словно собирался молиться по-татарски, затем развел их вниз и в стороны. — Да не сомневайся, ее сразу узнаешь!

— Старичок этот — ваш председатель, что ли? — спросил Вадим, когда вместе вышли на улицу.

— Линец Игнатий Федорович, — кивнул Семченко. — В конторе железной дороги служит. На эсперанто шпарит — заслушаешься!

— А о чем все-таки тот стишок?

— Дался он тебе! Ну, не наш стишок, не наш... Про надежду там — в религиозном смысле, про бога, про смирение. Но народ любопытствует. Завлекательно, да и календарей пока не хватает...

Вадим взял вожжи, через пять минут бричка свернула с булыжника на немощеную Торговую, и слева, над крышами, поднялась желто-белая уступчатая пирамида соборной колокольни; оттуда, с реки, надвигалась на город вечерняя прохлада.

С тротуара махнул рукой Осипов, и Вадим остановился. Литконсультант был порядком навеселе, он с трудом залез в бричку, но сесть гордо отказался, стоял, уцепившись Вадиму за плечи.

— Хе-хе! Господам эсперантистам нужна реклама! — Узнав о цели поездки, Осипов попытался ернически потереть ладони и едва не вывалился на землю.

Напротив театрального подъезда возвышалась оставшаяся после митинга дощатая трибуна, расписанная лозунгами, возле нее и остановились. Осипов никуда уходить не собирался, явно решив дожидаться Казарозу, что Вадиму не понравилось. Вообще этот человек доверия не вызывал. Имея жену и двоих детей, он самым откровенным образом ухлестывал за Наденькой, охмурял ее балладой собственного сочинения, напечатанной когда-то «Губернскими ведомостями» ко Дню Белого цвета — Всероссийскому дню борьбы с туберкулезом.

Наконец вышла из театра маленькая стройная женщина в зеленой жакетке, с сумочкой на ремешке; Вадим окликнул ее, и она почти подбежала.

— Я Казароза. Вы из эсперанто-клуба?

Осипов церемонно представился ей, поцеловал руку, а когда стали усаживаться, из подъезда выскочил светловолосый паренек в белой косоворотке.

— Поклонник, — сказала Казароза. — В поезде познакомились, и по пятам за мной ходит. Никуда от него не денешься.

Паренек уже стоял у брички, смотрел умоляюще:

— Зинаида Георгиевна, разрешьте мне с вами...

— Неужели, Ванечка, я вам еще не надоела?

— Да пускай едет, — сказал Осипов. — Мы все ваши поклонники. Имя нам — легион. Пора уже ввести какой-нибудь отличительный знак на одежде, чтобы узнавать друг друга на улице.

Кумышкой от него разило нестерпимо.

— Выпил, знаете ли, бокал шампанского, — объяснил он. — Праздник сегодня. А я тоже внес посильную лепту в дело освобождения.

Тронулись. Слегка приобняв Казарозу за талию, Осипов начал рассказывать, как в своем «Календаре са-

довода и птичницы» на посмешище всему городу вывел Виктора Пепеляева, министра внутренних дел в Омском правительстве, под видом крыжовника.

— Почему именно крыжовника? — удивилась Казароза.

Но Осипов уже перевел разговор на другую тему:

— Простите, не спросил, как принимала вас наша публика?

— Вы не представляете как хлопали, — сказал Ванечка. — И в зале битком. Полный сбор.

— Ну, — улыбнулась Казароза, — это потому, наверное, что буфет очень хороший. Бутерброды с колбасой, с салом.

— Нет, нет и еще раз нет! — горячо возразил Осипов. — Наша публика видит истинный талант. Эти бутерброды ей — тьфу, поверьте мне! Вы попросту недооцениваете российскую губернию. Я имею в виду губернские города. Разве не они явили всему миру пример борьбы за подлинную демократию, против обеих диктатур — генеральской и пролетарской. Уфа, Самара, Пермь, Архангельск...

— Вы что, — спросил Ванечка, — учредилонец?

— Я боролся против Колчака, и я свободный человек! — заявил Осипов. — И ты, миленький, на меня ярлыков не вешай. На мне их знаешь сколько навешано? Как на чемодане. И я вам говорю: через губернские города пройдут пути истории в двадцатом столетии. Всемирной, заметьте, истории!

Вадим правил бричкой, Казароза шепотом спрашивала у него про улицы — как называются, Ванечка лузгал подсолнухи, а Осипов продолжал витийствовать:

— Европа одряхла, да, но давайте открыто и честно поглядим в лицо правде. Разве из Северной Пальмиры не сыплется песок? А из Третьего Рима? Я губернский интеллигент в третьем поколении и горжусь этим. Но говорю себе: смирись, гордый губернский человек!

— Почему же вы так говорите? — равнодушно спросила Казароза.

— Пока еще моя гордость — лишь обратная сторона ущемленного самолюбия. Признайтесь, ведь я вам смешон со своими претензиями. Или не так? Мы, провинциалы, смешны, зато мы легче воспаряем в сферы. Когда, вот как сейчас, я еду по грязной улице, среди канав, среди мусора и жалких развалюх, вижу вокруг изможденных, некрасивых, плохо одетых мужчин и

женщин, мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть этого убожества. И с закрытыми глазами я легче воспаряю! Мне эсперанто подавай! А если уж мировую справедливость и всеобщее счастье, так немедленно! Как в трактире. Эй, человек, а подать нам... И уже подано, в рюмки налито. И воспаряю! — Осипов крепче приобнял Казарозу за талию. — Но вы-то человек столичный. Для чего вам наши доморожденные эсперантисты?

— Это мое дело, — резко ответила она.

У входа в Стефановское училище их никто не встретил, пришлось подниматься в зал самим. Там сидело человек пятьдесят-шестьдесят, не больше; толпы сочувствующих, о которых рассказывал Семченко, отправились, видимо, в другие очаги культуры. Возле дверей, протянув через проход длинные ноги в обмотках, развалился на стуле какой-то курсант с пехкурсов имени 18 Марта. Запах от него шел такой же, как от Осипова, только посильнее; он, похоже, дремал, свесив голову и распустив губы. Вадим отодвинул в сторону его ноги, и они все четверо сели в предпоследнем ряду.

На голой сцене стоял Семченко и произносил речь.

— ...необходим каждому сознательному пролетарию! — гремел в полупустом зале его голос. — Теперь эсперантизм не игрушка, не праздное развлечение ленивых бар. Он теперь есть боевое и грозное оружие в мозолистых руках пролетариата. Да здравствует пролетарский эсперантизм!

Затем, старательно выговаривая слова, он произнес несколько фраз на эсперанто, в зале неуверенно захлопали — видать, точно не знали, надо хлопать или нет, а курсант, с усилием приподняв голову, пробасил возмущенно:

— По-каковски чирикаешь, контра?

На него зашикали, оборачиваясь, и он вновь прикрыл глаза. Семченко тоже посмотрел в ту сторону, поймал взгляд Вадима и быстро сбежал со сцены.

В длинном и узком зале Стефановского училища более или менее плотно заполнены были первые ряды, потом — примерно до второго окна, всего окон было три — сидели отдельные зрители, а дальше совершенно пустые стулья простирались до самых дверей.

— Пойдемте ближе, Зинаида Георгиевна, — пригласил Семченко.

Повел ее, поддерживая под локоть, за ними двинулись Ванечка, Вадим и Осипов, который при Семченко

неизменно бывал тих и покладист. Пробрались в середину четвертого ряда, сели.

— ...со времен Александра Македонского и еще раньше, что получило свое воплощение в известной легенде о строительстве Вавилонской башни и последующем разделении языков. — Теперь выступал старичок председатель, Игнатий Федорович. — Многие мыслители воспринимали это как проклятие, тяготеющее над человеческим родом и заставляющее его самоистребляться в братоубийственных войнах...

Казароза сидела, чуть подавшись вперед, слушала внимательно. Ванечка, устроившийся между ней и Вадимом, по-прежнему лужгал семечки, губы его безостановочно двигались, выбрасывая в ладонь лохмы подсолнуховой шелухи. С другой стороны от Казарозы сидел Семченко. Вадим услышал, как он объяснил ей:

— Само слово «эсперо» означает «надежда». Эсперанто — надеющийся...

— Как странно, что я здесь, — шепотом отвечала она.

— Все нации живут, словно замкнутые в особых клетках живые существа, — говорил Линеv. — Клетки же — языки. Но теперь ключ от них найден. Это нейтральный вспомогательный международный язык эсперанто...

Хотя вода в этом году поднялась не сильно, все равно размыло кое-где выгребные ямы, в приотворенное окно тянуло слабым запахом отбросов, гнилью, и как-то неловко было оттого, что Казароза тоже слышит этот запах. Вадим покосился на нее и еще раз отметил, что хоть и стройная, но худющая, серая. Да и понятно: в Питере со жратвой плохо, ни огородов, ни зелени, один камень. Козу не выпустишь. А сам он даже в голодуху почему-то всегда оставался румяным. Такой румянец пылал на щеках, что перед людьми было стыдно — этакий пузан-розан; однажды прямо на улице какая-то баба, тощая, как смерть, вцепилась в лицо ногтями, орала, плакала, материла его на чем свет стоит. А разве он виноват, что с пустой картошки так и пышет?

Желтоватый блеск двух электрических лампочек мешался с белесым светом июльского вечера. Линеv уже шпарил на эсперанто, это у него и в самом деле здорово получалось — легко так, с улыбочкой, будто анекдот

рассказывает. Но долго. Вадим прикрыл глаза, сохраняя на лице выражение уважительного и вдумчивого внимания, потом задремал.

Проснулся Вадим Аркадьевич от глухого рокота — по мостовой, сметая щетками мусор, двигалась уборочная машина. Он подумал, что в двадцатом году и мусор-то на улицах был другой — бумажного почти не было, зато везде слоем лежала подсолнуховая лузга, сохли козьи катуки. Вспомнилось, как они с сестрой угорели в детстве, и мать засовывала им в уши эти катуки; считалось, будто они помогают от угару.

Мать умерла от брюшняка зимой восемнадцатого. А отца в девятнадцатом году расстреляли белые: он служил метранпажем в земской типографии и отказался разбирать машины для эвакуации их в Сибирь. От родителей осталась единственная фотография, послесвадебная — сидят на фоне драпировок и гипсовых колонн в фотоателье, молодые, испуганные, и мать нарочно выставила вперед руку с новеньким обручальным кольцом.

Занятия в школе кончились, у крыльца галдела малышня, старшеклассники покуривали, спрятавшись за угол, и Вадим Аркадьевич понял, что Семченко-то он прозевал. Вернулся в школу, отыскал Майю Антоновну и выяснил, что Николай Семенович Семченко, сегодня приехавший из Москвы, остановился в гостинице «Спутник», в триста четвертом номере, а завтра к шести часам вечера придет в школьный музей на встречу с городскими эсперантистами.

4

Пообедав, Семченко поднялся к себе в номер, прилег на кровать и попробовал вспомнить хоть что-нибудь на эсперанто. Но нет, он его совсем забыл, начисто. Английский помнил, мог газеты читать, а эсперанто забыл. Впрочем, и тогда, пожалуй, больше интересовал не сам язык, а то, что за ним открывалось.

Линев объявил:

— Гимн эсперантистов. Исполняют Тамара и Клавдия Бусыгины и Роза Вейцман.

Слова гимна Семченко знал и сразу почувствовал

себя увереннее. До этого, пока говорил Линеv, было неспокойно. Вдруг Казароза попросит перевести? А он тык-мык, и все. Врать пришлось бы. Но она сидела тихо, молчала. Семченко видел ее тонкую шею, волнистую мережку у ворота блузки, сквозь которую просвечивала кожа, проколотую мочку маленького уха — серьги-то продала, наверное. А куда же делся человек, придумавший ей такое имя? Что это, черт возьми, за мужчина, при котором женщина вынуждена продавать свои сережки! Или дал имя, как тавро поставил, и бросил? Казароза молчала, деревенеющей от волнения рукой Семченко ощущал острое плечико ее жакетки. Девушки пели на сцене, но она смотрела не на них, а чуть вбок, туда, где стояли члены правления клуба и сидел за пианино Линеv. Люди там были все свои, знакомые — слесарь Кадыр Минибаев, студент-историк Женя Багин, исполнявший обязанности секретаря клуба, тут же Альбина Ивановна с ребяташками из «Муравейника». Почему Казароза туда смотрит? Кого высматривает? Еще раздражал этот Ванечка. Ишь, поклонничек!

Девушки, как считал Семченко, гимн пели неправильно, без должной бодрости. Иногда все разом, похороводному, поводили в сторону одной рукой, и это горизонтальное движение ему тоже не нравилось, тут нужен был жест вертикальный, ясный — гимн ведь! Аккомпанируя им на пианино, Линеv подбадривающе вскидывал подбородок и чересчур высоко, с оглядкой на зал, поднимал над клавишами костлявые, по-неживому растопыренные пальцы. Он, видимо, хотел, чтобы присутствующие подхватили гимн. Несколько голосов робко всплеснулись в разных концах зала и смолкли. Сам Семченко подпевать не стал, стеснялся Казарозы.

В паузах слышно было, как всхрапывает у двери пьяный курсант — громко, с клекотом в горле.

Потом выступал Женя Багин, рассказывал о переписке с другими клубами и зарубежными эсперантистами, называл цифры отправленных и полученных писем; выходило по два отправленных письма и ноль сорок полученных на каждого члена клуба, и из зала стали кричать, что письма нужно делить на число активных членов, исключив балласт. Другие же кричали, что сегодня балласт, а завтра активный член, и образование не всем позволяет. Сам Семченко написал всего одно письмо — в варшавский клуб «Зелена звезда», призывал эсперантистов с родины доктора Заменгофа

боротся за немедленное прекращение интервенции против Советской России.

Между тем, Багин предложил выделить штатную должность секретаря по переписке, с оплатой из фонда членских взносов. На эту должность он метил сам, и предложение провалилось. Альбина Ивановна крикнула даже, что ни к чему плодить новое чиновничество, в котором неизвестно еще какие настроения могут возникнуть.

— Правильно! — громко поддержал ее Семченко, не любивший Багина за старорежимное пристрастие ко всяческой канцелярщине, и Альбина Ивановна мгновенно залилась краской, улыбнулась ему смущенно и благодарно.

После торжественной части силами питомцев Альбины Ивановны показана была пантомима «Долой языковые барьеры!». Семченко смотрел, хлопал и все же в течение всего вечера оставался странно равнодушен к происходящему на сцене, интересуясь лишь тем, как отнесется к увиденному и услышанному Казароза. На все пытался смотреть ее глазами. Как будто узы, связывавшие его с этими людьми, распались, и промахи сегодняшнего вечера — убого малое число собравшихся, корыстное предложение Багина, неудача с хоровым исполнением гимна, даже долетавший с реки запах отбросов, все это имело лишь тот смысл, что он, Семченко, выглядел перед Казарозой человеком пустым, провинциальным мечтателем, неграмотным и безвольным командиром, не способным навести порядок во вверенном ему подразделении.

Год назад, в госпитале, написал ей длинное письмо и отправил по тому адресу, на Кировную, но оно, наверное, не дошло, пропало. А то бы вспомнила. Семченко все хотел вернуть про это письмо, рассказать, как писал его в госпитале, подложив под бумагу самоучитель Девятнина, подаренный доктором Сикорским, и никак не мог выбрать подходящий момент. О чем писал, теперь уже невозможно было рассказать. Нечто бестолковое, должное показать, что он тоже не лыком шит; легкое хвастовство, намеки на какое-то особой важности задание, при выполнении которого и был ранен белогвардейской пулей, и все это завершалось витиевато изложенной просьбой: пусть она вышлет на адрес госпиталя свою фотографию.

Еще он думал о том, как кончится вечер, и они вдво-

ем по безлюдным улицам пойдут к театру или к гостинице, и все будет, как тогда, в Питере, она его вспомнит, узнает, поймет, что, если судьба гонит по кругу, это не случайно, и, может быть, согласится встретиться с ним завтра и послезавтра. А того, кто назвал ее Казарозой, он уже почти презирал. Как она утром-то сказала! «Лучше что-нибудь из продуктов...» Голодает, значит. Или он погиб, тот человек? Расстрелян, может быть? Это имя было как печать иного мира — обреченного, уходящего, но и загадочного в своей обреченности.

Казароза тронула его за плечо, по-деловому начала объяснять что-то про пантомиму, уверенно показывала, как лучше расставить детей на сцене — спокойная красивая женщина, актриса, знающая свое дело, и Семченко вдруг подумал, что нынче, когда все переверотилось, ей тяжело это диковинное имя, она изжила его и только ждет человека, который помог бы ей сбросить эту тяжесть, снова стать Зиной, Зиночкой.

Линев сделал знак: пора, мол.

— Идемте, — сказал Семченко, — сейчас ваш выход. Навстречу шагнула Альбина Ивановна:

— Николай Семенович, как вам наша пантомима?

— Чего? — не понял Семченко.

— Пантомима... Как она вам?

— Нормально.

— Честное слово? — просияла Альбина Ивановна. — Вы правду говорите? Так важно знать ваше мнение...

У окна стоял Кадыр Минибаев с какой-то непонятного назначения трубой, склеенной из картона.

— Что это у тебя? — подозрительно спросил Семченко.

— Световой эффект. — Кадыр повернул трубу: внутри вставлена была линза и еще одно стекло, обтянутое розовой пленкой.

На полу, у его ног, змеился провод, на металлической стойке ослепительным белым светом горела маленькая лампочка. Щелкнув рычажком, Кадыр погасил ее, накрыл трубой и закрутил зажимные винты.

Казароза с опаской разглядывала этот аппарат, а Семченко уже обо всем догадался, крикнул в зал, чтобы задернули шторы. Добровольцы, радуясь возможности размяться, кинулись к окнам, выключили верхний свет, и стало темно, тихо. В темноте Семченко почувствовал у себя на шее внезапное мимолетное тепло — Казароза стояла рядом.

— Кажется, я вас вспомнила, — сказала она шепотом. — Вы уговорили меня в казарме петь, а потом домой провожали...

— Каза-арма, — тоже шепотом ответил он.

Она поняла, улыбнулась. Лица ее Семченко не видел, но угадал — улыбнулась, и это было как предвестие будущего, как обещание.

Кадыр опять щелкнул рычажком, прямой розовый луч наискось прорезал темноту над сценой и растекся на потолочной лепнине.

— Зинаида... Казароза! — с оттяжкой после каждого слова громогласно объявил Линеv. — Романсы... на эсперанто!

— Подержите пока. — Она отдала Семченко свою сумочку, поднялась на сцену и остановилась в луче, на окраине розовой дорожки.

Все бешено заплодировали, Семченко оглядел тонуший во тьме зал и различил только одно-единственное лицо — Альбины Ивановны. Она стояла возле минibaевского аппарата, с другого конца трубы, сквозь отверстие у зажимов бил тоненький белый лучик, и в этом лучике лицо ее, круглое и молодое, казалось удлинненным, жестким.

Дождавшись тишины, Казароза наклонила голову — волосы посеклись в луче. Линеv тронул клавиши, и она запела:

Эн вало Дагестана дум вармхоро
Сенмова кушис ми кун бруста вундо...

Выучила, выучила, с гордостью подумал Семченко, слушая, как старательно выпекает она чужие милые слова, которые в ее устах особенно походили на испанские. Каждое в отдельности она не понимала, но все вместе знала, конечно, чувствовала, где о чем.

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Тепло и чисто звучал ее голос, и Семченко видел перед собой лесную ложбину под Глазовом, где год назад и он лежал со свинцом в груди, недвижим. Кто знает, не снилась ли ей тогда эта ложбина, заросшая медуницей и иван-чаем, омытый ночным дождем суглинок, струя крови, что чернит гимнастерку?

Вдруг из глубины зала — голос:

— Кому продались, контр-ры?

И выстрел.

Визг, топот, грохот падающих стульев. Еще выстрел. Еще. Судорогой свело щеку, словно пуля пролетела совсем рядом. Кто-то зацепил ногой провод, розовый луч исчез, но уже рванули ближнюю штору, зажглось электричество. Мимо метнулся Ванечка — тонкий, быстрый, лицо серьезное, потом все заслонилось людьми. Семченко отбросил одного, другого, пробился к сцене и замер.

Она лежала на спине, одна рука закинута за голову, кровь проступала на блузке, и две светлые пуговички у шеи, прежде незаметные, все яснее белели на темном. Стало душно. Он пошарил по груди, ища ворот гимнастерки, и не нашел.

5

Дома Вадим Аркадьевич прошел в свою комнату, где все уже было прибрано, газеты на подоконнике сложены аккуратной стопой. Невестка любила порядок больше всего на свете. Иногда казалось, что даже в день его смерти уборка будет проведена по всем правилам, без малейших отступлений. Если во время уборки Вадим Аркадьевич был дома, невестка выставляла его из комнаты, чем бы он ни был занят в это время. «Ну какие у вас могут быть дела?» — возмущалась она. Особо важных дел у него, пожалуй, действительно не было, но эта бесцеремонная снисходительность к чужим заботам приводила в бешенство.

Он подошел к окну, начал перебирать газеты, выискивая свою. Перед пенсией работал в заводской многотиражке, и ее до сих пор присылали на дом, что составляло предмет его гордости, ни сыном, ни невесткой не разделяемой.

Внезапно автомобильный выхлоп с улицы гулко ударил в стекла.

Проснулся Вадим, когда хлестнул первый выстрел, и поначалу, спросонья, ничего не мог понять, не разобрал даже, сколько раз выстрелили. Вокруг повскакали с мест, закричали. С коротким визгом распахнулась дверь, слышно было, как ручка врезалась в стену; дробь шагов сыпанула по ступеням — человек десять, наверное, бросились вон из зала, другие устремились

в противоположную сторону, к сцене. Наконец отдернули шторы на окнах, зажгли свет: в проходе мужчины навалились на курсанта, Ванечка выжимал у него из руки наган. Курсант запрокидывал безумное побагровевшее лицо, извивался всем телом и орал, надсаживаясь:

— Контр-ры! За что кровь проливали? Изувечу-у!

От сцены, расшвыривая на пути стулья, бежал Семченко — глаза невидящие, бритая голова по-бычьему наклонена вперед, в руке дамская сумочка на ремешке. Добежал и локтем, почти без замаха, саданул курсанту в подбородок. Сгреб его, обвисшего, за грудки, поддернул, хотел еще раз ударить, но Вадим, подскочив, обхватил сзади. Семченко и оборачиваться не стал, отбросил его спиной. Падая, Вадим уцепился за сумочку, болтавшуюся у Семченко в левой руке, заклепки с треском отлетели, вместе с сумочкой он рухнул на стулья, а ремешок остался у Семченко.

— Убили ее! — кричал со сцены Осипов. — Убили! Уби-или!

Курсанта отпустили, он присел на корточки и жалобно выл, кровь текла по шее из разбитой губы, а Ванечка тыкал ему дулом нагана под ребра и ругался:

— А ну вставай, падла, эсперантист! Вставай! Кому говорю!

Перед Семченко, тоже с револьвером, стоял человек в кожане, которого Вадим сразу узнал — Караваев из губчека. Что самое странное, Ванечка, очевидно, был с ним знаком, отдал ему курсантский наган, а сам вынул из кармана маленький дамский револьвер.

— Товарищи! — истерично зывал Линева. — Товарищи члены клуба, прошу не расходиться! Мы должны дать показания...

— Об чем волнуетесь, папаша? — жестко спросил Ванечка. — Об ней? Или что ее здесь убили, на вашем клубе?

Семченко потерянно разглядывал зажатый в пальцах ремешок от сумочки, словно бы и не замечая наставленный на него револьвер. Полное одутловатое лицо Караваева было неподвижно, и так же неподвижно смотрели ясные глаза из-под складчатых калмыцких век — на Семченко смотрели, но тот не поднимал головы, плечи его странно шевелились, он их то опускал, то снова вздергивал, выворачивал, будто у него чешется между лопатками, а руки уже связаны.

К ним подошел доктор Сикорский, вытирая пальцы платком.

— Что? — спросил Караваев.

Сикорский кивнул, уронил на пол окровавленный платок, и больше никто никаких объяснений от него не потребовал.

Вадим стоял поодаль, смотрел на Семченко, на Караваева с Ванечкой. Наверное, надо было отдать им сумочку Казарозы, про которую все забыли, но почему-то не хотелось. Вадим воровато пробрался к двери, спустился в вестибюль. Плакат с пальцем и стихами про надежду кто-то извлек из урны, разгладил и прислонил к стене, теперь палец указывал дорогу на улицу.

Отбежав пару кварталов по Кунгурской, он раскрыл сумочку, и щелчок, с каким разошлись металлические рожки-замочек, показался оглушительным, как выстрел. Вадим понимал, что стыдно рыться в чужой сумочке, но любопытство было сильнее, и еще возникала надежда, что ему, курьеру Кабакову, мальчишке, как всегда выброшенному на окраину событий, это поможет понять и арест Семченко, и револьвер в руке внезапно переменившего обличье Ванечки, и даже, может быть, смерть Казарозы, все то непонятное и страшное, о чем ему, разумеется, никто ничего объяснять не станет — ни Семченко, ни тем более Караваев с Ванечкой, а он хотел понять, потому что сам же и привез эту женщину туда, где ей суждено было умереть. И он знал: ничто не говорит о женщине так верно, как содержимое ее сумочки.

Внутри в беспорядке лежали разные женские вещицы: духи, вернее пустой пузырек, еще сохранивший запах духов, и другой пузырек, пахнувший мятными каплями, тоже пустой; зеркальце, несколько заколок, два гребня — один частый, второй с крупными зубьями, щербатый; серебряный медальон с прядью светлых волос, кошелек. Раскрыв его, Вадим с облегчением убедился, что денег в нем мало, всего восемьсот рублей.

На самом дне сумочки он нащупал непонятный твердый предмет, завернутый в кусок материи. Осторожно достал его, развернул и оторопел — это была рука, гипсовый слепок. Одна кисть, и очень маленькая, будто детская. Крошечные ноготочки, пальчики, вены на тылье не видны. Казалось, отпилена у какой-нибудь скульптуры — амура или ангелочка. Серые гипсовые пальчики

сложены были все вместе, словно яблочко зажимают, и лишь указательный выдавался вперед, отходил от остальных, удивительно напоминая тот, который полчаса назад Вадим видел на плакате в вестибюле Стефановского училища.

6

...Первого июля, через час после разговора с Казарозой в гортеатре, Семченко выступал на торжественной линейке, посвященной первому выпуску пехотных командных курсов имени 18 Марта:

— Граждане и товарищи! Друзья курсанты! Сегодня исполняется ровно год с тех пор, как под грохот пушек и треск пулеметов колчаковские банды бежали из нашего города. Сегодня год, как всяческая белогвардейская сволочь, ученая и неученая, держась за фалды своего черного покровителя, дала деру вместе с ним. Где эти гордые генералы? Пепеляев, Зиневич, Укко-Уговец? Где? Они исчезли как дым, как утренний туман...

На плацу проведена была известью белая свежая полоса, вдоль нее выстроились в шеренгу восемьдесят четыре курсанта первого выпуска. Сто шестьдесят восемь башмаков широкими носами упирались в известковую отметину, в едином наклоне сидели на головах фуражки со звездочками.

— Но враг еще не сломлен, — говорил Семченко. — Еще стонут под пятой польских панов Украина и Белоруссия, еще Врангель шерится штыками из благодатного Крыма...

Рядом с ним, под знаменем, стоял начвоенком курсов Петухов, с которым вместе учились в губернской совпартшколе, он и пригласил Семченко сказать речь от лица работников культуры. Затем выпуск церемониальным маршем, повзводно, прошел возле знамени. В тарелках и трубах оркестра сияло солнце — уже июльское, пацаны на крышах окрестных сараев безмолвно и потрясенно внимали происходящему. Грозно били подошвы в теплую пыль, от чеканного шага чуть подергивались у курсантов щеки, руки взлетали, разлетались и вдруг недвижно припадали к бедрам, когда очередной взвод проходил мимо знамени.

После курсанты разбились на кучки, закурили, и Семченко со многими потолковал, рассказал про международный язык эсперанто, пригласил на вечер в Сте-

фановское училище, как бы между прочим упоминая, что вход бесплатный, а петь будет петроградская артистка Казароза. Но на курсантов это большого впечатления не произвело.

Во время разговора вылез из-за сараев громадный пегий козел и бесстрашно приблизился к новоиспеченным пехотным командирам. Козлов Семченко с детства не терпел — дурное животное, уставится прямо в глаза своими блудливыми затуманенными зенками, как ни один другой зверь на человека смотреть не посмеет. И этот был отвратителен, в его бороде болтались засохшие репы, вислая нижняя губа мерзко вздрагивала. Но курсанты козлу обрадовались, как старому знакомому:

— Васька! Васька пришел!

Кто-то запалил самокрутку, сунул козлу в пасть, тот умело прижал ее губами, поднял голову, и из ноздрей у него повалил дымок. Самокрутка начала стремительно укорачиваться, даже слышно было, как тлеет, потрескивая, бумага. Курсанты, столпившись вокруг, веселились, как дети, и вдруг обидно стало, что вот козлом интересуются, а на эсперанто им наплевать.

Семченко щелчком выбил у Васьки из пасти то, что еще оставалось от самокрутки, и быстро пошел к воротам, провожаемый недоуменными взглядами курсантов.

И вечером, когда Ванечка, поигрывая револьвером, вывел его из Стефановского училища на улицу, в низко висящем облаке помещерилась, воспарила над крышами гнусная, окутанная клубами дыма козлиная морда.

На втором этаже здания губчека вошли в квадратную комнату — караваевский кабинет.

— Присаживайтесь. — Караваев сел за стол, достал из ящика исписанный лист бумаги и положил перед собой. — Значит, Семченко. Николай Семенович. Корреспондент... Читали, читали. — Он заглянул в свою бумагу. — Воевали в составе Лесново-Выборгского полка 29-й дивизии Третьей армии Восточного фронта. Причина демобилизации?

Вопросительную интонацию Семченко уловил, но самого вопроса не расслышал — звон стоял в ушах, а перед глазами, разрастаясь до размеров простыни, плыл платок Сикорского, весь в красных пятнах.

— Я спрашиваю, почему демобилизовались?

Стиснув зубы, Семченко взялся обеими руками за ворот гимнастерки:

— Показать?

— Не психуйте, — сказал Ванечка. — Мне тоже есть, что на теле показывать. В бане будете хвастать.

Он стоял у окна, скрестив на груди усеянные крупными веснушками руки, его совсем еще юное, чуть тронутое угрями лицо выражало недоверие и отчужденную деловитость, словно все происходящее сейчас в этой комнате никакого значения не имело по сравнению с тем, что происходило за ее пределами.

— А ты вообще кто такой? — устало спросил Семченко.

— Это наш товарищ из Питера, — объяснил Караваев. — Фамилию вам знать не обязательно... Давайте-ка начнем по порядку. Значит, родились в одна тысяча восемьсот девяносто четвертом году в городе Кунгуре Пермской губернии. Происхождение пролетарское. Три класса реального училища... Так. — Он перевернул лист. — Так... Ладно... Холост, значит. И зря... В каких отношениях состояли с гражданкой Казарозой, она же Шершнева, Зинаидой Георгиевной?

— Не имеет значения, — отрезал Семченко.

— Зачем приходили к ней в театр?

— Просил выступить в нашем клубе.

— Почему именно ее?

— Слышал в Петрограде.

— Понятно. — Караваев обменялся взглядом с Ванечкой. — В какое время?

— Осенью восемнадцатого.

— Точнее.

— Ноябрь месяц.

— Вы были хорошо знакомы?

— Повторяю, не имеет значения.

— А это вы узнаете? — Караваев показал клочок оберточной бумаги, извлеченный из ящика стола. — Найдено сегодня при обыске у вас на квартире. Адрес правления некоего чекбанка в Лондоне. Почерк ваш? — Семченко кивнул. — Какие у вас дела с английскими банкирами?

— При чем здесь Казароза?

— Вы отвечайте. Отвечайте, что спрашивают. Соображаете ведь, где находитесь.

— Пожалуйста, никакого секрета нет. Это эсперантистский банк. В нем хранятся вклады российских эспе-

ранто-клубов и отдельных энтузиастов. Первые поступления относятся к девятьсот десятому году. Мы требуем их возвращения, а правление банка отказывает под тем предлогом, будто истинный эсперантизм в Советской России перестал существовать.

— Сумма вклада? — быстро спросил Ванечка.

— Около сорока тысяч рублей золотом.

— Откуда знаете?

— Через бюллетень всемирного конгресса. Нам его пересылают из Москвы. Мы собираемся направить в президиум конгресса открытое письмо.

— А зачем адрес банка?

— Туда копию.

— Такая фамилия вам о чем-то говорит: Алферьев?

— Ни о чем не говорит.

— Он же Токмаков, Струков, Инин?

— Не знаю.

— Правый эсер, — сказал Ванечка. — Инструктор по подготовке боевых подпольных дружин. Казароза была его гражданской женой. Не исключено, что она прибыла в город для связи с местной группой. Понимаете, какие основания вас подозревать? Тем более, что этот Алферьев — старый эсперантист. В последнее время, через эмигрантов, он вел переговоры с вашим лондонским банком, хотел получить часть вклада для нужд партии... Если вы ни в чем не виновны, почему бы честно не рассказать о вашем знакомстве с Казарозой?

— Давайте, ребята, лучше завтра поговорим... Не могу я сейчас.

— А сейчас куда? — дернулся Ванечка. — Домой?

— Да мне все равно.

— Пусть, правда что, до утра посидит, — сказал Караваев. — Видишь, не в себе человек. — Он кликнул конвойного. — Отведи его в подвал и давай сюда этого курсанта. Может, очухался уже.

Лестница двумя пролетами уходила вниз, оттуда тянуло каменным холодом. Семченко спускался медленно, хотелось присесть тут же, на ступеньке, и ноги были как ватные. Появился еще солдатик, открыл дверь в подвал. Там горела семилинейка, пахло парашей и давно не мытым человеческим телом. У одной стены — самой теплой, видимо, прижавшись друг к другу, лежали люди, человек пятнадцать.

— Все цыгане спят, лишь один не спит, — сказал

сидевший возле двери парень с тонкими черными ресницами. — Имею честь представиться: подпоручик Лихачев.

Семченко молча отодвинул его и лег у стены.

Прошло часа два, он не спал, смотрел в маленькое зарешеченное оконце под потолком: сперва оно было темным, а потом, когда погасла, чадая, семилинейка, чуть посветлело. Крысы возились в углу, обиженно посапывал во сне подпоручик Лихачев, успевший рассказать Семченко свою короткую жизнь, часовой за дверью скреб подковками каменный пол.

Вдруг будто в рельсу ударили, но далеко, приглушенно, и рокот послышался — такой, как когда на похоронах бьют в барабаны, обтянутые сукном.

Семченко открыл глаза — розоватым светом заливало подвал. Свет падал не из оконца, он был сам по себе, поднимался от пола, словно светящийся гриб, трепеща и разбрызгивая волнообразное сияние, вырастал в центре подвала, и стены таяли в этом свете, становились прозрачными, лишь углы темнели, как если смотреть на солнце сквозь коробочку, склеенную из тонкой бумаги; открывались ночные улицы, деревья, небо, и прямо над головой один за другим проступали комнаты, лестницы и коридоры. Семченко видел дежурного на первом этаже — тот спал, рядом, на барьере, лежала раскрытая книга, и сквозь нее проступали очертания караваевского кабинета на втором этаже: стоял у окна Ванечка, сидел за столом сам Караваев, и мешком развалился на двух стульях протрезвевший курсант. Семченко видел их ясно, будто они находились на крыше оранжереи или на стеклянном полу, а он смотрел на них снизу, они парили над ним, пересеченные легкими тенями половиц и потолочных балок. Караваев повертел в руках наган курсанта и положил на стол. Стол тоже был прозрачен, и потолок над ним, и крыша — до самого неба, ладонь Караваева плыла по небу, как аэроплан. Казалось, наган пройдет сейчас сквозь стол, сквозь перекрытия этажей, рухнет в подвал, но он завис в воздухе, и видно стало, как дрогнула, пошла волнами прозрачная в центре, темнеющая у краев столешница.

Семченко попытался понять, почему одни предметы пропускают свет через себя, а другие — нет, но не сумел понять, потому что не было во всем этом никакого порядка. Лишь заметил, что свет следует за его взгля-

дом, но не лучом, а как бы облаком. Самому же сиянию он как-то не очень и удивлялся. Оно розовело, все больше делаясь похожим на тот луч, в котором стояла Казароза на сцене Стефановского училища.

Потом опять в рельсу ударили — уже ближе, и прямо перед собой Семченко увидел человека. Он был невысок и худощав, этот человек, в длинном пальто, в котелке, с тростью. Рыжеватая борода обтекала его щеки и подбородок. Указательным пальцем он прижал к переносью дужку очков и спросил:

— Вы знаете, почему в эсперанто именно восемь грамматических правил?

Семченко покачал головой.

— Существует восемь сторон света, — сказал человек. — Четыре основных и четыре промежуточных... Пространство! Понимаете? Я хотел вдохнуть в мое детище чувство земного пространства!

И тут Семченко узнал наконец этого человека — перед ним стоял доктор Заменгоф.

Дома прилеплена была к зеркалу почтовая марка с его портретом. И еще были портреты — в клубе, в самоучителе Девятнина, причем изображение везде было одно и то же, что Семченко считал очевидным доказательством скромности великого человека — упростили, наверное, однажды сфотографироваться, а больше не захотел.

— Но есть еще две стороны. — Заменгоф воздел вверх палец, подержал немного, а потом простер вниз, к полу.

Верх и низ. Добро и зло.

— Гранда бен эсперо, — произнес доктор Заменгоф. — Великая и благая надежда двигала мною!

Он произнес эти слова, словно извиняясь, и Семченко понял его: не изобрети этот человек международный язык эсперанто, и Казароза бы не погибла.

Стены начали темнеть, сияние ушло, лишь розовеющий туман еще держался в центре подвала, оконце забелело на стене, и Семченко вспомнил: что-то такое говорил ему про восемь правил эсперанто доктор Сикорский — давно, еще в госпитале.

Заменгоф исчез, на том месте, где он только что стоял, сидел подпоручик Лихачев, тер кулаками глаза. Большой черный таракан полз по стене. Подпоручик посмотрел на него и сказал:

— Кирасир, мать его так!

И объяснил:

— Тараканы — это тяжелая кавалерия. А клопы — легкая.

Было утро.

7

Вадим Аркадьевич все точно рассчитал: сейчас Семченко пообедаст в гостиничном ресторане, ляжет отдыхать, а встанет часикам к шести, в это время и нужно подойти в гостиницу. Он тоже поел, вымыл за собой посуду, тщательно вытер ее, как всегда делала Надя, и убрал в буфет, хотя невестка требовала посуду не вытирать ни в коем случае, а оставлять сохнуть на сушилке — где-то вычитала, что так гигиеничнее. Вернувшись к себе в комнату, взял Надину фотографию в старой, истертой добела кожаной рамочке и повернул так, чтобы солнечный свет с улицы не попадал ей в лицо.

Надю снимал Осипов месяца через два после свадьбы. Была классическая тренога, деревянный ящик, черный платок, покрывавший Осипову голову и плечи; таинственно, как никогда уже потом, исходил из глубины объектива фиолетовый свет. Надя стояла во дворе, улыбалась, милым своим жестом отводила со лба челку, а за ней, словно горизонт в туманной дали, тянулась черта бельевой веревки.

И все-таки не нравилось, что снимает именно Осипов, что она ему кокетливо улыбается, что он видит, как подол облепляет ее колени и бедра; конечно, все это Осипов мог видеть и в другое время, но с аппаратом, платком и треногой он будто получил законное право ее разглядывать, это-то и было неприятно.

До войны Вадим Аркадьевич хранил номер газеты, вышедший в тот день, когда они с Надей регистрировались. На полях расписались все сотрудники редакции, но не только в этом было дело, просто хотелось помнить, что происходило в городе и в мире в те дни, посреди каких событий шли они по Петропавловской улице в Бюро регистрации. Потом газета затерялась, и лишь остались в памяти стихи, напечатанные на четвертой полосе к юбилею Дома работницы:

Товарищ женщина, пора
покинуть дух оцепененья,
пугливость долгого плененья

и все кошмарное вчера
и за себя стеною встать.
Ты равноправна, друг и маты!

Продолжение Вадим Аркадьевич забыл, зато помнил конец: «Зовем вас, женщины, вперед для созидательных работ!»

Собственно говоря, тогда ему нравилась в этих стихах всего одна строчка: «пугливость долгого плененья», она сразу врезалась в память, а остальные после на нее наросли. Все стихотворение было ясное, правильное по чувству и по мысли, но душу трогали почему-то как раз слова о неправильном, уходящем, они одни звучали загадочно, тревожили, и невольно казалось, что не так уж и плоха эта «пугливость», это «плененье», переключаящееся со словом «пленительность». А на эсперанто разве такое возможно?

Они с Надей поженились осенью двадцать первого года. Тогда же окончательно одряхлевшего Глобуса продали башкирам на мясо, а редакционную бричку стал возить статный норовистый жеребец, кличку которого Вадим Аркадьевич вспомнить не мог. В бричке ездил Пустырев, редактор. Потом губерния стала областью, Вадим Аркадьевич из курьера губернской газеты превратился в корреспондента областной, а в середине 30-х годов Пустырев, сменивший к тому времени бричку на автомобиль, предложил ему написать разгромную статью о клубе «Эсперо», который хотя и растерял девять десятых своих членов, но еще влачил жалкое существование. При этом сделан был вполне определенный намек, что если задание выполнено будет успешно, если всю деятельность клуба за последние пятнадцать лет Вадим Аркадьевич представит в нужном освещении и под должным углом, то в самом скором времени ему обеспечено место заведомо.

И что бы, казалось, не написать? Эсперантистов этих он всегда на дух не выносил, раздражали они своими претензиями, своим нежеланием видеть нормальную человеческую жизнь, но вот заклинило что-то, не смог. То есть и не отказался, разумеется, напрямую, поостерегся; но нарочно медлил, тянул, да так и не написал, дождался, пока другие сделали, после чего вздохнул с облегчением. Может быть, тогда и определилось его будущее? Раз и навсегда. Обиднее всего было то, что Надя при ссорах часто попрекала его той ненаписанной статьей про клуб «Эсперо»: мол, какие тут прин-

ципы, мог и написать, тогда, глядишь, теперь денег до получки не занимали бы.

Они прожили вместе долгую жизнь, всего в ней хватало — и хорошего, и плохого, но вот умерла она, и сейчас Вадим Аркадьевич обычно вспоминал ее такой, какой была в двадцатом году: коротко стриженная, бойкая, в английских башмаках с высокой шнуровкой — их много осталось в городе после ухода белых, в длинной расклешенной юбке. Вспоминал тщательно отутюженный шелковый бант на блузке, всегда аккуратно прибранный стол в редакции с расхлябанным «ремингтоном», который не пропечатывал верхнюю перекладину у буквы П, старую ветлу под окном.

Ветла была особая. Ее огромный ствол винтом скручивался у комля и от этого казался еще мощнее, еще огромнее; вершковой толщины кора лежала на нем крупными ромбовидными ячейками, какие бывают у очень старых деревьев, счастливо доживающих свой век на открытом месте. Эта ветла пробуждала охоту ко всякого рода отвлеченным размышлениям, как языки огня в рыбацком костре, как текучая вода или звездное небо. Ее очертания, эта простершаяся над крышей гигантская рогатка, иссохшие сучья на обеих вершинах и густая листва внизу, трещины в стволе — все наводило на мысль о таинственном порядке мироздания, о некоем замысле, без которого, само по себе, такое чудо возникнуть никак не могло. В юности эти размышления обращались прежде всего на себя, потому что собственная жизнь была еще коротка, и в будущем ее пространстве легко рисовались любые узоры. Потом, годам к тридцати, больше стал думать о других людях, о жизни вообще, не только своей, а теперь в подобные минуты все чаще оглядывался назад. И вот что удивительно: всегда он жил вроде как придется, как бог на душу положит, без всяких идей, но в последние годы и в его собственной жизни ясно стал различим единый замысел. Поступки, казавшиеся случайными, ничем не объяснимыми, оказывались следствием других, вполне объяснимых, просто он раньше этого не понимал. Здесь черточка, там точка и закорючка, но прошли годы, и все сложилось в строгий узор, который прежде был не замечен, а теперь давал радостное и спокойное ощущение какого-то всеобщего порядка; частью этого порядка были они оба — он, Вадим Аркадьевич Кабаков, и та ветла под окнами редакции.

— Допрыгался! — гремел Пустырев и обеими руками вдавливал пресс-папье в лежавшую на столе у Семченко очередную эсперантистскую брошюру. — В ЧК забрали! А ведь предупреждал я его: не связывайся, Коля, с этой шоблой! Там одни интеллигенты, пролетарским духом и не пахнет...

Похмельный и мрачный Осипов, изображая служебное рвение, что-то строчил в блокноте. Вадим заглянул ему через плечо. «В полдневный жар в долине Дагестана, — писал Осипов, — с свинцом в груди...» Когда Пустырев откричался и ушел, Вадим взял со стола у Семченко истерзанную брошюру — «Манифест социалистов-эсперантистов». Раскрыл наугад и прочел: «Товарищи, изучающие международный язык эсперанто! Спешите же возможно скорее строить наш Храм Человечеству! Так же, как некогда великая Вавилонская башня, этот Храм будет стремиться к небу и гордому счастью, но только строительными материалами для него послужат не камень и глина, а Надежда, Любовь и Разум...»

— Я же ее вчера в театре слышала, — сказала Наденька. — Такая молодая, хорошенькая. И поет, как ангел. Просто уму непостижимо, что ее убили.

— Ты обещала пластинку принести, где она поет, — напомнил Вадим.

— И принесла. Хотите, заведу?

Наденька притащила из чулана граммофон, поставила на подоконник и яростно стала крутить ручку. Молча насадила пластинку на стальной колышек, пустила механизм, в трубе зашипело, как если водой плеснуть на раскаленную сковороду, потом шипение отошло, и далеко, тихо заиграли на рояле. Голос возник — слабый, тоже далекий.

— Слов не разбираю, — пожаловался Осипов.

— Взошла луна, они уж тут как тут, — начала подпевать Наденька, — и коготками пол они скребут... Это песня про Алису, которая боялась мышей. Но ей подарили кошку, и мыши попрятались. А последний куплет про любовь. От нее все страхи разбегаются, как мыши от кошки... Вот уже другая песня началась. Вы слушайте! Это она будто про себя поет. Я ее когда вчера увидела, сразу подумала: про себя, сама такая.

Вадим разобрал две строчки: «Быть может, родина ее на островах Таити. Быть может, ей всегда-всегда всего пятнадцать лет...»

— И в самом деле, — согласился Осипов.

Казароза еще не успела допеть, как в дверь просунулся незнакомый мужик с котомкой.

— Газету, милые, тут печатают? — спросил он.

— Тут пишут, — сердито сказала Наденька. — А печатают в типографии... Вам кого?

— Из Буртымской волости я. — Мужик пролез дальше в комнату. — Вопрос имею. Слух у нас прошел, будто новый декрет есть, с икон в избе налог брать. Верно, нет? Сказывают, по семи рублей за икону брать будут. За медные, само собой, поменее. А то еще сказывают, что с вершка высоты по два с полтиной.

— Неправильный слух, — сказал Осипов. — Не по семи, а по семидесяти. И поштучно.

— Да шутит он, — разозлился Вадим. — Никаких таких декретов нет. Кулацкая агитация, так и разъясняйте!

— Эсперанто! — без всякой видимой связи произнес Осипов, когда мужик ушел. — Какой, к черту эсперанто?

И Вадим вдруг ощутил себя очень взрослым, умудренным жизнью, самостоятельным и ловким, каким бывал только на рыбалке, имеющим право взглянуть на Семченко свысока. Они словно поменялись ролями. Сам Вадим твердо стоял на земле, а Семченко со своим эсперантизмом витал в облаках, жизни не знал, был слаб и незащищен, и все, что случилось вчера, с ним могло случиться, а с Вадимом — нет.

— Надо за нее выпить, за Казарозу-то, — сказал Осипов, доставая из стола ополовиненную бутылку. — Пусть земля ей будет пухом. Так? — Плеснул в стакан мутную вонючую кумышку и выпил.

Вадиму тоже предложено было, но Наденька при этом так выразительно поджала губы, что он отказался, да Осипов и не настаивал. Через полчаса бутылка опустела, последняя порция выпита была за Семченко, чтобы все у него обошлось.

— Такой вроде правильный человек, — сказал Осипов. — Не то что я. И вот казус! Я тут с вами сижу, кумышку пью, а его в ЧК взяли.

— Ошибка, — уверенно объяснил Вадим.

Осипов усмехнулся:

— Насчет меня ошибка-то?

Его уже развезло; подсев к Наденьке, начал удив-

ляться тому, что есть женщины, которые занимаются эсперанто, хотя владеют иным международным языком. Да, все женщины владеют этим языком, и Наденька тоже. Каким? Осипов стрельнул глазами, выпятил грудь и, кокетливо ужимаясь, повел плечами. Выглядело это отвратительно.

— Пошляк вы! — сказал Вадим, поднимая его со стула и оттаскивая подальше от Наденьки.

— Пошляк, — охотно согласился Осипов. — Но — философ! Всем правду в лицо глаголю эзоповым языком. Генералу Пепеляеву глаголил и тебе возглаголю. Знаешь, кто ты есть, вьюнош?

— Ну кто?

— Нет. — Осипов покачал головой. — Не могу, потому что в прошлый понедельник сидел за твоим столом и ел твою рыбу. Я вечный гость на этой земле и свято блюду законы гостеприимства!

Заглянул в комнату корреспондент Петя Пермяков, он же Хлопуша и Рваная Ноздря, выбравший себе такие псевдонимы в честь сподвижника Емельяна Пугачева, радостно сообщил, что на Западном фронте большое продвижение, заняли Речицу.

С телеграммой о взятии Речицы Вадим отослан был в типографию; вернувшись, Осипова с Пермяковым уже не застал, возле Наденьки, которая, как заведенная, молотила по своему «ремингтону», стоял незнакомый рыжий парень в темных очках.

— Пристал как банный лист, — не переставая печатать, пожаловалась она. — Русским языком говорю: нет Семченко и не будет сегодня.

— Тогда я оставлю записку, — сказал рыжий.

Он что-то черкнул на вырванном из книжечки листке, перегнул его пополам и протянул Наденьке:

— Передадите ему?

— Я передам, — вызвался Вадим.

— Сделайте одолжение. — Рыжий отдал записку, но уходить не торопился; покружив по комнате, снова подошел к Наденьке. — Хотите пари, барышня?

Та заинтересовалась:

— Смотря об чем ваше пари.

— Вы должны угадать, какого цвета у меня глаза.

Наденька уже оправляла свой бант на блузке, улыбалась этому рыжему, кокетливо щурилась, пытаясь рассмотреть его глаза под темными очками, и Вадим сказал:

— Я согласен.

— Отлично, — обрадовался рыжий.

— На деньги или как? — Вадим прикинул, что глаза у рыжих обычно голубые или зеленые, а у этого, видать, не такие, раз спорить предлагает.

— Ставка двести рублей. Устраивает?

— Вадюша, не жадничай, я за тебя болею, — объявила Наденька и захлопала в ладоши. — Ой, как интересно!

Выглядеть перед ней жмотом не хотелось, да и не бог-весть какая сумма — двести рублей, мелочь по нынешним временам, но на всякий случай он решил поторговаться:

— С одного разу надо угадать?

— Ладно, с трех, — милостиво разрешил рыжий.

Дальнейшее произошло мгновенно.

— Карие, — сказал Вадим.

— Нет.

— Голубые.

— Нет.

— Зеленые!

Помедлив, чтобы ощутилось напряжение, рыжий величественным жестом снял очки: один глаз у него действительно был зеленоватый, с кошачьим оттенком, зато другой — совершенно черный.

— Видал? С тебя сто рублей.

— Это нечестно! — возмутилась Наденька.

— Пардон, что же тут нечестного? Он угадал один глаз и платит половину. Не двести рублей, а сто.

Вадим с достоинством вручил ему сотенную бумажку, рыжий сунул ее в портфель, а оттуда достал какую-то брошюру:

— Вот, держи. На твои же денежки.

— Чего это? — удивился Вадим.

— Вы тут, наверное, при Семченко все находитесь под влиянием эсперантизма. А я сторонник международного языка идо. Слышали о таком? В этой брошюре изложены основные принципы нашего движения.

— Торгуешь принципами-то?

— Увы, приходится. — Рыжий похлопал по брошюре. — Если человек получит ее не даром, а за свои деньги, то скорее прочитает.

— Рехнулись вы все, что ли, с этими языками-то международными? По-русски чего не разговаривается? — Энергичным движением человека, уничтожающе-

го долговую расписку после выплаты унижительного долга, Вадим разорвал брошюру пополам и швырнул половинки в мусорную корзину.

— Ведь ты из-за меня стал с ним спорить? — ласково спросила Наденька, когда рыжий ушел. — Да? Потому что мне так хотелось? Ну и наплюй на эти сто рублей.

— Да надо было ему все двести отдать, — сказал Вадим. — Пускай подавится.

— Дай-ка я тебя поцелую за это, — предложила Наденька.

Они отступили подальше от окна и стали целоваться; потом прибежал Пустырев, едва не застукавший их за этим занятием, пришлось опять лететь в типографию, и про записку, оставленную этим рыжим для Семченко, Вадим вспомнил уже на обратном пути. Записка лежала в кармане. Он развернул ее и прочел: «Николай Семенович, нам все известно. Вы с Линевым затеяли опасную игру. Берегитесь!»

И сразу накатило: плакат с пальцем в вестибюле Стефановского училища, гипсовая ручка, Семченко. Почему его арестовали? И какую игру затеяли они с Линевым? При чем тут Линева?

8

В Лондон Семченко попал летом двадцать четвертого года. Плыли с женой на английском торговом четырехтысячнике «Пешавэр», было пасмурно, тихо, в буфете продавали безвкусное светлое пиво, папирос не достать. Жена гуляла по палубе с эмигрантской четой из Одессы, что Семченко не нравилось. Он валялся в каюте, иногда пытался заговорить с матросами и все время как бы посматривал на себя со стороны — вот он, Колька Семченко из города Кунгура, плывет по свинцовой Балтике к туманному Альбиону, а все на пароходе воспринимают это как должное, ничуть не удивляются — и немногочисленные пассажиры, и матросы, и даже собственная жена.

Она была высокая, смуглая, начитанная, знала два иностранных языка — английский и немецкий, работала переводчицей в государственном рекламном бюро, там и познакомились.

Семченко приехал в Питер вскоре после того, как заключили мир с Польшей, и несколько дней скитался

по городу, пока не встретил на улице старого знакомого, с которым в девятнадцатом году, под Глазовом, вместе приходовали союзническое барахло из брошенного белыми эшелона. Этот знакомый связан был с наркоматом внешней торговли, помог устроиться в рекламное бюро. В ожидании лучших времен Семченко сочинял для заграницы афишки, пропагандируя русскую фанеру, лес, пеньку и металлический лом — уж его-то было вдоволь! И была переводчица, сидевшая в соседней комнате. Она жила одна — отец в Константинополе, мать умерла; несколько раз Семченко оставался у нее ночевать, потом зарегистрировались.

Особой любви, пожалуй, у них обоих с самого начала не было, но с его стороны имело место безусловное уважение, а с ее — застарелое девичество и еще некая смутная надежда, что в тогдашних обстоятельствах этот бритоголовый взрывчатый человек с правильной биографией может сделать неплохую карьеру. Так оно в общем-то и случилось. В газету Семченко не попал, но не жалел об этом, потому что работа становилась все интереснее, почти со всей Европой уже торговали, и не одной пенькой. Афишки, которые он сочинял с легкостью, почему-то нравились, его заметили — не без участия жены, выдвинули, послали учиться, дважды командировали за границу, в Ригу и Стокгольм, а в двадцать четвертом году направили на постоянную работу в советскую фирму «Аркос», выполнявшую задачи торгпредства в Англии.

Жена отнеслась к этому со спокойным удовлетворением.

Штат «Аркоса» на Мооргэт-стрит, 49, был невелик, по приезде сразу навалились дела, английский он знал плохо, да и жена, как выяснилось в Лондоне, тоже неважно, и все-таки мысль о том, что совсем неподалеку, на Риджент-парк, лежат в эсперантистском банке сорок тысяч русских рублей, не давала покоя. Едва готов был сшитый на заказ новый твидовый костюм, Семченко отправился на Риджент-парк. Эсперанто он к тому времени основательно подзабыл и, чтобы не ударить лицом в грязь, несколько ночей перед этим просидел над учебником. Подготовил краткую, но выразительную речь, прикинул, какие могут задать вопросы.

В конторе его встретил вежливый клерк, провел в кабинет, где сидел один из директоров банка — грузинский, стриженный под бобрин мужчина. «Бонан веспе-

рон!» — приветствовал его Семченко и сразу же начал говорить о расцвете эсперантизма в Советской России: вначале следовало обрисовать обстановку, создать настроение, а уже после переходить к делу. Он говорил о журналах, съездах, радиопередачах на эсперанто, хотя вовсе не думал, что сорок тысяч золотых рублей целиком пойдут на нужды эсперантизма — республике и без того есть куда их истратить. Да и в успех не очень-то верилось: наверняка до него предпринимались подобные попытки, а вклад все еще оставался замороженным. Но не прийти сюда со своей речью, старательно вызубренной, он просто не мог, не имел права.

«Это подлинное возрождение, — говорил Семченко. — Документальные доказательства могут быть представлены Всероссийским союзом эсперантистов через месяц. Лично вам или в президиум Всемирного конгресса...»

Директор некоторое время послушал, затем сделал знак подождать и что-то шепнул клерку; тот вышел, а через минуту привел в кабинет пухлого черноволосого человечка с кожей оливкового цвета. Человечек заговорил быстро-быстро, Семченко ничего не понял и лишь уловил несколько раз повторенное слово «сеньор». Тогда наконец дошло, что его принимают за испанца: вызвали переводчика. И осенило: нет здесь никаких эсперантистов, обычная денежная контора, только под особой вывеской. Все это был обман, политика, состояние эсперантизма в России никого не интересовало, не стоило бисер метать перед свиньями. От волнения немногие английские фразы исчезли из памяти, накатила обида, злость, что клюнул на приманку. Он молча повернулся и пошел к двери, провожаемый равнодушным взглядом директора и робким, удивленным возгласом оливкового человечка: «Сеньор-ор?»

Эсперанто по звучанию напоминает испанский, Линева об этом всегда печалился.

Впервые Семченко увидел его осенью девятнадцатого, когда Сикорский пригласил на занятие эсперантистского кружка при Доме трудолюбия. Явился человек двадцать — все новички, и Линева, проводя вступительную беседу, начал от печки, то есть с Вавилонской башни, про которую и от Сикорского-то надоело слушать. Все эсперантисты старого толка к месту и не к месту приплели эту башню, затыкали ею все дырки. Далась она им! К тому времени Семченко уже кое-что

кумекал: в госпитале одолел самоучитель Девятнина, а теперь отважно собирался приступить к переводу на эсперанто материалов конгресса III Интернационала.

«Вот, послушайте. — Линеv произнес длинную немецкую фразу. — В этом языке видна душа немца, тертона. Он поклонник философии, музыкант и, как ни странно, при всем том солдат... Или, например, английская речь. — Последовало несколько слов по-английски. — Перед нами предстает сухая и чопорная фигура англичанина, торговца и мореплавателя, который вечно спешит и потому стремится как можно короче выразить свою мысль... А сейчас вслушаемся в божественные звуки испанского языка. — Линеv задумался, но память, видимо, подсказала ему одну-единственную фразу: — Буэнас диос, сеньорита!»

В группе студентов, сидевших отдельно, кто-то прыснул. Укоризненно глянув туда, Линеv продолжал: «В каждом языке видна душа народа, но эсперанто соединяет в себе черты всех языков Европы, в том числе и русского. И, прямо скажем: лучшие черты! Да и ни один язык, товарищи, не может пока стать международным из-за присущего всем нациям тщеславия...»

«А латынь?» — спросил какой-то студент с ярко-рыжей шевелюрой.

«Да, латынь обладает кое-какими достоинствами нейтрального языка. — Линеv, похоже, обрадовался такому вопросу. — Но, увы, в наш век она безнадежно устарела. Можно ли составить на латыни следующую, например, весьма простую фразу: достань носовой платок и вытри брюки? Нет, друзья мои, нельзя. Ведь римляне брюк не носили и носовыми платками не пользовались. На латыни мы можем сказать только «достань и вытри». А что? Чем? Еще хуже обстоят дела с древнегреческим и санскритом...»

На втором занятии прошли алфавит, записали несколько слов, и тут же Линеv объяснил, что вставка «ин» обозначает в эсперанто существо женского пола: патро — отец, патрино — мать, бово — бык, бовино — корова. При этом студент, который спрашивал про латынь, ехидный и рыжий, поинтересовался, почему нельзя вместо слова «патрино» ввести слово «матро», куда как более понятное любому европейцу. Этот невинный, казалось бы, вопрос привел Линева в бешенство. «Свя-

тая простота! — заорал он. — Вы же студент, и ваша наивность преступна! Доктор Заменгоф, единожды создав язык, перестал вмешиваться в его дальнейшее бытие. И поэтому он велик!»

Позднее выяснилось, что этот рыжий студент явился в кружок с целью завербовать кого-нибудь в университетскую группу идистов, то есть сторонников языка «идо», созданного французом де Бофроном на основе эсперанто. Из любопытства Семченко однажды сходил с этим рыжим к его приятелям, узнал, что само слово «идо» на эсперанто означает «потомок, отпрыск», что вместо «патрино» в идо-языке употребляется слово «матро», и ушел разочарованный. Идистов было мало, во всем мире человек четыреста, а в городе — восемь, и вообще сама идея двух международных языков казалась бессмысленной. Тут с одним-то не знаешь как расхлебаться.

Сам Линев по убеждениям был социалистом-эсперантистом. «Представьте себе, Николай Семенович, — говорил он, — что демократия всех стран имела бы единый язык ежедневного обихода. Можно ли предположить, что и тогда демократия одной страны единодушно пошла бы войной против соседней? Английская против немецкой? Если и можно, то примерно с той же долей вероятности, с какой в четырнадцатом году Калужская губерния могла пойти войной на Тульскую по приказу сумасброда-губернатора. Хотя в каждой из этих губерний были и капиталисты, и помещики, и войско...» Была в таких рассуждениях очевидная неправильность, Семченко раздражавшая, но найти эту неправильность и предъявить Линеву он не мог — образования не хватало, а тот побивал цитатами.

Однако в борьбе с университетскими идистами они выступали плечо к плечу. Студенты эти нагнали все больше, вызывали на диспуты, а однажды прислали экземпляр «Фундаменто де эсперанто» с издевательскими комментариями на полях. Тогда уж все отношения окончательно были прерваны, тем более, что последний диспут в университете закончился скандалом и потасовкой.

Весной двадцатого года идисты укрепили свои ряды, переманив к себе нескольких эсперантистов — интеллигентов; кроме того, им удалось отпечатать в типографии сотни две листовок; они распространяли их по городу, подбрасывали в Стефановское училище, и, хо-

тя затея эта особого успеха не имела, Семченко все равно считал ее вредной для общепролетарского дела, дезорганизующей рядовых эсперантистов.

Недавно они с Линевым сочинили письмо, в котором требовали решительно пресечь идо-пропаганду, и направили его в губком. Письмо заканчивалось так: «Эсперантистские клубы для рабочих многих стран, где царит диктатура буржуазии, часто являются единственно доступными формами пролетарских организаций. За границей эсперанто часто называют «большевистским языком», чего никак нельзя сказать о так называемом «идо».

Они с Линевым сочиняли это письмо вдохновенно, в каком-то радостном единении, почти в любви, забыв о прежних разногласиях, и даже на последнем вечере, хотя и повздорили из-за плаката, пару раз успели-таки обменяться заговорщицкими взглядами. Но потом, уже в губкековском подвале, когда все мысли были о Казарозе, только о ней, это дурацкое переглядывание казалось отвратительным, оскорбляющим последние минуты ее жизни.

Великая и благая надежда подвигла доктора Заменгофа на создание эсперанто. Но что толку, если даже люди, с детства говорящие на одном языке, не могут пока понять друг друга? А на каком языке говорить с мертвыми?

Днем снова привели на допрос в ту же комнату на втором этаже.

— Ну вот, — сказал Караваев, — теперь можно и поговорить ладом. Скажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Казарозой.

Семченко в нескольких словах рассказал, как было дело, и увидел: не верят.

— Если все так просто, — усмехнулся Ванечка, — почему вчера не рассказали? Сегодня с утра я побеседовал кое с кем в редакции. И, знаете, любопытная выяснилась подробность. Оказывается, вы приглашали людей в Стефановское училище послушать Казарозу еще до того, как встретились с ней в театре. Следовательно, были уверены, что она вам не откажет. Откуда такая уверенность? Или вы с ней еще раньше виделись?

— Я уже сказал: в Питере, в восемнадцатом году.

— Слушай, Семченко, — предложил Караваев, — давай-ка по-хорошему. Чего комедь ломать? Ты в городе человек известный, отзывы о тебе самые положительные. И ребята есть, которые с тобой на Глазовском направлении воевали. Веньку Леготкина из угрозыска знаешь? Он за тебя всем нам головы поотрывать грозит.

— Дерьмо он, ваш Леготкин, — сказал Семченко. — Всю прошлую зиму в агитотделе просидел. Герой! Листовки сочинял да бутылки из маузера кокал.

— Ну, это другой разговор. Короче, знают тебя за честного борца.

— Что ж вы меня держите тут вместе со всякими контриками?

— А ты не обижайся, — посоветовал Караваев. — Сейчас обижается знаешь кто? Враги. А мы с тобой права не имеем обижаться. Посадят меня завтра на твое место, нисколько не обижусь. Не веришь?

— Не верю, — сказал Семченко.

— Честное слово, не обижусь. Потому что момент, сам понимаешь, тяжелый. Какие могут быть обиды? Разберемся и отпустим, если ошибка вышла. А Пустыреву я лично доложу: ошибка, мол, и вы товарищу Семченко доверяйте по-прежнему, как доверяли.

— Переписка у вас в клубе как организована? — спросил Ванечка.

Семченко объяснил, что в централизованном порядке: письма обязательно отправляются с печатью клуба, которая хранится у секретаря, причем текст пишется в двух экземплярах, и копия навечно остается в клубном архиве. Этому порядку Семченко хотя и подчинялся, но не одобрял его — канцелярия у Багина, как в губернской управе.

— Смотри-ка, обзавелись! — удивился Караваев. — И чего вы пишете-то друг другу?

— На ихнем эсперанто что ни напиши, — вставил Ванечка, — все будто со значением выходит, всякая чепуха.

— Потому и пишем.

Семченко давно догадался, что на чужом языке, полупонятном, любая мысль весомее кажется, чем на своем, родном, ведь ее через труд понимаешь, через усилие, и относишься к ней серьезнее. Действительно, что ни напиши, все как откровение.

— На печати вашего клуба изображение пятико-

нечной звезды в круге и латинская надпись «эсперо»? — продолжал спрашивать Ванечка. — Правильно? Так вот, письмо с такой печатью было нами обнаружено при обыске на петроградской квартире Алферьева. Он же Токмаков, Струков, Инин.

— Письмо на эсперанто?

— Да уж не на церковнославянском... Мне его перевели.

— И о чем оно?

— О правилах написания на эсперанто русских и польских имен собственных. Но, возможно, это шифр... Вот, взгляните.

Семченко понял лишь отдельные слова, но почерк показался знакомым. Текст пестрел звездочками, которые, повторяясь внизу, под чертой, отсылали к сочинениям доктора Заменгофа и указывали номера страниц.

— Посмотрели? — Ванечка отнял письмо. — Как по-вашему, почему оно без подписи?

— Если письмо отправлено через клуб, отправитель может и не подписываться. Оно выражает общее мнение членов клуба. Достаточно печати.

— Кто из ваших активистов мог его написать?

— Не знаю.

— И это еще не все, — неумолимо продолжал Ванечка. — У того же Алферьева найдено было другое письмо, и тоже на эсперанто. Автор его пытался выяснить положение дел в центральных органах партии правых эсеров. Судя по вопросам, оно написано весной этого года. На нем ни подписи, ни печати. Но можно предположить, что отправитель живет в местах, находившихся под властью Колчака.

— Конверты сохранились?

— Если бы! Правда, я узнал, что одно из писем — неизвестно, какое именно, — было передано Алферьеву из «Амикаро».

— Это еще что такое? — поинтересовался Семченко.

— Петроградский клуб слепых эсперантистов. Года три назад он вел там кружок мелодекламации на эсперанто. Алферьев — бывший артист.

— Ага. — Семченко прикинул возможные варианты. — Нужно посмотреть, есть ли в нашем архиве копия первого письма. Ты его кому-то из наших показывал?

— Багину, — сказал Ванечка. — И он этот почерк

сразу признал. Знаете, чей? Линева Игнатия Федоровича... Но вернемся к Алферьеву. Он был арестован в начале мая, но бежал по дороге.

— Что ж вы ушами-то хлопали? — спросил Семченко.

— В тот же день, — дернув бровью, продолжал Ванечка, — мы допросили Казарозу. Она заявила, будто порвала с ним еще зимой, и с тех пор они не виделись.

— Это правда? В самом деле порвала?

— Да, соседи подтвердили... А через полтора месяца после побега Алферьева она вдруг засобиравлась в гастрольную поездку на Урал, хотя почти год перед тем нигде не выступала. Почему? Да и поездка-то никаких выгод ей не сулила. Оплата нищенская. В труппе всякая шушера, никому не известные артисты. А Казароза певица с именем. Но согласилась ехать на тех же условиях, что и остальные. Зачем, спрашивается? Ответ один: ей важен был маршрут поездки. О клубе «Эсперо» мы уже навели справки, а тут и вы появились. Да еще с адресом банка на Риджент-парк — того самого, которым интересовался Алферьев... Связь улавливаете?

— Уж как-нибудь... Значит, думаете, что Алферьева скрывают в городе местные эсеры. И кто-то из них член нашего клуба.

— Вот такие, брат, дела, — сказал Караваев. — Сам понимаешь.

— А того курсанта вы тоже сюда притягиваете? — спросил Семченко.

Караваев нахмурился:

— Ну, с ним, сопляком, и так все ясно. Надрался на радостях после выпуска, с пьяных глаз контра и померещилась... Судить его будем.

Семченко провел рукой по взмокшему лбу, жгутиком скатилось на коже волоконце тополиного пуха.

— А если не он убил? Ведь, поди, вверх стрелял. Для протеста всегда вверх стреляют.

— Кто ж тогда?

— Может, кто другой пальнул, когда паника началась?

— Вы скажете! — покрутил головой Ванечка. — Выстрела было три, так? Штукатурка на потолке в двух местах обвалилась, а у него в нагане трех патронов недостает, я сам проверял. Чего еще?

— Нет, Ваня, он дело говорит, — не согласился Ка-

раваев. — Я уж тоже думал. Что, если два выстрела враз? И всего не три, а четыре? Калибр у пули надо посмотреть.

— Какой пули? — не понял Семченко.

— Какой! Той самой... Которая в ней.

— Хорошо. — Ванечка шагнул к Семченко, навис над ним. — Знаете, конечно, что идет война с панской Польшей? Какого содержания письмо отправлено вами в варшавский клуб «Зелена звезда»?

— Возьми копию у Багина и почитай. Он переведет.

— Хорошо, пускай вы ни в чем не виновны. Допускаю. Но почему тогда не хотите рассказать о своих отношениях с Казарозой? Что между вами было? Что? — Ванечка уже почти кричал. — Отвечайте!

— Любовь, может? — участливо спросил Караваев. — Ты парень холостой, мы тоже люди...

Началась та же волынка, что и вчера, и через полчаса опять вызван был солдатик — вести Семченко в подвал, чтобы он там посидел, подумал и хорошенько все вспомнил.

Когда на первом этаже проходили мимо дежурки, Семченко остановился, заметив у стены бачок с водой. Он стоял на табурете, сверху кружка на цепочке. Рядом, прямо по штукатурке, написано краской: «Не пей сырой воды, товарищ! Холера!»

— Попить бы, — попросил Семченко.

— Да теплая она, — неуверенно сказал солдатик. — С души воротит.

Не обращая на него внимания, Семченко подошел к бачку, снял кружку и отвернул краник. Вода потекла вялой струйкой, дно не зазвенело даже под первыми каплями, потом и вовсе перестало течь — видать, краник изнутри чем-то забило. Семченко шатнул бачок, ощутив его двухведерную тяжесть, из-под крышки выбились брызги, и опять потекло.

Солдатик, совсем еще пацан, стоял возле, винтовка у ноги, ноющим голосом уговаривал пить побыстрее, пока начальство не видит. Налево — дежурка, а прямо по коридору, в двух шагах, дверь на улицу приоткрыта. Тонкая щелочка, свет колющий лучиками.

Семченко отлил из кружки в горсть, плеснул на шею, провел мокрой ладонью по лбу, по щекам. Собственная судьба меньше всего тревожила — обойдется. Пустота была в душе и усталость, и о Казарозе он старался не думать, потому что хотя и говорил с ним док-

тор Заменгоф, как бы извиняясь, и Алферьев этот был эсперантист, но по-настоящему виноват в ее смерти только он сам. Зачем пригласил в Стефановское училище? И еще радовался, что так легко согласилась. Алферьева вспомнила, вот и согласилась. Значит, любила его. Порвала с ним, но любила. Наверное, он и придумал ей это имя... Да и курсанта, поднявшего пальбу, Семченко еще вчера узнал: тот самый, что совал козлу самокрутку. А кто перед ним, дураком, распинался, петроградской певицей соблазнял? Пускай даже не в нее стрелял, в потолок, все равно из-за этого она погибла, то есть опять же из-за него, Семченко. И теперь он тут будет сидеть, ждать невесть чего?

Нагнувшись, вылил остатки воды себе на голову. Спокойно поставил кружку на место, затем так же спокойно выдернул из рук у солдатики винтовку и зашвырнул вдоль по коридору. Тот, обалдев от ужаса, кинулся за ней, а Семченко, успев задвинуть засов на дверях дежурки, выскочил на крыльцо и побежал по пустынной и знойной послеполуденной улице.

Пробежав шагов двадцать, махнул через ограду в чей-то огород, и вовремя — сзади хлопнул выстрел, закричали. По дворам, среди флигелей, летних кухонек, нужников и дровяных сараев, распугивая кур, он выбрался на соседнюю улицу, снова нырнул в палисадник, постоял за поленницей. Кричали квартала за два, на Торговой.

Через пять минут стремительным броском, как под обстрелом, он пересек Театральную площадь и ворвался в фойе, где висела все та же афиша петроградской труппы. Номером вторым, вслед за Казарозой, значилась некая Ирина Милашевская — пастушеские напевы Тироля, песни из всемирно известного спектакля «Кровавый мак степей херсонских»; показалось почему-то, что говорить следует именно с ней, хотя были в афише и другие женские фамилии.

Сутулая большеротая блондинка лет двадцати семи, она склонилась над столом и ладонью старательно утюжила носовой платок. На ее тонком запястье по-мальчишечьи выпирала круглая косточка, пальцы длинные, с болезненно расширенными суставами.

— Значит, если я вас правильно поняла, вы корреспондент местной газеты...

— Я не потому к вам пришел... Вы хорошо знали Зинаиду Георгиевну?

— Если я вас правильно поняла, — все тем же ровным голосом повторила Милашевская, — вы репортер и занимаетесь, видимо, скандальной хроникой. И если я вас правильно поняла, то немедленно подите вон.

В уборной у нее было неприбрано — поваленные ширмы, открытые чемоданы, разбросанная по стульям одежда.

— У нас в газете нет такого отдела, — сказал Семченко. — Это не буржуазная газета.

— Тогда что вам от меня нужно?

— Пожалуйста, расскажите мне о Казарозе. Все, что знаете. Мне все важно.

— Похороны завтра утром, — не глядя на него, ответила Милашевская, — потому что жара. Деньги на гроб и на могильщиков от имени какого-то клуба принес какой-то Лиев...

— Нет, — перебил Семченко, — не про это.

— Про что же?

— Не о мертвой.

— Простите, вы с ней были знакомы?

— Да, встречались в Петрограде.

— А-а. — Милашевская кивнула понимающе.

— И это я пригласил Зинаиду Георгиевну выступить вчера в Стефановском училище.

— Можете не казнить, — сказала она. — Вы тут ни при чем.

— То есть?

— Судьба... Накануне я ей сама гадала. И два раза подряд выпал пиковый туз.

Семченко поднялся:

— Вижу, не будет у нас разговора...

— Сядьте, — велела Милашевская. — Я вам что-то скажу.

— Ну, что? — Он сел.

— Мои карты никогда не врут, вот что.

— Это все, о чем вы хотели мне сообщить?

— А разве не за этим вы ко мне пришли? И я с вас вину снимаю. Ни в чем вы не виноваты, потому что судьба.

— Чтобы так говорить, нужно было очень хорошо знать Зинаиду Георгиевну, всю ее жизнь. Я прав?

— Безусловно.

— Вы долго были знакомы?

— Шесть лет, — сказала Милашевская. — В Берлине познакомились, перед самой войной. Я брала там уроки в консерватории, а Зиночка готовила голос для пробы у профессора Штитцеля. Был в Берлине такой знаменитый профессор.

— А после?

— Началась война, немцы нас интернировали. Потом выпустили, и мы вместе уехали в Россию. Через Стокгольм, если вас интересуют подробности.

— В России вы продолжали видеться?

— Я жила в Москве и Зиночку встретила лишь в позапрошлом году. На Невском, совершенно случайно. Она шла с большой корзиной, а в корзине — младенец. Сын. Она его Чикой называла, но вообще-то настоящее имя Саша, Александр. Помню, она мне тогда ужасно обрадовалась. Поставила корзину на тротуар, простынку откинула. Гордая, прямо светится вся. А младенец чистенький, здоровый, лобастый такой. Я даже удивилась, что ему всего восемь месяцев. Потом уж сообразила, что просто он рядом с Зиночкой большим казался. Она ведь крошечная. Знаете, как про нее шутили? Подъезжает пустая пролетка, и оттуда выходит Каза-роза.

— Сын жив? — спросил Семченко.

— Если бы так! Первый раз он еще прошлой зимой заболел. Зашла как-то к Зиночке на Кирочную — занавески опущены, темно. Чика в кровати лежит. Глазки завязаны, на губах пузырьки пены. Ужасно, когда дети болеют. Хуже нет... Я тогда еле достала шприц для впрыскиваний, и все обошлось, но через год он умер от той же болезни.

— А с Алферьевым она к тому времени уже рассталась?

— Давайте не будем о нем говорить.

— Понимаете, — сказал Семченко, — у меня есть основания думать, что Зинаида Георгиевна погибла во все не случайно.

— Значит, и вы это предвидели? Тогда я вас тоже спрошу: вы любили ее? Ну, не отвечайте, не надо... Я думаю, что случайных смертей не бывает. Мы ведь как считаем? Какая-то болезнь, допустим, от нее смерть. А на самом деле все наоборот: не смерть от болезни, а болезнь от смерти.

— Как так? — не понял Семченко.

— Должен человек умереть, тогда и появляется болезнь. Только к детям это не относится.

— Но Зинаида Георгиевна была здорова... Или нет?

— Когда умер Чика, она долго болела. Что-то с горлом. Потом поправилась, но после болезни у нее изменился голос. Вы же слышали ее раньше... Голос у нее всегда был небольшой, но с какой-то волнующей мягкостью тембра. А теперь словно трещинка в нем появилась — махонькая, не всякий и заметит, и тем не менее она совсем перестала петь, перестала бывать в театрах и в тех домах, где собираются люди театра. А в нашем кругу это все, конец. И знаете, когда я узнала это вчера, то даже не очень удивилась... Господи, о чем я? Какое удивление? Ну, не могу выразить. Ужас, боль, все это было, да, но для всех ее смерть — чудовищная нелепость, а я знала Зиночку раньше и теперь и чувствовала: что-то должно с ней случиться. Не в этот раз, так в следующий. Не здесь, так в Петрограде. Где угодно! Нехорошо это говорить, нельзя, но, честное слово, я будто ждала чего-то подобного. Ведь ее голос — не просто голос, как у вас или даже у меня. Голос — это ее душа. Вы понимаете, о чем я? И не в голосе трещина-то появилась... Я понятно говорю?

— А как она оказалась в этой поездке?

— Да я, дура, ее и вытащила! Я! Думала, пусть попробует в провинции выступить, если в Петрограде не хочет. Чуть не силой вытащила. Сама договорилась обо всем, контракт на подпись к ней домой принесла. Она из дому-то почти не выходила, не виделась ни с кем. Питалась морковным чаем и сухарями. Разве друзья иногда чего-нибудь подкинут. Ее многие любили — актеры, режиссеры. Она умела выслушивать их, понимать, умела говорить с ними о них самих. В талантливых людях из нашей среды это редко встречается, все о себе норовят. Но в последнее время она стала другая. Ее ничто не интересовало. Шторы в комнате опустит, сядет за стол и сидит часами. А на столе гипсовый слепок Чикиной ручки. От одного этого с ума можно сойти.

— Выходит, из-за вас она сюда приехала, — безжалостно уточнил Семченко, понимая уже, что Милашевская сказала правду, и Алферьева в городе нет.

Она кивнула:

— Да... Если на то пошло, я больше вашего виновата.

— А с Алферьевым Зинаида Георгиевна давно рассталась?

— Вскоре после смерти Чики. — Милашевская изумительно оглядела Семченко. — Вам голову после тифа обрили? Или сами, из принципа? Сейчас многие ваши из принципа наголо бреются, как монгольские мо-
нахи.

— Не имеет значения, — сказал Семченко.

— А когда вы с Зинойчкой познакомились, у вас еще были волосы?

— Зачем вам это знать?

— Так, нормальное женское любопытство... Странно, что она мне о вас никогда ничего не говорила. Видимо, и я была для нее недостаточно близким человеком. Может быть, из-за вас она и согласилась поехать в этот город, а я тут ни при чем?

— Может быть, — вставая, сказал Семченко.

— Я ведь до последней минуты не верила, что она поедет. — Милашевская тоже поднялась. — У вас остались ее пластинки, фотографии? У меня есть лишний снимок с ее портрета. Яковлев рисовал. Зиночка стоит в пустыне, окруженная дикими зверями, а в руке держит клетку с райской птицей. Так он ее голос изобразил, в виде птицы... Хотите, пришлю?

— Хочу. — Семченко записал ей в книжечку адрес редакции, попрощался и шагнул к двери, прислушиваясь, не слышать ли погони.

— Подождите, — остановила его Милашевская. — Вы еще не обо всем спросили, я знаю. Спрашивайте, спрашивайте.

— О чем?

— Не притворяйтесь. Я женщина и все прекрасно вижу. Ведь вам же хочется, чтобы я рассказала об Алферьеве...

9

В соседнем номере ворковал репродуктор. Под окном, у светофора, скрипели тормозами машины.

И где теперь эта картина, снимок с которой Семченко полвека проносил в своем бумажнике?

Яковлев, как он выяснил позднее, был известный художник, в начале двадцатых годов эмигрировал во Францию, служил в фирме «Ситроен» и прославился путевыми зарисовками, сделанными во время автопро-

бега по Северной Африке. Альбом с этими зарисовками Семченко видел в Лондоне: пустыня, пальмы в оазисе, берберы в белых бурнусах стоят возле автомобиля, верблюды лижут влажную от росы парусину палатки, величественный шейх, окруженный свитой, наблюдает, как меняют проколотую шину; Оран, Алжир, Константина. Но больше всего запомнился один лист — «Продавец птиц». Уродливый старик сидит на краю базара, вокруг него множество клеток с птичками, а в самой красивой, стоящей у его ног, прижалась лицом к соломенным столбикам-прутикам крошечная, не больше ладони, печальная женщина.

В дверь постучали. Семченко быстро сел на кровати, сунул ноги в ботинки и лишь потом сказал:

— Входите, не заперто.

Вошла Майя Антоновна. Через пять минут она уже вынимала из портфеля, раскладывала по столу открытки и письма в ярких конвертах, рассказывала, что их кружок ведет регулярную переписку с двенадцатью зарубежными клубами и вот-вот сам должен получить статус клуба. На открытках были красивые иностранные города, снятые преимущественно летом, памятники. Изредка попадались пейзажи.

— Очень интересно, — говорил Семченко, равнодушно разглядывая весь этот пестрый заграничный хлам. — И о чем же вы пишете?

— Рассказываем о нашем городе, о природе края, о культурных достижениях. Кроме того, многие наши кружковцы собирают открытки, марки. Эсперанто им просто необходимо. Он дает возможность постоянно пополнять коллекцию.

— Очень, очень интересно, — с раздражением сказал Семченко. — Мы в свое время до этого не додумались.

— Вообще эсперанто сближает людей. Вот у нас в кружке парень и девушка полюбили друг друга, поженились и хорошо живут. Я когда ездила в международный эсперантистский лагерь под Киевом, то моей соседке по бунгало один венгр в любви признался на эсперанто.

Умом Семченко понимал, что все это правильно, человечно, мило, но раздражение не проходило, наоборот, усиливалось.

— Для чего же вам понадобились мои воспоминания? Мы марок не собирали.

— Естественно, — объяснила Майя Антоновна, — хочется сравнить: как было раньше и как стало теперь. Чтобы увидеть прогресс.

— Кун бруста вундо, — сказал Семченко. — С свинцом в груди! Вот как было раньше. А у вас вроде хобби получается. — Он поднялся, взял свою палку. — Давайте немного прогуляемся по городу. Не знаете, здание «Муравейника» сохранилось?

— Да, конечно. — Майя Антоновна испуганно стала сметать в портфель письма и открытки. — Там теперь Дворец пионеров.

На Кунгурской оно стояло, это здание, похожее на боярские палаты, прежде в нем размещалось Кирилло-Мефодиевское земское училище, недавно преобразованное в школу-коммуну, где и работала Альбина Ивановна; от театра минут пятнадцать ходу — мимо торговых рядов, кинематографа «Лоранж» и Покровской церкви, и Семченко, уверовав уже в свою неуязвимость, шел спокойно, прямо по улице. Завтра, если ничего не узнает, сам вернется к Караваеву, но сейчас ему нужны были этот день и эта ночь — в то, что Казарозу убил курсант, верилось все меньше.

Альбину Ивановну он нашел в первой же комнате. Вокруг нее толклись ребятишки в каких-то хламидах, сшитых из мешковины, один пацаненок стоял на ходулях, с цилиндром на голове — репетировали. Альбина Ивановна обожала всякие пантомимы и живые картины, которые неизменно представляла со своими воспитанниками на всех городских торжествах.

— Вы? — Улыбаясь, она шагнула навстречу. — Вас отпустили, да? Все обошлось? Ну, слава богу!

— Поговорить надо, — сказал Семченко.

— Я сейчас! Пожалуйста, Николай Семенович, подождите меня одну секундочку!

Семченко вышел в коридор, достал пачку папирос, за бешеные деньги купленную по дороге у корейца-разносчика, закурил, глядя в окно, и вновь попытался представить себе Алферьева.

«Честно признаться, — говорила Милашевская, — мне этот человек никогда не нравился. Хотя, надо отдать ему должное, интересный мужчина. Высокий, гибкий, в фигуре, знаете, что-то кавказское. Такое нервное тело, очень выразительное в движениях. По тому,

как он сидит, как чай в стакан наливает, сразу можно угадать его настроение. А лицо, наоборот, неподвижное. Мимика самая банальная — усмешка, прищур, взгляд исподлобья. Но при всем том — актер. Правда, из неудавшихся. Они с Зиной начинали вместе в Доме интермедий, был перед войной в Петербурге такой театрик. Вы, наверное, хотите спросить, как же он с подобной мимикой на сцене играл? А вот играл, и даже нравилось на первых порах многим. За этой неподвижностью лица видели сдерживаемую страсть. Возраст? Около тридцати. Но уже с залысинами. У Чики из-за болезни и плохого питания волосики медленно росли, и от этого он еще больше на отца походил. Форма головы, лоб, нос — все его, только глаза Зиной. Иногда мне кажется, что она, может быть, и порвала-то с ним потому, что он ей напоминал мертвого сына. Да-да! Такое редко бывает, но бывает. У цельных натур. Впрочем, вместе они почти и не жили. Он вел беспорядочную жизнь — уезжал, приезжал, снова исчезал. Был видный эсер — правый, по-моему. Боролся с большевиками, потом помирился с ними, когда начал наступать Колчак, потом Колчака разбили, и он опять ушел в подполье. Для женщины, конечно, такая жизнь мучительна, но расстались они не из-за этого. Когда после смерти Чики она покинула сцену, Алферьев решил втянуть ее в дела своей партии. Ему нужна была жена-соратница. Зина же видела за всеми его планами только новую кровь, новые разрушения...»

— А вот и я! — объявила Альбина Ивановна.

Под воротом ее грубой полотняной блузы кокетливо торчал короткий, тоже полотняный галстучек, выглядевший ненужным привеском к этой блузе, похожей на матросскую робу, и сама Альбина Ивановна походила на собственный костюм: с одной стороны, подчеркнуто громкий голос, широкий шаг, стриженные волосы, манера курить, по-мужски зажимая папиросу между большим пальцем и указательным, а с другой — застенчивость почти девичья, трогательное умение удивляться самым обыкновенным вещам.

В конце коридора, под лестницей, она толкнула низкую дверку:

— Входите.

Идеальный порядок царил в ее комнатухе: застланная свежим покрывалом кровать, на столе чистая скатерть, цветы в бутылке, обернутой листом бумаги на-

подобие вазончика, и тут же безобразная, доверху набитая окурками жестянка.

— Вы никогда раньше ко мне не приходили. Что-то случилось?

Семченко сказал, что ничего особенного, просто решил зайти, и начал объяснять, какие изменения совета-вала Казароза внести в пантомиму «Долой языковые барьеры».

— Не хотелось бы плохо говорить о мертвой, — сказала Альбина Ивановна, — но ее советы — это, простите, дань изжившей себя салонной традиции.

— Альбина Ивановна, — перебил Семченко. — Сколько вы слышали вчера выстрелов? Три или четыре?

— Кажется, три... Или четыре. А что?

— Пожалуйста, вспомните!

— Сперва один раз, потом еще два... Или три. — Она поджала губы. — Вы только за этим и пришли? Больше ничего не хотите у меня спросить?

— Хочу... Не замечали за Игнатием Федоровичем, он сильно интересуется вопросами эсперантоорфографии? Вы же вместе составляли «12 уроков для начинающих».

— Конечно, интересуется. Вы разве не знали? Он считает, что тут царит полная анархия. Даже дал мне одну книжечку в качестве отрицательного примера, и я прямо диву далась: оказывается, вопрос-то самый сложный, мнений множество.

— Покажите-ка, — попросил Семченко.

Взял протянутую брошюрку и, как-то не особо и удивившись, прочел вверху фамилию автора: Алферьев. Издана в 1916 году Петроградским клубом слепых эсперантистов «Амикаро».

— О правилах написания русских и польских имен собственных, — пояснила Альбина Ивановна. — Игнатий Федорович в корне с ней не согласен.

Язык она знала гораздо лучше, хотя заниматься начала позднее, чем Семченко, и он спросил, что означает само слово «амикаро».

— Николай Семенович, — укорила она, — как вам не стыдно! Одно из краеугольных понятий нашего движения, и вы не знаете? Вот уж не думала. — И была прочитана целая лекция: это слово, в буквальном переводе означающее «дорогие друзья», на самом деле при-

надлежит к числу тех редких в эсперанто, которые выражают его внутреннюю суть и не могут быть точно переданы в национальных языках; «амикаро» — это некое дружество людей, единомышленников, объединенных общей идеей, причем идеей, пропущенной через сердце; соратники по любви и надежде — вот кто такие «амикаро», а союз между ними по смыслу подобен союзу мужчины и женщины, любящих друг друга и выращивающих своего ребенка.

Альбина Ивановна говорила все тише, почти шептала уже, и все ближе придвигалось ее покрасневшее лицо, а Семченко, не слушая, о другом думал, мысленно протягивал эту брошюру Караваеву с Ванечкой: вот, можете убедиться, Линеv писал Алферьеву, как эсперантист эсперантисту. И только! Впрочем, было еще и второе письмо.

— Вы не слушаете меня? — Альбина Ивановна опять поджала губы. — Вам не интересно то, что я говорю, да? Зачем тогда спрашивали?

— Я возьму ее. — Семченко сунул брошюру за поясной ремень, под гимнастерку.

Она схватила его за руку:

— Николай Семенович, почему вас вчера арестовали? Поверьте, я не из бабьего любопытства! Мне это важно... Мне все про вас важно!

— Я должен идти.

Только что была мысль попросить разрешения посидеть в ее комнатухе до вечера, пока не стемнеет, но сейчас уже невозможно стало об этом просить.

— Одну секундочку, Николай Семенович! Вы ответите мне на один вопрос? Эта певица, Казароза... Вы любили ее? — Лицо Альбины Ивановны было запрокинуто, как под ветром, глаза сухие, и галстучек на блузе сиротливо так топорщился, никчемно. — Когда я вчера увидела вас вместе, то почему-то сразу об этом подумала. Вы ее любили? Или я ошибаюсь, и это просто хорошие товарищеские отношения? — Задохнувшись, она перешла на шепот: — Я хочу знать. Я имею право это знать... Боже, что я говорю, дура! Какие права?

— Альбина Ивановна, почему вы занялись эсперанто? — спросил Семченко.

— Потому, — шепотом отвечала она. — Я рада, что вы наконец все поняли.

Дома было пусто, тихо — Петька гонял с ребятами во дворе, сын с невесткой еще не пришли с работы.

Сын родился поздно, через четыре года после свадьбы, и Надя придумала ему звучное иностранное имя, казавшееся тогда чуть ли не революционным — Адольф. Осторожные опасения Вадима Аркадьевича оставлены были без внимания. За это имя сын принял в детстве много мучений — и дразнили его, и били, и свастику на ранце рисовали; в конце концов он превратился в Анатолия, успел повоевать два месяца, но так и вырос человеком замкнутым, обиженным раз и на всю жизнь. Вадим Аркадьевич, с юности отлично знавший, что имя — это судьба, всегда чувствовал свою вину перед сыном, и теперь это чувство вины обернулось отчуждением — как-то не о чем и незачем стало разговаривать.

До пяти он еще подремал у себя в комнате, затем решил, что пора идти в гостиницу. Накинул плащ, с раздражением швырнул велюровую шляпу, подаренную на день рождения невесткой, надел свою старую кепку, которую та считала плебейским головным убором, и вышел на улицу. До «Спутника» было четыре остановки на трамвае. Три из них он проехал, а четвертую прошел пешком, чтобы собраться с мыслями, подготовиться к разговору, но все мысли разбежались, осталась одна: как будет объяснять швейцару, зачем ему, Вадиму Аркадьевичу Кабакову, нужно в триста четвертый номер? Вдруг не пропустит? И вдруг, что самое ужасное, Семченко его не вспомнит и не захочет позвонить администратору, чтобы выписали пропуск? Знать не знаю, скажет, никаких Кабаковых... И как быть? Но швейцар ни о чем его не спросил.

В триста четвертом номере дверь была заперта, на стук никто не отозвался; Вадим Аркадьевич спустился на улицу, с полчаса, наверное, постоял у входа, на ветру, затем поехал домой.

Такая была догадка: это Линев затеял опасную игру, подвел Семченко под монастырь, и из редакции Вадим отправился не домой, а на другой конец города, на Заимку — там, неподалеку от вокзала и университета, находилась контора железной дороги, где на какой-то

невидной канцелярской должности служил председатель клуба «Эсперо». Определенного плана действий не было, просто хотелось последить за ним. Глядишь, и обнаружится что-нибудь подозрительное.

Ровно в пять часов тот вместе с другими служащими вышел из конторы, но вскоре отделился от них и двинулся в сторону университета. Вадим пристроился у него за спиной — шагах в пятнадцати, миновали главный корпус, обогнали группу студентов, которые с пилами и топорами вразвалочку тянулись к реке — заготовлять, видимо, дрова на берегу.

— Сам пилю, сам колю, сам и печку затоплю! — призывно и громко, с расчетом на прохожих, пел шедший впереди парнишка, не имевший, впрочем, ни пилы, ни топора.

Начальник, подумал Вадим и, проходя мимо, слегка толкнул его плечом.

Возле одного из университетских флигелей стоял доктор Сикорский. Несмотря на жару, был он в черном, на все пуговицы застегнутом пиджаке, в шляпе, и держался так, словно аршин проглотил — прямой, узколицый, бледный, с большими отечными подглазьями. Они с Линевым пожали друг другу руки и дальше пошли вместе.

Григорий Иосифович Сикорский заведовал в университете анатомическим музеем. Недели три назад по заданию Семченко Вадим ходил туда с экскурсией буртымских кооператоров, чтобы после написать заметку, и самым ярким воспоминанием, которое он вынес из этой экскурсии, был заспиртованный в особый колбе мозг профессора Геркеля, первого декана медицинского факультета. Сикорский подробно рассказывал о научных и административных заслугах профессора, перечислял его титулы и звания, полученные исключительно благодаря серому рубчатому сгустку в колбе, его величине, весу и количеству извилин, однако на Вадима профессорский мозг произвел тягостное впечатление, поскольку наводил на размышления как раз о тщете всех этих заслуг и титулов. Даже в конце концов сделалось дурно, и какая-то сердобольная кооператорша отпаивала его в коридоре водой, приговаривая: «Профессора! Только детей стращать!»

Иногда Сикорский приносил в редакцию заметки на санитарно-гигиенические темы, при чтении которых сра-

зу становилось понятно, почему у него всегда такое скорбно-брезгливое выражение лица.

Возле Ботанического сада сидела на перевернутом ящике торговка квасом. Линеv купил у нее два стакана, предложил один Сикорскому, но тот помотал головой. Линеv тут же, не отрываясь, выпил его стакан, а со своим, подхватив Сикорского под руку, отошел в тень, к деревьям, и там начал пить уже мелкими глоточками. Сикорский, откинув обычную свою чопорность, в чем-то горячо убеждал его, и Вадим решил, что про венерические болезни объясняет, велит квасу не пить, но когда подкрался за штaketником ближе, услышал совсем другое, к гигиене отношения не имеющее.

— Посмотрим правде в глаза, — говорил Сикорский, — и честно признаемся хотя бы друг перед другом: эсперанто не выполнил своей миссии. И не выполнит! Уже на его основе появились новые языки, вы же знаете. Федор Чешихин создал непо, де Бофрон — идо. И мы уже боремся с Чешихиным, с де Бофроном. Война идет не на жизнь, а на смерть. Что же получается, Игнатий Федорович? То, что должно было объединить людей, их разделяет. Пускай по-другому, но разделяет же! И скорее француз договорится с англичанином и русским, чем эсперантист с идистом. И теперь я понимаю, что так и должно быть. Увы, единство невозможно! Как ни горько это сознавать, но единообразие противно человеческой природе, мы бессильны...

— Чешихин! — пустым стаканом отмахнулся Линеv. — Де Бофрон! Это отступники, и мы раздавим их не сегодня, так завтра.

— Вот-вот! — закричал Сикорский. — Раздавим! Ведь мы-то с вами остались прежними, хотя и знаем эсперанто. Еретик нам кажется опаснее, чем иноверец, и я этого не потерплю! Слышите, Игнатий Федорович? Не потерплю...

Линеv слушал его спокойно, улыбался покровительственно, словно не в первый раз приходилось ему выслушивать похожие речи, и потягивал квасок с таким острым блаженством на лице, какое в подобных случаях редко можно заметить у пожилых людей, только у мальчишек. И тоже захотелось квасу — невыносимо, до головокружения. Линеv и Сикорский медленно пошли дальше по улице, а Вадим подскочил к торговке. Способность что-либо соображать вернулась к нему после четвертого стакана, и когда она вернулась, оба эспе-

рантиста уже исчезли из виду. Вадим сунулся в одну сторону, в другую и уныло побрел домой, хотя честно собирался следить за Линевым до вечера и, может быть, даже ночью.

Дома, у калитки, прибит был фанерный почтовый ящик. Почему вдруг захотелось в него заглянуть, Вадим и сам не знал — будто под локоть толкнули. Заглянул и увидел на дне белую полоску. Сразу не по себе стало: кто ему будет писать и зачем? Последний раз письмо пришло год назад, после смерти отца — сестра написала из Казани, что осенью на могилу приедет, да так и не приехала.

Вадим отодвинул планку, посыпалась какая-то труха, и вместе с ней порхнул сложенный вдвое листок без конверта — значит, прямо в ящик и опустили. Письмо отстукано было на машинке, вверху заголовок прописными буквами: «ФЛОРИНО СЧАСТЬЕ».

Ниже:

«Счастье пришло ко мне, и я спешу передать его вам, чтобы не прервалась цепь Счастья. Эта переписка началась в 1900 году ученым философом Флориным. Она должна обойти вокруг света шесть раз, тогда на всей Земле воцарится Счастье. Кто прервет переписку, будет несчастлив. Это пророчество сбывается с тех пор, как началась переписка. Обратите внимание на третий день после получения письма: вас ждет Счастье. Загадайте желание, и оно сбудется через три дня на четвертый. Перепишите это письмо два раза и вместе с ним самим передайте или пошлите трем людям, которым вы всей душой желаете Добра и Счастья».

Вадим перечитал письмо и вспомнил: что-то похожее рассказывал года три назад Генька Ходырев, сосед. Положишь будто в конверт рубль бумажный, отошлешь по секретному адресу, за который Генька требовал уплатить еще целковый, а там тоже человек отошлет куда-то, и вскоре выйдет почему-то, что вместо одного рубля получишь десять. Рубль-то еще может назад вернуться, такую возможность Вадим допускал, но откуда возьмутся остальные деньги?

И от невсамделишного этого письма вдруг охватила тоска по настоящему. Никому он не нужен, никто ему не напишет. Вот и крыша прохудилась, и палисадник зарос травой, лишь алеет у забора сам собой выросший марьин корень — бог весть какая вода на киселе тем цветам, что когда-то сажала мать.

А через улицу, в палисаднике Ходыревых, цвели аккуратными рядами высаженные астры и георгины.

Сжимая в руке письмо, Вадим поднялся на крыльцо и заметил, что дверь открыта. Это уж и вовсе было странно. Пошарил под рогожкой, куда, чтобы не потерять, клал обычно ключ, уходя из дому, — ключа не было. Он осторожно пробрался через сени, потянул дверь в комнату и увидел Семченко — тот лежал на кровати прямо в сапогах, одна нога просунута сквозь прутья спинки, другая на одеяле.

— Николай Семенович! — Вадим тронул его за плечо.

Семченко заскрипел зубами во сне, потом резко приподнялся на локтях:

— А, это ты...

И снова лег.

11

Пока гуляли по городу, Майя Антоновна все допытывалась, как и почему он увлекся эсперанто. Семченко про госпиталь говорил, про доктора Сикорского, про революцию в Венгрии и Баварии, когда казалось, что и мировая-то вот-вот грянет, и душа уже была готова, разрывалась от ожидания, но Майя Антоновна с детской педантичностью требовала от него последней, окончательной ясности.

— И все-таки, — приставала она, — что стояло у вас на первом месте? Международная обстановка или внутреннее побуждение?

И тогда он рассказал про своего отца.

Отец, слесарь паровозного депо, был толстовец: мяса не ел и жене с детишками лишь по праздникам разрешал побаловаться холодцом или пельменями. Сапог не носил. Поскольку сапоги и ботинки шьются из кожи убитых животных, он круглый год ходил в лаптях или в катанках. И это в Кунгуре-то, где каждый второй — сапожник! Иконы из горницы вынесены были в холодную комнату, на божнице вместо них поставлен был портрет Льва Толстого в раме из соснового корья, причем отец, мастер на все руки, рамой этой гордился, как никакой другой из своих многочисленных поделок. И тоже были разговоры о справедливости и братстве народов и людей, и какие-то брошюрки, в которых слово «любовь» писалось всегда с заглавной буквы и под чтение

которых мать засыпала. Все это продолжалось года два. Потом накатил пятый год — демонстрации, забастовки, драки с полицией, и отец, безуспешно пытавшийся всех помирить, на очередных переговорах между председателем стачечного комитета и начальником депо, разгневанный неуступчивостью того и другого, сгреб обоих за шиворот, благо лапы были медвежьи, и в бешенстве, не помня себя, с такой силой состукал их лбами, что те едва не окочурились. Начальство потребовало его немедленного увольнения, комитет охотно уступил, да и свои кунгурские толстовцы осудили за применение насилия. Когда выгнали из депо, отец в первый же вечер напился до безумия, а на другой день последние деньги истратил на роскошные хромовые сапоги. Семченко было тогда лет двенадцать, и на всю жизнь запомнилось, как отец, пьяный и растерзанный, в храмах этих приплясывал по горнице, кричал: «В сапожники пойду, маты! Осенью кабанчика закоптим!» Приплясывал, хлопывал себя по голенищам, тормошил сестер, а глаза у самого были пустые, страшные.

В юности Семченко отца не понимал. Позднее понимал, пожалуй, но с собственными эсперантистскими опытами никак не связывал и лишь не так давно начал подумывать, что все не просто так, что эта тоска по правильной и справедливой жизни, томившая отца, через много лет отозвалась и в сыне — по-своему, разумеется, потому что время другое. Да и дед, если вспомнить, из того же был теста, молодым добирался до китайской границы, искал земной рай — Беловодское царство. И дед, и отец, и он сам, Семченко — все одного замеса, а вот дочь его уже не в них пошла, в мать. Ну и что? Все равно любишь больше всех на свете.

Казалось, Майя Антоновна ничего не поймет, но она, похоже, поняла, притихла, вопросов не задавала, и сразу раздражение ушло, захотелось еще рассказывать. У гостиничного подъезда простились до завтра; на душе стало спокойно, он думал, что нет, милая все же девушка эта Майя Антоновна, очень милая.

Поднявшись в номер, отворил окно. Поздно было, но еще светло — май, с легким шелестом проносились по улице редкие машины, из гостиничного ресторана долетала музыка, дудели в свои дудки лабухи, нанятые, наверное, Генькой Ходыревым, когда он был здесь директором. Всего год не дожил Генька, а то бы встретились. Интересно, захотел бы он вспоминать прежние

встречи или нет? Наяривают лабухи, в бывшей швейцарской бывшего Стефановского училища стоит на тумбочке самовар без крышки, пожертвованный Генькой в школьный музей. Большим человеком стал Генька, с Чкаловым встречался, и самовар его уже не просто самовар, а реликвия. Вот так-то! Семченко подумал, что сам он однажды тоже перекинулся с Чкаловым парой слов — совершенно случайно, и тоже, значит, имел право подарить музею какой-нибудь экспонат. Этот ножик, скажем, которым он сейчас чистит ногти.

Ножик привезен был из Англии и чудом уцелел до сих пор. Когда собирались возвращаться домой, в Россию, жена много чего наготовила — вплоть до белых эмалированных коробочек для соли, сахарного песка и разных круп, но Семченко все велел оставить. Стыдно было везти с собой то, чего у других нет. После двухдневного скандала едва сошлись на люстре, чайном сервизе и этих коробочках — ими жена почему-то особенно дорожила.

В Лондоне она жила замкнуто, воспитывала дочь, даже с женами других работников торгпредства почти не общалась, а в Москве вдруг полюбила гостей: вечно толклись в квартире соседки, портнихи, неведо откуда вынырнувшие подружки по курсам. Жена рассказывала им про Англию. У нее было несколько накатанных до блеска историй — например, про няньку дочери: как случайно обнаружилось, эта хитрая нянька в бутылочку с молоком незаметно подбавляли немного виски, чтобы ребенок не плакал и все время спал, а сама целый день читала Библию. Семченко помалкивал, хотя такого случая почему-то не помнил, то есть нянька действительно была — жена ее наняла в его отсутствие, но по приезду он твердо сказал: нет, ни в коем случае, стыдно женщине, которая не работает, еще и держать прислугу.

С той же нянькой жена объяснялась чуть ли не знаками, и в лавках ее плохо понимали, но в Москве она вдруг завела привычку время от времени заговаривать с мужем по-английски — причем всегда на людях, в метро или в магазине; на них начинали оглядываться, он злился, нервничал и не отвечал.

До войны Семченко работал в английском отделе Внешторга, осенью сорок первого ушел в ополчение, был ранен, эвакуирован в Сормово, под Горький, и в Москву вернулся лишь через три года. Жена с дочерью

приехали с Урала еще позднее. Их дом снесло бомбой, и долго потом вспоминались те привезенные из Англии белые коробочки — они стали символом довоенной жизни, памятью об уюте, о том времени, которое теперь казалось молодостью.

Сейчас он стоял в номере у окна, и смертельно хотелось курить, хотя последняя затяжка сделана была лет двадцать назад.

Корейцы из табачной артели папиросы набивали хорошо, дым острой осязаемой струей вливался в легкие.

— Ты, Кабаков, извини, что без спросу, — сказал Семченко. — Помнишь, были у тебя с Осиповым? Я заметил, куда ты ключ кладешь.

— Отпустили вас?

— Да нет. Сбежал.

— Врать-то! — ухмыльнулся Кабаков.

— Я у тебя до вечера посижу, ладно?

Кабаков испуганно вылупил глаза:

— Правда, Николай Семенович? Сбежали?

— Давай дуй к Караваеву, — предложил Семченко. — Докладывай чин чинарем: так, мол, и так. Может, именным оружием наградят.

— Вы же не виноваты ни в чем, — жалобно проговорил Кабаков. — Не контра ведь, я точно знаю.

— Знаешь, тогда не ходи. Чаю согрей.

— До вечера посидите, а дальше?

— Не бойсь, уйду.

— Да вы что? — заорал Кабаков. — Зачем сбежали-то?

— Временно, — объяснил Семченко, слезая с кровати. — Дело есть. Завтра обратно вернусь, не то Караваев подумает, как и ты.

— Об чем это я, по-вашему, думаю?

— Сбежал, значит, виноват.

— Я так не думаю, — неуверенно отрекся Кабаков и покраснел.

— А не думаешь, так чаю согрей.

Кабаков пошарил под подушкой, повернулся, и Семченко увидел у него в руке сумочку Казарозы. Молча выхватил ее, раскрыл и начал выкладывать на стол вещицы, при взгляде на которые опять заныла душа: пузырек из-под духов, мятные капли, медальон, зеркала, гребень, где между зубьев запутались волосы,

ее волосы — весь этот нищенский, жалкий, слезой пробивающий женский скарб. Господи, разве такое ей пришло!

— Вот еще. — Кабаков показал маленькую гипсовую руку: кисть и запястье. — Тоже в сумочке лежала... Видите, один палец отходит? Как на том плакате. Помните? Палец этот.

— И что?

— Может, не случайно? Такое совпадение... Условный знак, может?

Семченко взял слепок. Отвратительно было, что даже эта гипсовая детская ручка, память мертвой о мертвом, способна, оказывается, вызывать какие-то подозрения.

— Сын у нее умер, — сказал он. — Мальчонка двухлетний. Об нем память.

— А на это что скажете? — Многозначительно щуясь, Кабаков протянул вырванный из записной книжки листочек. — Рыжий передал, в темных очках. Идист.

Семченко прочел записку, смял ее в кулаке и бросил под кровать:

— Да пропади они пропадом!

Идисты с их происками совершенно сейчас не интересовали.

Со слепком в руке он подошел к окну, выглянул на улицу. Возле дома напротив стояла белая коза с обломанным рогом и громко, обиженно блеяла.

— Билька, — сказал Кабаков. — До чего пакостная тварь!

Семченко смотрел на козу Бильку.

Теперь во многих семьях держали «деревянную скотинку»: время голодное, а с ней и молоко есть ребятишкам, и сметанка — щи заправить крапивные. Корову в городе не прокормишь, а козе много ли надо? Сколько же их в городе? Розовоглазые белянки, как эта, чернухи с серебристым ворсом на вымени, пегие, черно-пегие, молодые и старые, бодливые и смирные, чистюли и в свалявшейся шерсти, с репьями под брюхом, иные с нитками на рогах или в чернильных пятнах — меченые, они бродили по улицам, оставляя везде свои катушки, щипали траву на обочинах, забирались в общественные сады, глодали деревья на бульваре, объедали с заборов афиши и листовки.

Недавно в редакцию пришло два письма, авторы которых, не сговариваясь, требовали: коз на улицы не вы-

пускать! Одно из них за подписью «Страж» Семченко напечатал несколько дней назад на четвертой полосе. По этому поводу он даже ходил в губисполком, призывал не либеральничать, не потакать обывателям, а то весь город скоро будет изгажен, и после долгих препирательств решили бродячих коз арестовывать и держать в специальном сарае, при стороже, пока за ними не придут. Всю эту систему пресечения Семченко сам же и придумал. На шею каждой арестованной козе он предложил вешать номерок, а на особом листе под этим номером писать приметы. Потом козу отдавать, если хозяйева приметы верно укажут, но взимать штраф пятьсот рублей.

А сейчас он смотрел на козу Бильку и думал, что будь у Казарозы такая вот скотинка, и Чика бы, глядишь, не умер.

Билька стояла у ворот, вскинув голову, и блеяла — дескать, вот я пришла, и сыта, насколько можно быть сытой по нынешним временам, и вымя мое полно молоком. Сознание исполненного долга чудилось в ее блеянии, и Семченко стало стыдно, что с распоряжением этим поторопились. Отменить бы надо козью кутузку, да и со штрафом обождать до следующего лета, когда жизнь наладится.

— Чаю-то согрей, — напомнил он.

Кабаков ушел на двор, в летнюю кухонку, а Семченко взял с подоконника сегодняшней выпуск газеты. Сводка с Западного фронта была хорошая: штурмовали Речицу, выдвигались к Ровно; познанские добровольческие батальоны, не желая сражаться, бросали оружие и уходили к прусской границе. В Венгрии продолжался белый террор, девять тысяч человек томились в тюрьмах.

Когда попили чаю, Кабаков достал из кармана бумагу с машинописным текстом:

— Гляньте, что мне в ящик подложили...

Семченко прочитал, хмыкнул:

— Чушь собачья... Не догадываешься, кто писал? Наденька твоя. Видишь, у буквы П верхняя перекладина не пропечатана.

— А сами-то вы чего пишете у себя в клубе? — неожиданно оскорбился Кабаков. — Думаете, изменится что от ваших писулек?

Крохотный паучок быстро-быстро спускался по своей нитке прямо в стакан с недопитым чаем. Неопратно шевелились его лапки, паутинка то выгибалась от дыхания,

делаясь невидимой, то вспыхивала мгновенным сине-зеленым пламенем.

Вот лежит листок на столе — машинная пропись, пальчики прыг-скок по круглым клавишам, пустое девичье мечтание о небывалом счастье.

А он-то, Семченко, чем лучше? Прав Кабаков. Неизвестный Флорин, философ, которого, может, и не было никогда, и доктор Заменгоф — не из одного ли яйца они вылупились? Великая и благая надежда, пар, облачко над землей. Скитаются по свету послания, написанные на самом простом, самом правильном и доступном из человеческих языке. Предназначенные всем и никому в отдельности, холодные — потому что опять же для всех, выражающие общее мнение членов клуба, перелетают они из города в город, из страны в страну; не дремлющим оком следит Линева за чистотой единого эсперанто — исправляет ошибки и вычеркивает русизмы, Женя Багин шлепает свою печать, и возникает на листках одно слово, рассеченное надвое верхним лучом звезды: «эсперо».

Или в этом все и есть? Неважно, кто писал, и о чем письмо, и кому попадет оно в руки. Наугад, наудачу, в пространство. Плывет паутинка по миру, колеблется от дыхания.

И все же, почему именно шесть раз должна обойти вокруг света переписка философа Флорина? Почему в эсперанто восемь грамматических правил? Что за этим? А ничего, наверное. Просто числа придают строгость все той же вечной надежде, что мир станет лучше, что люди научатся понимать и любить друг друга.

Диалог учили: «Камарада, киу эстас виа патро?» — «Миа патро эстас машинисто...» Еще совсем недавно казалось, что путь от этого диалога к мировому братству рабочих короток и не извилист, но вот грянул выстрел в зале Стефановского училища, и все переверотилось в душе.

Зиночка, Зинаида Георгиевна, Казароза, почему так случилось? Философ с цветочной фамилией, киу эстас виа патро?

Да есть ли в эсперанто такие слова, чтобы рассказать кому-то, кто сам не видел, про коз на улицах, про голодных детишек, про беженок с баграми на скользких плотах, про шорника Ходырева и его сына, про гипсовую руку, про того курсанта, наконец, который бился

с Колчаком за всемирную справедливость, но хочет говорить об этом теми словами, что были с ним всегда — родными словами. А город? Как расскажешь о нем? Разоренный, живущий надеждой, единственный. На этой земле родились, в эту землю ляжем, хотя сражаемся за весь мир, и нельзя говорить о ней на нейтральном международном языке эсперанто, потому что нет за его словами, из воздуха сотканными в кабинете доктора Заменгофа, ни крови, ни памяти, ни любви. Не той Любви, о которой толкует Линев и которая составляет будто самую суть эсперанто, а настоящей, обыкновенной — к ребенку, женщине, другу, запаху дома и осеннего леса над Камой.

Да, эсперанто — язык вспомогательный. Но если о самом главном сказать нельзя, тогда зачем он? Люди не станут лучше понимать друг друга, только еще больше запутаются. Пусть уж лучше на свой язык переводят, чтобы через себя понять. А он, Семченко, останется, что ли, при своем?

«В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я...» Эти слова будут с ним всю жизнь, и до него были, и после него останутся.

А эти: «Эн вало Дагестана дум вармхоро...»? Как тут быть? Ведь уже и за ними стояли смерть, и память, и любовь.

Ночью Семченко долго не мог уснуть — принимал лекарство, пил из графина теплую, отдающую хлоркой воду. Снизу, со второго этажа, наплывало за окном слабое жужжание светящихся букв над подъездом гостиницы; буквы были синие, стекло отсвечивало холодно, по-зимнему, как при луне. Будто снега отражали лунное сияние. Но тепло было. Огромный город никак не засыпал — кое-где горели окна, проходили парочки; тяжелый несмолкающий рокот, днем неслышный, накатывал с заводских окраин.

Никто здесь не помнил о маленькой женщине с пепельными волосами.

Это ее любил комроты Семченко, эсперантист Семченко и тот, другой, в твидовом костюме, с отросшими волосами, медленно идущий по Риджент-парк. Не жену, не медсестру Валечку из Сормовского эвакогоспиталя, а ее, Казарозу. Под Глазовом, со свинцом в груди,

и на кухне в Леонтьевском переулке, и в окопах сорок первого, и опять здесь, в этом городе, в гостинице «Спутник», на границе между сном и явью, жизнью и смертью.

Вернувшись из гостиницы домой, Вадим Аркадьевич обнаружил, что невестка сменила рамку на фотографии Нади. Новая рамка из никелированных трубочек выглядела гораздо красивее, но он любил старую, которую невестка успела выбросить, не посоветовавшись, и в итоге произошла безобразная сцена. Вадим Аркадьевич кричал, хлопал дверью, а после сидел у себя в комнате, сжав ладонями виски, и повторял:

— Уеду... Не могу больше, уеду!

Невестка плакала, приходила просить прощения. В конце концов он растрогался и, как это раньше бывало, решил раз и навсегда выяснить отношения. Начал перечислять прежние обиды — конечно, лишь для того, чтобы, объяснившись, все забыть, но не удержался на зыбкой грани примирения. Невестка тоже ударилась в воспоминания, стала высчитывать какие-то свои к нему просьбы, которые он якобы никогда не выполняет, и постепенно сорвалась на крик:

— Вы с любой продавщицей будете любезничать, а на близких вам наплевать!

И опять все двинулось по наезженной колее, под аккомпанемент магнитофона; в таких случаях Петька врубал его на полную мощность. Поздно вечером из спальни доносился взволнованный шепот невестки, короткие ответы сына — по традиции тот придерживался нейтралитета, а Вадим Аркадьевич лежал на своем продавленном облезлом диване, который невестка тоже порывалась выбросить, и испытывал мучительный стыд за все происшедшее. Ведь она же хотела сделать ему приятное!

Гроыхали за окном трамваи, на остановке нестройно заливалась подвыпившая компания: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно о-он называется жизнь...»

Свернули на Кунгурскую, вошли во двор Стефановского училища, и Вадим удивился: почему-то уверен был, что идут к Линеvu. Семченко так ничего и не объяснил, хотя после долгих уговоров согласился взять с

собой. Всю дорогу он молчал, и даже когда прятались в подворотне от патруля, когда связаны были общей опасностью, и душу переполняли доверие и нежность к стоящему рядом человеку, все это для Семченко, похоже, никакого значения не имело.

К вечеру над городом сошлись облака, и темнеть начало рано, часам к одиннадцати. Ни одно окно не светилось в обоих этажах. Шелестела листва на тополях, где-то дребезжал под ветром изломанный жестяной карниз, и от этого звука, заунывного, напоминающего о разрухе, о привычном уже неуют, тоскливо холодело сердце.

— Николай Семенович, зачем мы сюда пришли?

Не ответив, Семченко шагнул во двор осторожно, боком, словно хотел утончить свое тело, сделать его как можно менее заметным и в то же время готовым к неожиданной схватке.

За последние безалаберные годы дворовые постройки частью погорели, частью были растащены на дрова; мусор давно никто не убирал, он слежался, вырос плотным слоем, и дверь черного хода оказалась вросшей в землю. На ней висел ржавый амбарный замок. Прикрыв его полой гимнастерки, Семченко тремя мощными ударами булыжника сбил замок вместе со скобой, которая легко вылезла из трухлявых досок. С трудом приоткрыли дверь, и Вадим зажег свечу, прихваченную из дому по приказу Семченко. Тот сдернул с головы фуражку, когда поднялись к первому окну, прикрыл ею пламя, чтобы не заметили с улицы. Истертое сукно пропускало свет, фуражка сделалась похожей на китайский фонарик. Вадим держал свечу в правой руке, Семченко шел слева, держа фуражку за козырек, и оба они видели этот светящийся диск, почти прозрачный в центре, постепенно темнеющий к границам тульи.

— Дойдем, все объясню, — сказал Семченко.

— Куда дойдем?

— В зал... Здесь дверка есть на сцену.

Ага, вот она. Семченко подобрал на лестнице железный прут, ввел его в зазор между дверью и косяком, чуть повыше замочной скважины, затем отступил назад и резко, как гребец весло, обеими руками рванул прут на себя. С мерзким хрустом железо вдавилось в древесину, щеколда выскочила из паза, и Семченко, едва не упав, отлетел к стене.

— Обожди пока со свечой-то, — сказал он. — Я шторы задерну.

Он шагнул на сцену. Через полминуты, словно отзвук его шагов, слышались внизу другие — тихие, опасливые. Кто-то поднимался по лестнице. Вадим хотел окликнуть Семченко, но боялся подать голос. Даже свечу не задул. Стоял, как столб, и не дышал. Перед тем, как спуститься со сцены в зал, Семченко остановился, и сразу шаги внизу тоже стихли. Эхо, сообразил Вадим. Вытянув руку со свечой, он перевесился через перила — закачались облупленные, исчерканные похабщиной стены, заваленные всяким хламом ступени, зашевелился, изгибаясь и утолщаясь, пустой шнур электропроводки на площадке первого этажа; тени вжались в углы. Никого.

— Иди сюда, — позвал Семченко. — Только свечу задуй.

Вадим выволок из угла пустое искореженное ведро, положил на всякий случай у входа, чтобы, если кто пойдет, слышно было. Дошел до края сцены, боязливо прислушиваясь к отзвуку собственных шагов, спрыгнул вниз. В оконных проемах стояло бледно-синее небо июльской ночи. Силуэт Семченко выделялся на фоне ближнего окна.

— Шторы задегивать, Николай Семенович?

— Не надо. Так маленько зал видать, а со свечой только друг друга и разглядим.

— Ну, — потребовал Вадим. — Объясняйте.

— Понимаешь, Кабаков, я тут одну вещь проверить хочу. Думаю, не он ее застрелил, не курсант этот.

— Что ж вы его били тогда?

— Сгоряча-то! А после понял: он же вверх стрелял.

— Так ведь пьяный, — засомневался Вадим.

— Все равно... Ты вчера сколько выстрелов слышал?

— Не помню.

— И я точно не помню. То ли три, то ли четыре. А у курсанта три патрона истрачено.

— Потолок надо посмотреть, — предложил Вадим, слегка разочарованный этим объяснением: казалось, не договаривает Семченко, умалчивает о чем-то важном.

— Гляди, штукатурка тут осыпалась и там...

— Чего тогда? — удивился Вадим. — Две пули в потолке, третья — в ней.

— А если от двух пуль одним пластом отошло? Мо-

жет, ее не третьим выстрелом убило, а четвертым. И не курсант вовсе!

— Да кому надо, Николай Семенович? У нас ее и не знал никто.

— Зна-али! — сказал Семченко. — Сейчас пробоины посчитаем.

Два пятна смутно темнели на потолке: одно в конце зала, у двери, где сидел курсант, второе — поближе к сцене. Под ним, остервенело раскидывая стулья и не обращая внимания на производимый грохот, Семченко и установил притащенную из коридора стремянку.

— Не знаете, Караваев где был, когда стрелять стали? — спросил Вадим.

— Говорит, за дверью. Но сразу вбежал... А что?

— Да ему плечи побелкой запорошило, я точно помню. Значит, под этот выстрел угодил. — Вадим указал на дальнюю отметину. — А вначале сюда попало. — Он указал на ближнюю, под которой стояла стремянка. — Наган-то все выше задира! Понимаете? Или с первого разу в нее попал, или, если не он, то две пули не здесь, а там. — И опять указал на дальнюю.

Ахнув, Семченко радостно ткнул его в плечо:

— Ай, Вадюха! Раньше-то чего молчал?

— Так вы не спрашивали.

— Вадюха, Вадюха! — приговаривал Семченко. — Она с первым выстрелом не упала, я видел.

И вдруг помрачнел. Действительно, чему радоваться-то?

Перенесли стремянку, Вадим задернул шторы, Семченко зажег свечу. Одна стена, левая, надвинулась, в извивах теней набухла лепнина потолочного бордюра, а три другие стены пропали и обнаружились лишь через несколько секунд, причем совсем не на том расстоянии, на каком Вадим предполагал их увидеть. А Семченко, стоя на верхней ступеньке, уже поднял свечу и начал ножичком ковырять обнажившуюся дранку. Желтый круг над его головой то расплывался, когда он отводил руку со свечой, то делался маленьким, ярким.

Отодвинув краешек шторы, Вадим выглянул в окно, и тут Семченко заорал:

— Вадюха! Есть вторая!

Жутко стало. Кто ее убил? Зачем? И услышал, как слабо звякнуло ведро, оставленное им у входа.

Семченко бесшумно и хищно спрыгнул на пол, огонек свечи сжался, прочертил красную дугу, затем другой

огонечек засветился под потолком — Семченко включил электричество. Две лампочки, быстро набирая накал, загорелись в зале и одна — за сценой, на площадке черного хода.

На лестнице что-то обвалилось, грохнуло. С гулким хлопком разлетелась лампочка, и свет на площадке потух. Семченко вскочил на сцену, бросился к дверному проему; осколки стекла захрустели под его сапогами.

Вслед за ним Вадим выбежал во двор и увидел впереди, у ворот, чью-то фигурку: человек скользнул в ворота, и на улице крикнули:

— Стой!

Лязгнул револьверный барабан, и опять:

— Стой! Стрелять буду!

Семченко с ходу ринулся было к воротам, но навстречу шагнул Ванечка:

— Не нужно... Там Караваев.

— Пусти! — Семченко отпихнул его, однако появились еще двое в кожаных, и пришлось покориться.

Темно-лиловые облака гнало по небу. Шумно, как осенью, шелестела под ветром листва, будто уже усохшая, и карниз над головой выл все громче, все тоскливее. Или это край железной крыши? Тот человек убегал, его подметки глухо стучали по булыжнику, и ясно цокали подковки на сапогах его преследователя.

— А пробоин в потолке три! — закричал Семченко, подступая к Ванечке. — Три! Слышишь, ты? Зачем приехал сюда, если ничего понять не можешь? — И совал ему какую-то брошюру. — Вот, смотри! Линева писал ему как эсперантист эсперантисту. И только! Видишь? — Он судорожно тыкал пальцем в брошюру. — Амикаро!

— Догнал вроде, — сказал Вадим. — Слышите, говорят.

Караваев басил уже совсем близко за воротами, и другой голос — молодой, звонкий, странно знакомый, отвечал ему.

Понимая, что человек этот, который войдет сейчас во двор под дулом караваевского револьвера, и есть, наверное, тот самый, что выстрелил в четвертый раз, убийца Казарозы, Вадим украдкой покосился на Семченко: страшно было смотреть на его изменившееся лицо.

Еще мгновение, и у ворот, чуть впереди Караваева, показался тот рыжий, с разными глазами, только без темных очков.

Через полчаса сидели в губчека — сам Вадим, Семченко, Ванечка и рыжий студент-идист; Караваев остался зачем-то возле Стефановского училища. Семченко по дороге не проронил ни слова, на вопросы не отвечал; Ванечка тоже помалкивал, и лишь теперь, вертя в пальцах отобранный у рыжего аккуратный английский браунинг, спросил:

— Ваш?

Тот пожал плечами:

— Сами знаете.

Ванечка щелкнул спусковым крючком раз, другой, третий, выразительно поглядывая при этом на рыжего:

— А патроны к нему где? Выбросили?

— Их и не было.

— Но ведь браунинг вы пытались выбросить. Правильно? А для чего таскать с собой оружие без патронов?

— Для уверенности в себе, — сказал рыжий. — Попугать, если шпана полезет... Да он и не стреляет.

— Как так? Сломан, что ли?

— Боек у него спилен.

— Проверим. — Ванечка позвал из коридора солдата, вручил браунинг и велел поискать у дежурного патроны к нему. Затем снова повернулся к рыжему: — Откуда он у вас?

— Их до черта в городе, — решил вмешаться Вадим. — Когда белые уходили, из эшелона растаскали. Один вагон прямо на путях разбило...

— Я его в прошлом году на рынке выменял, — объяснил рыжий. — За фуражку студенческую.

— Зачем забрались ночью в училище?

— Я готов рассказать об этом. Да, готов! Но без свидетелей. — Рыжий покосился на Семченко, сидевшего с закрытыми глазами: голова откинута к стене, подбородок задран.

— Если вы знакомы с товарищем Семченко, значит, у вас имелись причины разбить лампочку на площадке черного хода. Чтобы не быть узнанным.

— Не разбивал я ее, честное слово!

— В таком случае почему побежали от нас?

— Любой, знаете, побежал бы на моем месте.

— Но на этом месте оказались именно вы, не любой, — сказал Ванечка. — Вы были вчера на вечере в Стефановском училище?

— Я идист! — надменно отвечал рыжий таким то-

ном, словно это заявление проливало свет на все его поступки.

— Чего-о? — сощурился Ванечка.

— Я не посещаю заседаний так называемого клуба «Эсперо», поскольку принадлежу к числу сторонников идо-языка. Мы считаем эсперанто лишь ступенью на пути к идеальному международному средству общения. Причем такой ступенью, через которую давно пора перешагнуть.

Ванечка помотал головой:

— Все у вас как-то не по-людски... Умные ребята, хотите, чтобы все народы понимали друг друга, а сами между собой договориться не можете.

Вошел солдатик, положил на стол браунинг, а рядом высыпал горсть патронов. Ванечка взял один, заложил в барабан. Прокрутив его, загнал патрон в патронник, затем встал, просунул руку с браунингом в форточку и надавил спуск. Сухо щелкнул курок — осечка. Рыжий наблюдал все это спокойно, с улыбкой понимания и снисхождения на толстых губах.

Ванечка попытался выстрелить еще раз, и опять осечка. Зарядил другой патрон — тот же результат.

— Можете целиться в меня, — предложил рыжий. — Я согласен.

Нервничая, Ванечка разровнял патроны на столе и начал брать их по одному, внимательно рассматривая капсюли. Наконец один понравился ему почему-то больше остальных. Зарядив именно этот, он снова подошел к окну.

Рыжий подмигнул Вадиму:

— Горохом надо попробовать...

Оглушительно грянул выстрел, эхо покатилося, отскакивая от железных крыш, Ванечка довольно засмеялся, и видно стало, что он совсем еще пацан, Ванечка-то — лет двадцать ему, не больше.

Семченко, открыв глаза, в упор смотрел на студента, а тот беззвучно шевелил побелевшими губами, силился что-то произнести и не мог.

— Вот так, брат! — Ванечка небрежно швырнул браунинг на стол. — Боек-то не до конца спилен... Конечно, не на каждый капсюль, но подобрать можно, можно.

— Ни разу он не стрелял! — крикнул рыжий.

— Николай Семенович, — спросил Ванечка, — у него были причины вас ненавидеть?

— Мы с Линевым написали письмо в губком с требованием запретить пропаганду идо-языка в нашем городе... Разве что это...

— Вы повели себя недостойно, Николай Семенович! — стремительно повернулся к нему рыжий. — Вы решили суд потомков заменить судом властей предержащих!

— Эсперантисты, идиоты. — Ванечка нахмурился. — Такое время, а вы счеты сводите.

— Дайте мне бумагу и карандаш, — попросил рыжий. — Я все напишу, а вы прочтете.

Ванечка увел его в соседнюю комнату. Вернувшись, поинтересовался:

— Вы этого рыжего позавчера в училище не примечали?

— Нет.

— А ты, курьер?

— Нет.

— Николай Семенович, — сказал Ванечка. — Вообще-то я должен извиниться перед вами. Моя версия оказалась ложной, Казароза приехала сюда не из-за Алферьева. Он бежал не на восток, а на юг, в Тамбов. Сегодня пришла телеграмма: застрелился при аресте...

Семченко молчал. Теперь он сидел, опершись локтями о колени и свесив голову вниз, будто его мутило.

— У нас недавно похожий случай был. Через женщину взяли одного. — Ванечка откинул со лба прямые светлые волосы, и Вадим опять увидел, какой он молодой — движение это было мальчишеским, и лоб, и шея, и руки в веснушках. — Вы товарищ грамотный, в редакции работаете. Я вам хочу одну мысль привести. Из Плутарха... Знаете, был такой греческий историк?

Из висевшей на гвозде офицерской сумки он достал книгу в старинном кожаном переплете, которую, видимо, всегда возил при себе, как Суворов.

— Не подумайте, что для оправдания. — Ванечка быстро нашел нужную страницу. — Так просто, чтобы объяснить. Вот... Поскольку время бесконечно, а судьба переменчива, — начал читать он, старательно выговаривая диковинные, не часто произносимые вслух, как бы даже незнакомые слова, обозначающие то, что нельзя увидеть и потрогать, — не приходится, пожалуй, удивляться вот чему: весьма часто случаются в человечестве сходные между собой происшествия. Воистину, ежели число главнейших частиц, образующих мироздание, не-

ограниченно велико, то в самом богатстве своей сущности судьба находит обильно-щедрый источник для создания подобий. А ежели, напротив, происшествия в человечестве сплетаются из ограниченного числа изначальных частиц, то неминуемо многожды случаться должны происшествия, порождаемые одними и теми же причинами...

Слушая, Семченко все так же безучастно смотрел в пол, и Вадим пожалел его: само собой, страшно думать, что смерть Казарозы хоть как-то связана с его борьбой против идистов.

Когда Ванечка захлопнул книгу, Семченко сказал:

— Похожие случаи бывают, но одинаковых-то нет. Жизнь этого не допускает. Только мысли про такие случаи бывают одинаковые, потому что из самого человека. Вот мы и мучаемся: как нам всем понять друг друга?

Ванечка ошарашенно взглянул на него и согласился:

— Может, и так, вам виднее.

— Откуда у тебя эта книжка? — спросил Вадим.

— Да брали зимой в Гатчине одного полковника. На дому брали, он ее и сунул под френч. Привели, обыскивать стали и нашли. Спрашиваю: «Зачем она вам?» Говорит: читать, мол. Я понимаю, что читать, но почему именно ее? У него дома вся стена в книгах. А он: «Эта особенно в несчастье утешает». — «Чем же?» — спрашиваю. Отвечает: «Пространством жизни!» Потом уж объяснил: история, дескать, велика, и столько в ней всего было, что, если Плутарха читать, собственная судьба не такой важной кажется.

Вадим вспомнил, что у Осипова был свой способ утешаться в несчастье, похожий: он смотрел в бинокль на звездное небо. Тогда, как он утверждал, музыка сфер заглушала, делала ничтожными все шумы его земной жизни.

— Сейчас я. — Ванечка вышел из комнаты.

Вадим пересел поближе к Семченко, зашептал:

— А если у этого рыжего и патроны были? Может, он вас убить хотел? Для того и в училище за нами пришел. Выследил, гад! Отомстить решил за свой идизм... Записку-то я вам показывал! И на вечере в вас целился, а попал в Казарозу. А? Вполне мог войти, когда свет потушили...

— Уйди, Кабаков, — не поворачивая головы, попросил Семченко.

— Зря вы! — обиделся Вадим.

— Чего же он сегодня стрелять не стал? Побежал от меня.

— Нервы не выдержали. — Вадим с легкостью устранил это противоречие.

Вошел Ванечка, и через минуту Семченко уже читал объяснение, написанное рыжим идиотом в соседней комнате. Вадим скосил глаза и тоже стал читать, с трудом разбирая беглый корявый почерк: «Узнав о письме, которое направили в губком члены правления клуба «Эсперо» И. Ф. Линева и Н. С. Семченко, и возмущенные этим низким поступком, трусливым и фарисейским, я и мои товарищи решили принять ответные меры: 1. Организовать публичный диспут с участием товарищей из губкома в качестве судей. 2. Издать «Манифест коммунистов-идиотов». Я, однако, на свой страх и риск, не поставив в известность моих товарищей, на призыв к насилию, провозглашенный И. Ф. Линевым и Н. С. Семченко, решил тоже ответить насилием. Я задумал уничтожить архив клуба «Эсперо» и похитить наиболее ценные книги из клубной библиотеки, для чего и сделал сегодня ночью попытку проникнуть в Стефановское училище. По пожарной лестнице я собирался залезть на чердак, но, увидев дверь черного хода открытой, пошел по этому пути. Пройдя всего один пролет, услышал наверху шаги, крик и звон разбитой лампочки и побежал обратно на улицу, где был задержан. Вся ответственность за этот опрометчивый шаг, недостойный принципов нашего движения, целиком лежит на мне, я принял его в одиночку и потому убедительно прошу подвергнуть меня наказанию без огласки, скрыв истинную причину и заменив ее любой другой, чтобы не давать в руки эсперантистам лишний козырь, который, несомненно, будет ими использован против...»

Дочитать Вадим не успел — Семченко вернул бумагу Ванечке.

— Похоже на правду? — спросил тот.

— По-моему, она и есть.

В коридоре послышались шаги — под многими сапогами вразнобой скрипели половицы, распахнулась дверь, и в комнату ввалился Караваев, подмигнул Семченко:

— А зря ты побежал! Хорошо, сообразили, что пробоины считать отправился... Давайте его сюда, ребята!

Ввели Женю Багина, секретаря клуба «Эсперо», хранителя печати.

— На выходе взяли? — спросил Ванечка.

— Ага. И письмецо при нем.

И опять зашелестел какой-то листочек. Сколько их уже было сегодня?

— Бери, бери. — Караваев протянул его Семченко.

— Что это?

— Копия письма, которое ваш Линеv отправил Алферьеву на адрес клуба «Амикаро».

— А его зачем сюда? — Семченко тронул Багина за плечо. — Что случилось, Женя?

Караваев засмеялся:

— У него и отобрали это письмецо.

Вадим вытянул шею: текст на эсперанто и сноски внизу, под чертой, как в научных сочинениях.

13

А здание губчека не сохранилось. На его месте поднялись теперь девятиэтажные дома, в стеклянных пристроях расположились магазины «Океан» и «Яблонька», хоздворами своими давным-давно подмывавшие узкий палисадник над подвальным оконцем, чахлую запыленную сирень, скамейку, на которой в ту ночь Семченко сидел с Караваевым, и Кабаков топтался около.

Сидели, курили. Караваев рассказывал, что еще утром оба письма, найденных у Алферьева, предъявили Багину, и на одном из них, где речь идет об орфографии, тот узнал руку Линева. При этом Багин сказал, что печать на него не ставил, поставил, видимо, сам автор, воспользовавшись председательскими полномочиями.

— Я его попросил сходить к Линеvu, — рассказывал Караваев, — узнать точно, ставил или не ставил.

— А сами чего не пошли? — спросил Семченко.

— Думали понаблюдать за ним. Посмотреть, как будет себя вести, когда узнает, что его письмом интересуются. Может, оно шифрованное, вовсе не про орфографию... А через полчаса ты нам про клубный архив объяснил. Я и подумал: почему Багин-то ничего не сказал об этом? Да еще намекал, будто письмо какое-то странное. Мол, переводу плохо поддается... Вот такие дела. Понял, что к чему?

— Не очень, — признался Семченко.

— Ну гляди. Если письмо непростое, значит, копии

сго в клубном архиве нет. И тогда Линева, предупрежденный Багиным, попытается ее туда подложить. А если обычное ваше письмо и копия есть, Багин, возможно, захочет ее вынести, чтобы поставить Линева под подозрение. Зачем ему это нужно, другой вопрос. Короче, кто-то из них должен объявиться в Стефановском училище. И Линева следует арестовать при входе, Багина — при выходе. Логично? Такая вот петрушка... Парадный подъезд мы весь день караулили, а про черный ход забыли. Потом сообразили двор окружить, да поздно. Этот рыжий уже к двери подходил...

Семченко слушал, кивал, с трудом вникая в хитрую караваевскую механику, но одного не мог понять: кто же в таком случае убил Казарозу? Багин, что ли?

Взглянул на Караваева:

— Убил-то ее кто?

И тут подошедший Ванечка уверенно повторил то, о чем полчаса сказал Кабаков: этот рыжий и убил.

— Стрелял в вас, — шурясь, говорил Ванечка, — а попал в нее. Вошел в зал незаметно, когда выключили свет, и пальнул. У него же, у подлеца, мечта была: отомстить. Так, может, побоялся бы, а под шумок пальнул. Ведь фанатик, сука! У таких от мечтания до жизни — вершок. Все перепутывается.

— Не верю, — сказал Семченко.

— Дело ваше... Но больше некому.

Ушли с Кабаковым уже в третьем часу ночи, спустились к реке, и Семченко вдруг быстро начал раздеваться.

Вода была неожиданно теплая, черная, слабо светила, но не поверху, а изнутри: как когда раздвинешь у черной кошки шерсть, становится виден голубовато-серый матовый подшерсток. Так же светило небо за облаками, Семченко плыл все дальше, и уже непонятно было, где какой берег, где вода, где небо; казалось, он лезет вверх по отвесной колеблющейся стене, а голос Кабакова доносится откуда-то снизу, из-под ног.

Утром заставить себя пойти на похороны Семченко не смог, лишь велел Кабакову отнести Милашевской в театр гипсовую ручку, чтобы положили в гроб. Весь день провалялся на кровати, даже в редакцию не ходил, а четвертого июля отправился на кладбище.

Городское кладбище, за последние два года разрос-

шееся так, как, пожалуй, за предыдущие десять лет, раскинулось на окраине, над логом, отделявшим центральную часть города от заводской слободы. Могилы давно выбрались из-под сени лип и двумя неравными крыльями сползали по склону, обтекая четко очерченные прямоугольники иноверческих кладбищ. Он миновал еврейское кладбище, затем татарское с его каменными чалмами на каменных же столбиках, с фанерными и жестяными полумесяцами, с позеленевшей арабской вязью на плитах, и мимо аккуратных лютеранских надгробий вышел к логоу. Почва здесь была глинистая, скользкая после ночного дождя, могилы располагались в беспорядке, кресты покосились и почернели, хотя стояли недавно. Ни оград, ни скамеечек. То ли не ставили их теперь, то ли беспризорники на костры разломали.

И у нее такая же была могила, без ограды. Он ее быстро нашел — сторож объяснил, где. Да и свежая земля на холмике видна была издали.

Крест. На кресте надпись, выжженная гвоздем: «Зинаида Георгиевна Казароза-Шершнева. Ум. 1 июля 1920 г.».

Он знал, что на женских могилах часто не пишут год рождения, чтобы после, когда будут мимо люди проходить, пожалели бы покойницу. Старуху-то не пожалеют. Но ведь Казароза умерла молодой! Или, может быть, никто в трупке не знал, в какой день и в каком году она родилась? Сколько ей было лет — тридцать, тридцать пять? Или больше? Да какая разница! Достаточно прожила она для того, чтобы этот мир, а в нем и он, Семченко, стали другими.

Тихо кругом — ни ветерка, ни шороха. Мать говорила, будто в такую погоду можно услышать, как крот под землей нору роет, и верилось в детстве: ложился в огороде на грядку, слушал.

Он выкурил папиросу, попробовал крест — не шатается ли, ладонями подровнял насыпь и пошел обратно.

На центральной аллее, возле единоверческой церкви, задержался перед надгробием эсперантиста Платонова, у которого еще Линева учился. Этот Платонов, хозяин обувного магазина и нескольких сапожных мастерских, уже в преклонном возрасте увлекся учением доктора Заменгофа, но зато с такой страстью, что наследники даже пытались объявить его сумасшедшим. Своим «амикаро» он продавал обувь с половинной скидкой, прини-

мал заказы из других губерний, из эсперанто-клубов Москвы и Петербурга. Все российские эсперантисты носили его сапоги и, как утверждает Линев, на улице по ним узнавали друг друга.

Полустертые золотые буквы на камне: «Блаженны славившие Господа единым языком».

Он взглянул на год смерти Платонова — 1912. Сапоги, купленные со скидкой, давно изношены, разбиты, годятся только самовары раздувать.

И все равно — блаженны!

Окликнули с аллеи, он оглянулся и увидел Ванечку.

— Что, Николай Семенович, — спросил тот, — хотите знать новости?

И рассказал, что у рыжего есть алиби на вечер первого июля, не было его в Стефановском училище, а Багин действительно состоял в подпольной правоэсеровской группе, дает откровенные показания. То письмо Алферьеву, второе, он и написал.

Семченко выругался:

— Нашел тайнопись... И что с ним будет?

— Я думаю, получит общественное порицание. Колчака их группа не поддерживала. В худшем случае изолируют его до окончания военных действий против Польши и Врангеля.

— А откуда он Алферьева-то знал?

— Встречались в Петрограде.

— И с Казарозой был знаком?

— Говорит, видел однажды.

— Узнала она его, — сказал Семченко. — Смотрела в ту сторону.

— Ага, я тоже заметил, — кивнул Ванечка.

— Слушай, — Семченко подошел к нему вплотную, задышал в лицо, — а если Багин испугался, что она выдаст его?

— Нет, Николай Семенович... Я понимаю, о чем вы подумали, но это исключено.

— Тогда кто же ее убил? Кто?

— Не знаю...

— Так какого лешего приехал сюда, если ничего понять не можешь? Отбей телеграмму, пускай другого пришлют!

Ванечка молчал. Тут только Семченко заметил букет астр в его опущенной руке и сказал остывая:

— За церковью свернешь направо, дальше мимо немецкого кладбища...

— Я был вчера на похоронах.

Вспомнилось: ведь они же вместе ехали сюда из Петрограда, Казароза и Ванечка, и что-то, значит, он в ней тоже понял, не мог не понять.

А Ванечка уже уходил, через минуту белое пятно его косоворотки впечаталось в охру церковной стены.

Где-то в листе печально попискивала синица, и вдруг взгляд, расширившись, охватил все это царство — так и подумалось: царство! — замшелых плит чугунных, с наростами на концах, крестов, яркой зелени лип, омытых ночным дождем, по которым тень от колокольни, расплываясь, уходила к логу, туда, где в глинистой земле, совсем не похожей на эту, черную и жирную, лежала она под низким холмиком, не отделенным от других таких же ни решеткой, ни штaketником, и он решил, что потом обязательно поставит и оградку, и скамеечку.

Ни домой, ни в редакцию по-прежнему идти не хотелось, и пошел к Кабакову, у которого прожил эти два дня.

Линев, карауливший калитку, поспешил объяснить:

— Встретил вашего курьера. Он сказал, где вы скрываетесь...

Доставая из-под рогожки ключ, Семченко спросил:

— Вы Алферьева-то хорошо знали?

— Альбина Ивановна рассказала? Да? — Линев оживился. — Знавал когда-то. Видный эсперантист. С ним сам доктор Заменгоф состоял в переписке.

Вошли в дом, сели.

— Как вы с ним познакомились, Игнатий Федорович?

— В «Амикаро», клубе слепых эсперантистов. Я заказывал для них обувь у Платонова. Удивительная, я вам скажу, организация. Такого энтузиазма я нигде больше не встречал.. Так вот, Алферьев у них вел кружок мелодекламации на эсперанто. Я наблюдал одно такое занятие. Впечатление незабываемое! Эти запрокинутые лица, вытянутые руки, дрожащие пальцы. И в самой атмосфере некий дух служения, которого, увы, так не хватает нам. Да что говорить! Сравнение не в нашу пользу, не-ет! Декламировали они под рояль известные переводы из Пушкина и Лермонтова, сделанные Печенегом-Гайдовским. Но как это звучало! Бог мой,

как это звучало! Я тогда подумал, что эсперанто просто создан для мелодекламации. Как итальянский или украинский для пения...

— А Алферьев, — напомнил Семченко. — Что он за человек?

— Вообще-то, — сказал Линеv, — я разговаривал с ним всего один раз. Он подарил мне свою брошюру по орфографии имен собственных, я тут же ее проглядел и понял, что автор склонен подвергать сомнению некоторые принципы доктора Заменгофа. А вы, Николай Семенович, отлично знаете, как я отношусь к подобным вещам. Не желаешь играть в шахматы, играй в шашки. Не согласен — уйди, но изнутри не расшатывай. Правильно? Я даже могу допустить, что «матро», скажем, логичнее, чем «патрино». Однако не в логике же дело! Мы все матросы на корабле, вокруг буря, и если кто-то станет говорить, будто у капитана не того цвета кокарда на фуражке, и по этой причине ему не нужно подчиняться, то этого умника я первый выброшу за борт. Жестоко? Да. Но как быть?

— Ну а сам Алферьев. Что он за человек?

— Да-да, Алферьев, — спохватился Линеv. — Как вам сказать? Сильная, видимо, личность. Упрям, честолюбив. Много достоинств чисто человеческих, вернее — мужских. Но вот запомнилась одна деталь. Так, вроде бы и мелочь, а характерная... Там был юноша, слепой, как мне сказали, с рождения. Он читал вслух «Поэму Вавилонской башни». Теперь это произведение Печенга-Гайдовского считается уже классическим. Настоящий эпос на эсперанто... И почему-то не понравилось мне, как вел себя при этом Алферьев. Он сидел в кресле и, закинув ногу на ногу, курил. Лицо такое неподвижное, тяжелое. Полным отсутствием всякой мимики он сам напоминал мне слепого. Но на редкость выразительные жесты. Во время чтения он вздернул плечи и покачивал рукой с таким снисходительным презрением, что ни на одном языке не передашь. То ли это презрение относилось к декламатору, то ли к самой поэме, я не понял. Но ведь слепые-то ничего не замечали! Его жестикация была на меня рассчитана. Я был единственным зрячим, и он как бы давал мне понять, что способен на большее, нежели учить убогих мелодекламации. Я передал свои ощущения? А ведь в этой поэме есть совершенно пронзительные строки! Они мало кого оставляют равнодушными. — Линеv откинул голову и

нараспев начал декламировать: — Бабилано, Бабилано, алта диа доно... — Потом внезапно оборвал чтение на полуслове. — Я ведь зачем пришел к вам, Николай Семенович. Женя арестован, и мы все надеемся, что секретарем клуба станете вы.

— Нет, — сказал Семченко.

— Не стесняйтесь, не стесняйтесь! Вы вполне созрели.

— Игнатий Федорович, — спросил Семченко, — вам нынешние идеи Сикорского хорошо известны?

— Да какие это идеи! — возмутился Линеv. — Психология напуганного обывателя, который дрожит за свое спокойствие!

— Не уверен. Он только вывод не тот делает.

— Интересно, интересно... Когда он успел вас обработать?

— Он тут ни при чем, Игнатий Федорович. Я сам... Просто у себя еще дел хватает. В нашей, как вы говорите, языково-национальной клетке. Да и не клетка это вовсе. Дом... Еще друг с другом договориться не можем, а всеобщее понимание проповедуем. Взять хотя бы идиотов. Чего мы на них в губком донос-то написали?

— Вы, наверное, нездоровы, — вставая и направляясь к двери, сказал Линеv. — Поправляйтесь и гоните от себя прочь эти мысли. Они ко всем нам приходят в минуту слабости, но вы гоните. Займитесь регулярной перепиской с каким-нибудь клубом. Чернильницей в бе-са, как Лютер! — У калитки он сунул Семченко влажную ладошку и быстро пошел по улице прыгающей своей, птичьей походкой — сутулый, низенький, белоголовый.

Семченко вспомнил его через много лет, в Лондоне, когда из чистого любопытства побывал на заседании одного тамошнего эсперанто-клуба. Обстановка была деловая, чинная. Толковали о ссудной кассе, и он понял, что клуб «Эсперо» ничуть не был похож на европейские клубы, к чему Линеv по наивности стремился. Да и не мог быть похож, потому что при всех своих мирового масштаба мечтаниях оставался, как ни странно, казусом чисто российским, даже глубинно-российским, провинциальным.

Тогда это понимание было нечетким, неформившим-

ся — мелькнуло и пропало. Но позднее он не раз думал о том, что любой идее Россия всегда отдавалась гораздо с большей надеждой, чем Европа, а когда такая идея достигала губерний, вера в ее спасительную силу делалась неистребимой.

И к университетским идиотам это относилось в той же мере.

А на эсперанто в лондонском клубе говорили очень хорошо. Все, как Линева, или даже еще лучше. Но Семченко с удивлением отметил, что в устах этих англичан эсперанто совершенно не напоминает испанский. И догадался, почему. Он сам, Линева, Альбина Ивановна, Кадыр Минибаев жили в революции, язык изучали для нее, говорили на нем громко — иначе и не стоило. Каждая пустячная фраза была для будущего, потому их эсперанто и звучал, как испанский — от страсти и надежды.

И напрасно Линева об этом печалился.

Что с ним случилось потом? Куда делся? Пропал, сгинул — никаких следов, и Майя Антоновна ничего о нем не знала. Страж и хранитель с воробьиной походкой, Семченко вспоминал его днем, перед тем, как идти в школу на встречу с городскими эсперантистами. До встречи оставалось два часа, он сидел на пустынной набережной, думал о том, что именно скажет сегодня этим ребятам, но не было ни слов, ни мыслей, лишь усталость, накопившаяся за последние дни. Вокруг скамейки, на которой он сидел, валялись бумажные стаканчики от мороженого, желтели в траве головки мать-и-мачехи. Одинокий трамвайчик тащился вверх по реке, с него доносило перебиваемую ветром музыку.

Если бы хоть Минибаев приехал, какая-то искра могла и вспыхнуть — Линева бы вспомнили, Альбину Ивановну, а так будет мероприятие, вежливые скучающие лица, подчеркнутое внимание Майи Антоновны, какой-нибудь юнец, высокомерно колдующий над магнитофоном, и снова те же открытки с памятниками и пейзажами. Не эсперантисты, а филиал клуба коллекционеров.

И вообще не хотелось идти на эту встречу. О чем говорить? Вот Минибаев — честь ему и хвала — как-то общается с этим народом, понимает его. Или просто греется на старости лет у чужого огня, который когда-то был его собственным?

На следующий день Вадим Аркадьевич в гостиницу не пошел, решив, что встретит Семченко в шесть часов, у школы. До обеда просидел у себя в комнате, перебирая старые фотографии.

Красивая женщина стоит под кипарисом — пышное платье, «шестимесячная» завивка, полураскрытый зонт на плече.

Она же облокотилась о выступающий из воды камень — широкая улыбка заранее обещанного счастья, сшитый из старого сарафана купальный костюм, надпись «Привет из Ялты».

И вот наконец она выходит из моря, в изнеможении опущены полные руки, безнадежно распрямилась «шестимесячная» — вечный кадр, новая Венера рождается из пены Черноморского побережья.

Наденька, Надя! Всего один раз и удалось ей съездить к морю. Одна ездила, без него. Теперь сын с невесткой чуть не каждый год отправлялись на юг, и это в порядке вещей, никого не удивляет. Вадим Аркадьевич даже не всегда ходил их провожать. А тогда перрон заполнен был провожающими — приходили целыми семьями, все поколения. С рыданиями бежали за уходящим поездом, до последней возможности махали вслед, словно родные уезжали навсегда, а не на месяц. В окнах вагонов маячили зареванные лица отпускниц, отпускники мрачно затягивались папиросами, и вечный дух российской дороги, великих пространств, сулящих долгую разлуку, витал над перроном областного вокзала.

И там, в Ялте, Надя встретила Осипова, ставшего пляжным фотографом.

Году в двадцать пятом он внезапно исчез из города, хотя в редакции к тому времени сидел прочно, поскольку писал замечательные фельетоны. Его сыновья уже выросли, работали на сепараторном заводе, неплохо зарабатывали, и жена, видимо, вздохнула с облегчением, когда Осипов исчез, даже розыск объявлять не стала.

Но странно было: ведь вот как способен человек переломить судьбу! Губернский интеллигент, почему он покинул город, через который должны были пройти пути истории в двадцатом столетии? Надя рассказывала, что Осипов почти не постарел, ходит по пляжам, отби-

вая клиентов — женщин в особенности — у других фотографов. Носит войлочную шляпу, держит кавказскую овчарку по кличке Эзоп. Вадим Аркадьевич живо представлял себе, как этот тощий человек с лицом раскаявшегося абрека волочит по крымской гальке свою треногу, как шелкает пальцами, обещая детям «птичку». Губернский философ, пьяница, имевший свою идею и отбросивший ее, потому что с высоты этой идеи увидел обыкновенную жизнь — прекрасную, короткую и сладкую, как вино «Педро», привезенное Надей из Ялты.

Они пили его вдвоем, сын спал в кроватке, и это был последний, может быть, вечер, когда они еще были молоды, пили вдвоем вино, сидя на кухне, и, как положено людям, которые прощаются с молодостью, думали и говорили только о настоящем.

И сейчас Вадим Аркадьевич вновь пожалел, что так и не было у него в жизни своей идеи, целиком забирающей душу, поднимающей ввысь, в сферы, как говорил Осипов, чтобы оттуда по-иному взглянуть на мир. Много вокруг показалось бы мелким, ничтожным. Тогда, наверное, и статью про клуб «Эсперо» мог написать, вся жизнь была бы другой. Или все равно не смог бы?

Само собой, на лошадином воскреснике каждый норовил своего конягу инвалидом изобразить — и военное ведомство, и гражданское, а о частных лицах и говорить нечего. Лишь бы не к дровам приставили. Но про Глобуса с первого взгляда все было ясно — доходятся, и губкомтрудовец, молодой парень, приходивший иногда в редакцию играть с Осиповым в шахматы, нарядил Вадима возить от складов на пристань ящики с мылом. Работа легкая, к тому же сулящая кое-какие выгоды. И действительно, в конце концов удалось дешево купить на складе печатку отличного мыла бывшей фабрики Чагина.

С обрыва видна была ослепительно сверкающая под солнцем река, чайки над ней. С берега, пониже Спасо-Преображенского собора, поднимался дым — школьники во главе с Альбиной Ивановной жгли мусор. Пот щипывал глаза, от жары звон стоял в ушах, и в этом звоне прорезался сорванный голос губкомтрудовца, мужицкие басы, тонкая фистула корейцев из табачной артели; на воскресник они явились, но весь положенный

груз таскали сами, а свою белую замухрыжистую кобылку берегли, водили за собой налегке.

Обратно поехал по Монастырской, потянулись мимо ладные купеческие и чиновничьи дома: железные крыши, окна с наличниками. На них деревянные резные птицы клевали пухлые гроздья винограда.

Как же там писали социалисты-эсперантисты в своем манифесте? Храм человечеству они собирались построить не из камня и глины, а из любви и разума. Что-то пока было не похоже на то. Вадим смотрел по сторонам: обычный день, лето, нормальная человеческая жизнь, а вовсе не предисловие к какой-то иной, будущей, не подножье ихнего храма. И представился раздвоенный надвое мир: на одной половине обитали эсперантисты, на другой — идисты, и между ними война — бесконечная, потому что и договориться нельзя, никакого третьего языка нет. В этой раздвоенности была унылая безысходность, и храмы человечеству, воздвигнутые по обе стороны границы, постепенно превращались в новые Вавилонские башни, откуда денно и нощно ведется наблюдение за противником.

Глобус приподнял хвост, шлепнулись на мостовую тугие яблоки, и из окраинных степей явились дикие, облаченные в звериные шкуры, бесстрашные последователи пананархиста Гордина. «Беаоб! — вопили они. — Циауб!» И деревянные птицы с наличников испуганно вспархивали в воздух, не доклевав своего винограда.

Уже неподалеку от дома едва не наехал на Наденьку: она отскочила, большой ржавый бидон мотнулся в ее руке.

— Керосину нет, — соврал Вадим. — Сейчас мимо лавки проезжал.

— Не ври, — строго сказала она, отводя со лба челку. — Я второй раз иду.

Вадим подмигнул ей:

— Где бы нам поцеловаться-то?

— Дурак! — рассердилась Наденька.

— Почему дурак? Флорин, философ твой, сегодня мне счастье обещал. Так ведь?

— Ой, Вадюша! А как ты догадался, что это я писала?

— Секрет фирмы, — сказал Вадим. — Кабаков и будущие наши с тобой сыновья. Находим преступника в трехдневный срок с помощью столоверчения... Са-

дись. — Он подвинулся. — Заедем ко мне, Николая Семеновича проведем.

— А что он у тебя делает?

— Живет. Мы теперь с ним друзья.

— Странный он человек, — тараторила Наденька, устраиваясь на сиденье. — Недавно рубаху постирал на дворе и часа два, пока сохла, в редакции голый просидел. Пустырев с ним разговаривает, а он голый... У него на левой руке, у плеча, звезда в круге выколота.

— Это знак эсперантистский.

— Надо же, — вздохнула Наденька. — Чтобы, значит, и на теле печать... Они все клейменные?

А Вадим решил, что если когда-нибудь у него будет своя идея про жизнь, он тоже придумает для нее знак. Выкалывать, может, и не станет, но обязательно придумает, потому что у настоящей идеи всегда есть свой знак. Но можно и выколоть. Вот они с Наденькой поженятся, и в первую ночь, в постели, она проведет пальцем по его плечу и спросит: «Что это?»

Семченко полулежал на кровати, откинув голову к прутьям спинки и держа на животе соседского кота. Коту на животе у Семченко было неудобно, он прижимал голову, напряживал задние лапы и тоскливо озирался, надеясь улучшить момент и удрать, но держали его крепко, гладили основательно — от ушей и до самого хвоста.

— Твой? — спросил Семченко.

— Соседский. Отпустите его.

Семченко поднял руку — не держим, дескать, и кот вопреки его ожиданиям тут же сиганул на пол. Здесь он подхвачен был Наденькой. Она положила его себе на колени, и кот сразу затих, растекся, начал умильно щуриться, задирает голову, чтобы сильнее ощутить прикосновение ее ладошки. Выражение обреченности на его морде исчезло, и через минуту комната наполнилась мощным удовлетворенным тараканьем. У Семченко почему-то коту было плохо, а на коленях у Наденьки — хорошо, он чуть не лопался от мурлыканья.

— Сейчас проверим, образованный он или нет. — Она низко склонилась к коту, уже окончательно впавшему в нирвану, и спросила: — Кот, а кот! Ты Пушкина знаешь?

При этом дунула ему в ухо: «Пух-х-шкина...» Беднягу кота передернуло, он ошарашенно замотал головой.

— Не знает, — сказала Наденька и начала вспоминать, как при Колчаке у них на квартире стоял один чешский легионер, который рассказывал, будто в Чехии все кошки откликаются не на «кис-кис», а на «чи-чи-чи». Затем поинтересовалась: — Николай Семенович, а на эсперанто как кошек подзывают? — И смотрела лукаво.

— С ними-то уж как-нибудь разберемся... Слушай, Кабаков! Билька, она чья?

— Коза, что ли? — удивился Вадим.

— Ну белая такая. Один рог обломан.

— Ходыревых... А что?

— Шорника Ходырева? — Семченко глубоко вздохнул, в горле у него пискнуло.

15

Второго июля, перед тем как они с Кабаковым отправились в Стефановское училище, Семченко смотрел на козу Бильку. Она стояла перед воротами дома напротив и бляла — сперва радостно, потом как бы с обидой, что долго не впускают, и он еще подумал тогда: чего не впускают? В доме кто-то был, занавеска на окне шевелилась. Почему не вышли?

Кабаков с Наденькой уже сидели рядышком, вдвоем гладили кота, перешептывались, а Семченко, растворив окно, смотрел на улицу, и догадка, впервые мелькнувшая час назад, после ухода Линева, когда опять увидел эту козу, постепенно становилась уверенностью: да, так все и было.

Позапрошлой ночью по дороге из Стефановского училища Кабаков говорил, что ему послышались шаги внизу. А если не послышались, на самом деле были? Может быть, кто-то вошел вслед за ними еще до того, как появился рыжий идист? Ведь рыжий-то лишь до первого этажа поднялся, лампочку не мог разбить... Да, все так. Идист в своем рапорте написал правду: услышав наверху бряканье ведра, крик и звон разбитой лампочки, он сразу дунул обратно, а тот, другой, остался наверху. Его могли заметить они с Кабаковым, но не заметили, в запале проскочили мимо, потому что внизу, пропуская идиста, хлопнула дверь, туда и побежали. А тот, другой, прижался к стене, и они его в темноте не заметили.

Да, он вошел в училище вслед за ними. Но откуда

знал, что Семченко туда пойдет? Подкараулил во дворе, у черного хода? Навряд ли. Выследил на улице? Еще днем? Тоже сомнительно.

Вот тут-то и являлась коза Билька, чтобы все наконец объяснить.

Почему ее не впускали? Ведь она тоже видела колебание занавески в окне дома напротив, дрожание тесьмы, приоткрывшуюся на мгновение полоску темноты за желто-голубым ситцем. Дело не в Бильке, уж она-то ни в чем перед своими хозяевами не провинилась. Это его, Семченко, углядели и не хотели выходить, показываться ему на глаза. Значит, отсюда и выследили, от этого самого дома.

— Билька, она чья? — спросил Семченко.

И потом, холодея:

— Вспомни, Кабаков! Ты первого числа Геньку в училище не видел?

Кабаков отвечал, что нет, в зале не видал, но вечером возле училища он ошивался, Генька-то, и Семченко, чувствуя, как эта догадка, ставшая уверенностью, все больше сжимает душу, бросился вон из комнаты, в два прыжка пересек улицу, рванул наружную дверь ходыревского дома. Та не поддавалась. Рванул еще раз, еще. Глаза уже застилало бешенством, и он даже не пытался понять, в какую сторону открывается эта дверь. С крыльца, перевесившись через ограду палисадника, рубанул кулаком по окну, осколки посыпались на подоконник, зашуршали в цветах.

— Открой! Лучше открой, гаденыш!

В доме было тихо. Он спрыгнул в палисадник, просунул руку в разбитое окно и, нащупав задвижку, дернул раму на себя. Окно низкое, в аршине от земли. Семченко смел с подоконника цветочные горшки, пролез в комнату. Сперва услышал, как верещит в соседней комнате младенец, а затем уже заметил Геньку. Тот стоял у стены с револьвером в руке.

— Ах ты, гаденыш!

Семченко с налету притиснул его в угол, вырвал револьвер, который Генька и наставить-то не осмелился. На божнице над их головами с металлическим стуком упала иконка.

Никаких других слов не было, только это — гаденыш, гаденыш. Семченко за шкурку выволок его на улицу, толкнул к бричке:

— Лезь!

А сам начал разматывать вожжи, обмотанные вокруг штакетины.

Кабаков крутился около:

— За что вы его, Николай Семенович? Что он вам сделал?

Глобус всхрипнул, с жалкой стариковской удалью несколько раз подкинул голову, пятась от ограды и натягивая вожжи. Семченко никак не мог их размотать, развязать узел. Хотел поддержнуть Глобуса к себе и вдруг почувствовал, что вожжи какие-то странные — шершавые на ощупь и будто зернистые. Приводные ремни?

— Кабаков! — заорал он. — Ты где эти вожжи взял?

Тот кивнул на Геньку:

— У него купил. Сами же велели упряжь купить. Сдачи восемьсот рублей я Пустыреву отдал.

— А папаню сгноят тама, — сказал Генька.

Он стоял возле брички, тянул тонкую шею и тяжело сглатывал — точь-в-точь, как его отец на суде. Рубаха болталась поверх штанов. Станным казалось, что в этом тщедушном теле подростка такая живет изворотливая и осмотрительная ненависть. А у Семченко уже и ненависти к нему не было. И младенец кричит. Какая ненависть? Все-таки он до последней минуты надеялся на ошибку, как с рыжим идистом, надеялся, что не в него стреляли, а в нее, готовился встретить врага, убийцу, таинственного в своих намерениях, а встретил мальчишку-мстителя, гусенка, которого и ударить-то стыдно. Вот, значит, из-за чего она погибла. То письмо, прочитанное им на суде. Вожжи на Глобусе... Господи!

— Знал? — коротко спросил Семченко.

— Нет! — Генька затряс головой. — Ей-богу, нет! Думал, курсант этот... Позавчера все понял, когда вы пробоины считали. Я за сценой стоял, слышал.

— Браунинг у тебя откуда?

— Английский, как у рыжего, — встрял Кабаков. — Из того же вагона. И патронов было три коробки. Мы их осенью в лесу по жестянкам высадили.

— Что ж ты в меня там стрелять стал? — спросил Семченко. — В другом месте не мог?

— Да я не хотел...

— Чего тогда пушку свою принес?

— Так... Представить только.

Или и вправду не хотел? Вернее, не решился бы.

Хотя и мечталось, конечно: вот он, Семченко, этот не желающий ничего понимать непрошенный обвинитель, падает на землю с пулей в сердце. И пусть, пусть, если на лошади у него те самые вожжи, из-за которых он человека в тюрьму отправил. Так и осталось бы в мечтаниях, но — темнота, розовый луч, пальнул курсант, и рука вырвала из кармана браунинг. Семченко покачал его на ладони, и страшно сделалось: откуда у них обоих, у него самого и у Геньки, такая непоколебимая убежденность в собственном праве решать чужую судьбу? А у Линева? Или у этого рыжего идиста, который тоже мог выстрелить в Семченко, чтобы отомстить за письмо в губком? И тоже, значит, мог попасть не в него, а в нее. И почему за все ей отвечать — Казарозе?

— А ночью за нами в училище для чего пошел?

— Так... Вы пошли, и я пошел. Понять хотел, кто вы такие, испирантисты.

— Ты же человека убил, — сказал Семченко. — Понимаешь?

— Ага, — кивнул Генька.

— Чего «ага»?

— Понимаю... Вы с Вадькой говорили ночью, я понял.

— И что делать собирался, когда понял?

— Не знаю... Думал.

— Думал? Ах ты, гаденыш! — Схватил его, подержал, скручивая на груди рубаху, и опять швырнул к бричке. — Лезь!

Генька не устоял на ногах, ткнулся лицом в ступицу. Кровь потекла по губе.

— Вставай! — крикнул Семченко.

Наденька налетела сзади, повисла на руке:

— Не смейте его бить!

— Убить его мало, — сказал Семченко.

Не вставая, Генька перевернулся на спину, провел по разбитой губе тыльем ладони. На дорогу сорвалась красная капля, мгновенно обросшая пылью.

— Сука ты, — тихо проговорил он. — Теперь я тебя понял. Испирантист, сука! Чистеньким хочешь быть? Об меня не замараться? На! — Генька вытянул руку и мазнул Семченко по галифе над сапогом, оставив на сукне две бурые полосы. — Вожжи, и те не сменил. Козел! Будто и не знал, из чего они... А учителька та? Заседательница? Как она на тебя смотрела-то? Разве

не облизывала. Нарочно свою бабу посадил, чтоб она всем рты затыкала? Молчишь, сука?

— Ну, ты! — Семченко нагнулся над ним, и в ту же секунду Генька лягнул его ботинком по руке.

Подхватив выпавший браунинг, отбежал шагов за десять и приставил дуло к виску.

— Смотри, сука! Из-за тебя я ее убил. А теперь сам себя кончу... Смотри, не отворачивайся! Две смерти на твоей совести!

— Ге-енька! — хрипло и почти безголосо выдохнула Наденька. — Не надо! Как же я-то?

Генька изумленно покосился на нее, не убирая дуло от виска.

— Люблю ведь я тебя, Генечка! Давно люблю... А ты и не знал, глупый? Глупенький мой. — Она сделала шаг по направлению к нему, еще шаг. — Сперва меня убей... Без тебя-то я как же?

Кабаков застыл с разинутым ртом, и Семченко не двигался, понимая, что первое его движение заставит Геньку надавить на спуск.

Опасливо, словно по канату, Наденька приближалась к нему, приговаривая:

— Глупенький ты мой.. Не знал? Давай-ка его сюда, глупенький...

Генька опустил руку, и она бережно вынула у него из пальцев браунинг.

— Вот балбес! — Лицо ее сразу стало другим — жестким и усталым. — Спятил? В тюрьме посидишь, поумнееешь.

Она отдала браунинг Семченко, взяла Кабакова под руку, а Генька вдруг жалко сморщился, шмыгнул носом и заревел, размазывая по щекам кровь и слезы.

— Значит, так, — спокойно сказал Семченко. — Час тебе на размышление, и куда хочешь девайся из города. Я еду в ЧК. Застану тебя, сам виноват. Ясно?

Стало тихо, и все услышали, как верещит в доме хохловский младенец.

— А его куда? — спросил Генька. — Mamka через два часа придет.

— Ну, два часа, — накинул Семченко. — И на юг подавайся, там в Красную Армию запишешься.

Молча, ни на кого не глядя, Генька побрел к воротам.

Семченко отвязал вожжи, похлопал по грязно-белым параллелям и меридианам на морде у Глобуса, и даже

кличка этого рыжего мерина показалась не случайностью, а намеком судьбы: именно такое имя должно быть у лошади, которая возит члена правления клуба «Эсперо». Иначе и Казароза бы не погибла. Но кто же знал? Он залез в бричку. Наденька стояла у ворот под руку с Кабаковым, тополиный пух мело по улице, сквозь мелькание пушинок Семченко видел их как бы вдалеке, за метелью. Георгины пылали в ходыревском палисаднике, младенец умолк. Легкая тень философа Флорина парила над городом в обнимку с тенью доктора Заменгофа — тяжелой и плотной, обоих сносило в сторону реки, они барахтались в воздушном потоке, кувыркались уже над шпилем Спасо-Преображенского собора, но никто их не замечал, кроме него, Семченко. Он развернул бричку, теперь ветер дул в лицо, и всю его прежнюю жизнь отдувало назад этой июльской метелью. Ведь вот же как все сцепилось там, в прежней жизни: Казароза, эсперантизм, Глобус, Генька Ходырев, приводные ремни, коза Билька, всеобщее счастье... Дальше он думать не стал, потому что и так ясно было: все в мире лежит рядом, откликается одно в другом — люди, вещи и животные, и в этом была надежда, что когда-нибудь все они научатся понимать друг друга. Все жили одной жизнью, и никакой иной, нарочно кем-то придуманной, быть не могло — просто жизнь.

Генька стоял на крыльце — жалкий, в измаранной кровью рубаше.

— Чтoб через два часа духу не было! — сказал Семченко, проезжая мимо.

И непонятно: то ли ему сказал, Геньке, то ли самому себе.

В тридцать пятом году по возвращении из Англии его, Семченко, как бывшего эсперантиста уговорили выступить с речью на закрытии одного из московских эсперанто-клубов. Последователи доктора Заменгофа были в то время уже не в чести, и Семченко не очень-то распространялся о своем прошлом. Но каким-то образом узнали. А раз узнали, отказываться было нельзя, пришлось выступить. Само собой, не хотелось, но и предательством он это не считал. Помотавшись по заграницам, уразумел, что никакого братства и взаимопонимания в ближайшие годы не предвидится, а если так, то идея эсперантизма становилась вредной, отвлекала от насущных проблем, как религия. Кроме того, он сам прошел через горнило любви и разочарования, и пото-

му имел право говорить откровенно. Смущало лишь то обстоятельство, что люди, которые придут на закрытие клуба, подумают, будто он действует по указке сверху, не от души.

Но народу явилось мало, сидели с равнодушными лицами, как повинность отбывали. Только немолодая, полная, плохо одетая женщина плакала в первом ряду, прикрывая лицо платком. Она всхлипывала, наклонялась все ниже, пробовала сдержаться и не могла.

Потом женщина подняла голову, и Семченко узнал Альбину Ивановну. Он еще не кончил, а она встала и пошла. После бросился ее искать, да так и не нашел, и адреса толком никто сказать не мог, лишь знали, что учительница.

А теперь вот снова появились эсперанто-клубы — и здесь, и в Москве. Недели две назад видел афишу: «Эсперанто — язык мира и дружбы. Он в 10—12 раз легче любого из иностранных языков. Занятия проводят опытные преподаватели, справки по телефону...»

16

Вечером, в половине шестого, Вадим Аркадьевич сидел на скамейке перед школьным подъездом.

Он совершенно уверен был, что и вчера, и сегодня Семченко тоже думал о той истории, и там, в его памяти, бог весть какие подробности сохранившей, оживал Вадим Кабаков, желтоволосый пацан с румяными, несмотря на голодуху, щеками, произносил, может быть, слова, которые давным-давно исчезли из его собственных воспоминаний. От этого было немного не по себе, как когда кто-то украдкой разглядывает в зеркале свое отражение.

С другой стороны подъезда, в центре крошечного садика, чуть возвышалась над землей чаша старого, еще довоенного фонтана с гипсовыми фигурами — мальчик и две девочки. Раньше они держали земной шар, потом, лет десять назад, он куда-то исчез, и теперь у детей был такой вид, словно они ловят мух.

Без пяти минут шесть из-за угла показался Семченко — прямой, костистый, все с тем же выражением высокомерной брезгливости на старчески-узком лице. Когда он вошел в школу, Вадим Аркадьевич выждал пару минут и двинулся следом, прикинув, что сразу все равно не начнут. Пока раздеваться будут, пока усядутся.

Не хотелось говорить с ним перед выступлением, но послушать очень хотелось. Вадим Аркадьевич решил войти в самый последний момент, чтобы Майя Антоновна не успела вмешаться. Все рассядутся, он тогда войдет, пристроится где-нибудь в уголке, и Семченко его не узнает. А поговорят потом.

В вестибюле было пусто, Вадим Аркадьевич потянул на себя дверь школьного музея. Заперто. Деликатно постучал. Старшеклассница, открывшая дверь, объяснила, что здесь проходит заседание лекторской группы.

— А эсперантисты? — удивился Вадим Аркадьевич.

— Которые с Майей Антоновной? Они наверх пошли, в класс какой-нибудь.

— Извините, — сказал Вадим Аркадьевич.

Неловко было искать их по всей школе, и он опять направился на улицу, сел на скамейку, решив, что уж на этот раз не заснет, нет.

Была какая-то смутная надежда рассказать Семченко про свою нынешнюю жизнь. Кому еще расскажешь?

Генька исчез из города четвертого июля, а на следующий день Семченко подал в губвоенкомат рапорт с просьбой о мобилизации. Через неделю его назначили командиром роты в территориальный полк, отбывавший на Западный фронт. Еще через неделю, накануне отъезда, он со всеми в редакции попрощался и провожать себя никому не велел, даже Вадиму, хотя все это время прожил у него дома. Вечером вдвоем сходили на квартиру Семченко, где тот уплатил хозяйке и отлепил от зеркала марку с портретом доктора Заменгофа. Марка чуть надорвалась, от чего изобретатель эсперанто приобрел вид насупленный и печальный, словно чувствовал, что теряет одного из своих последователей.

Но в то утро, когда Семченко отправлялся с эшелон на фронт, в редакцию принесли адресованное ему письмо из Петрограда. Конверт был толстый, твердый. Преодолев сильное искушение вскрыть его, Вадим рванул на вокзал.

Эшелон стоял на первом пути, земля возле шпал была черная от мазута и масла, отдавала зноем. Уже прозвонили в колокол, но паровоз еще пыхтел, разводя пары, — угля не было, дрова в топке горели плохо, и солдастик с большим чайником шел к хвосту эшелона не спеша, зная, что успеет.

Вадим побежал по перрону, всматриваясь в лица красноармейцев, сгрудившихся у вагонных проемов.

— Кого потерял, земля? — кричали ему.

— Семченко! Семченко знаете?

Наконец услышал знакомый голос:

— Кабако-ов!

Семченко стоял у проема, навалившись на доску-барьер, и не спрыгнул к нему: сверху протянул руку и взял письмо. Надорвал конверт, вынул темную фотографию на картоне и газетную вырезку.

Вадим привстал на цыпочки, но разглядеть ничего не смог.

— Что за фото, Николай Семенович?

— Казароза...

И, не показав, убрал в нагрудный карман.

«Любил он ее, — говорила Наденька. — Не любил бы, так и Геньку бы не отпустил...» Логика была странная, женская, Вадим все хотел спросить прямо: любил или нет? Но стеснялся. Хотя за те две недели, что прожили под одной крышей, о многом переговорили. Чаше всего Семченко выпрашивал о том, как ехали от театра к Стефановскому училищу: о чем был разговор? Вадим отвечал, что она улицами интересовалась, как называются, погодой. «А Осипов что?» — приставал Семченко. «Как всегда. Пьяный был, молот всякую чепуху». — «А Ванечка что?» — «Да ничего, семя лузгал». — «Нет, — говорил Семченко, — ты вспомни, вспомни, что она еще сказала!»

Про Геньку тоже спрашивал, и Вадим старательно выуживал из памяти все новые подробности его биографии. Рассказал, например, как однажды в чайной лавке Грибушина его обидел какой-то гимназист — не то пихнул, не то обозвал, после чего Генька ежедневно являлся к гимназии и дрался с ним. Этот гимназист здоровенный был лоб и лупил Геньку нещадно. Тот ходил весь в синяках, но ровно в два часа, когда кончались занятия, опять стоял у ворот гимназии, подкарауливая обидчика. В конце концов гимназист сдался — начал прятаться, уходить черным ходом, сказываться дома больным и даже прислал письмо с извинениями. Лишь тогда Генька оставил его в покое.

Семченко дочитал вырезку и убрал в тот же карман. Застегнул пуговицу. Подумав, проверил, хорошо ли застегнута.

Опять прозвонили в колокол, паровоз окутался па-

ром, отрывистый лязг прокатился по эшелону от первого вагона до последнего и замер. Заголосили на перроне бабы, еще надрывнее завизжала гармошка; Семченко, пошатнувшись, ухватился за доску, еще раз проверил карман, рассеянно глянул сверху вниз на Вадима, словно только сейчас его заметил и не совсем понимал, зачем он здесь.

— До свиданья, Николай Семенович! — Вадим сглотнул комок обиды в горле: никогда не прочтет он эту вырезку, не увидит лицо на фотографии. — Пишите, пожалуйста.

Пожал протянутую руку, придержал в своей, не зная, что еще сказать, попросить, о чем напомнить в этот миг расставания, который для него самого исполнен был необыкновенной важности, а для Семченко почти ничего не значил, но тут вагон снова дернулся и медленно поплыл вдоль перрона. И Вадим, глядя, как все быстрее мелькают мимо теплушки, лица, платформы с обмотанными мешковиной пушками, подумал, что оба они многое поняли за эти дни, только Семченко менял жизнь, а он сам оставался в прежней, и ему было тяжелее.

Сидели в номере у Семченко. Без плаща, в костюме, тот выглядел совсем молодцом, и Вадиму Аркадьевичу стыдно было за свой пиджак, синюю рубашку с немодными уголками ворота, бесформенные ботинки. Почему он не позволил невестке выбросить эти ботинки?

Майя Антоновна проводила их до гостиницы. На прощание Семченко поцеловал ей руку так легко и обыденно, словно усвоил эту привычку еще в те далекие времена, когда был членом правления клуба «Эсперо». А сам Вадим Аркадьевич так и не научился целовать дамам ручки.

— Милая девушка эта Майя Антоновна, — говорил Семченко. — Очень милая... Все ребята очень хорошие. Я, признаться, не ожидал. Мы-то эсперанто над жизнью ставили, а для них он просто жизнь. Как все прочее. Помогает марки собирать — прекрасно. Узнают где-нибудь в Америке про наш город — еще лучше. Или вот венгр одной девушке на эсперанто в любви объяснился. Скажешь, какая любовь на эсперанто? Не-ет, бывает... А я уж думал, конец эсперантизму. В тридцатые годы за него круто взяли!

— Знаю, — сказал Вадим Аркадьевич. — Пустырев меня все уламывал про ваш клуб статью написать. В должном ракурсе.

— И что? Написал?

— Нет.

— А чего? Надо было написать. Движение не оправдало себя, и в те годы все это понимали.

На столе стоял местный сувенир — секретница, сделанная в виде старинной пушки, с двумя горками ядер. Подарок эсперантистов. Опустить в ствол ядро, и выкатится из-под лафета потайной ящичек. Интересно, подумал Вадим Аркадьевич, что Семченко будет в нем хранить? Что бы он сам прятал в таком ящичке? Разве старые рецепты, которые невестка велит выбрасывать. Наступает старость, и никаких тайн не остается, никаких секретов.

— И ты понимал? — спросил Вадим Аркадьевич.

— Я еще раньше понял. — Семченко опустил ядро в пушечный ствол, звякнула пружина, однако потайной ящичек не выкатился — заело что-то в механизме. — Не про то мы говорим!

— Да, — без особой уверенности согласился Вадим Аркадьевич.

— Знаешь, о чем я сегодня подумал? Вот, думаю, приехал сюда, все вспомнил, а теперь умирать пора. Может, для этого только и жил.

— Слушай! — Вадим Аркадьевич налег на стол, качнул его, и ящичек с внезапным хлопком вылетел из-под лафета. — Я тебе тогда письмо принес к эшелону. Помнишь? От кого было?

— От Милашевской. Прислала портрет Казарозы и вырезку из газеты. Некролог... Показать?

— У тебя с собой? — не поверил Вадим Аркадьевич.

Семченко достал из бумажника фотографию: маленькая женщина, окруженная дикими зверями, стоит в пустыне, держит за кольцо клетку с райской птицей. Провел ногтем по венчику на птичьей головке:

— Это ее голос, ее душа...

— А звери что обозначают?

— Это мы все, — сказал Семченко.

— И ты?

— И я, и Генька Ходырев, и Алферьев, и тот курсант... Вот кто есть кто, не знаю. Хотя можно предположить...

— Я здесь тоже есть? — перебил Вадим Аркадьевич.

— Ты? — Семченко задумался. — Про тебя не знаю. Нет, наверное.

— Любил ее? — спросил Вадим Аркадьевич и пожалел, что спросил. Зачем спрашивать? Горло перехватило от забытой нежности к этому человеку, который до сих пор ищет себя среди слонов и единорогов, окружавших некогда маленькую женщину с клеткой в руке.

Он достал фотографию Нади, положил на стол. Семченко придвинул ее ближе к себе, и возникло странное чувство перевернутой жизни — будто она вся еще впереди, и сами они не старики, а мальчишки, новобранцы, хвастающие друг перед другом карточками своих девчонок. Вечерний свет за окном, две фотографии на столе — две женщины, четыре судьбы.

Семченко бережно извлек из бумажника серо-желтую от ветхости газетную вырезку: сгибы проклеены полосками прозрачной пленки, буквы наполовину стерлись, края измахрились, и черная черта вокруг текста расплзлась, будто не напечатана, а процарапана.

«Вдали от Петрограда, на сцене провинциального клуба, нелепо и страшно оборвалась жизнь Зинаиды Георгиевны Казарозы-Шершневой, актрисы и певицы...

Что можно занести в ее послужной список? Немного, казалось бы. Несколько ролей, несколько песенок, две-три случайные пластинки — дань моде, и все. Но если мы помним эти роли, эти песни, помним ее мгновенно блеснувшую и угасшую славу, то было, видимо, и другое. Казароза была наделена тем, что можно назвать абсолютным слухом в искусстве. Она могла снести все, кроме неверности тона. Среди Содома и Гоморры завсегдатаев театральных премьер, фланеров выставочных вернисажей, перелистывателей новых книг она была одной из тех редчайших праведниц, кому это нужно не по условностям общежития, а из потребности сердца, и ради кого бог искусств все еще не истребил своим справедливым огнем это проклятое урочище.

В другие, более спокойные времена такая женщина была бы притягательным центром традиционного художественного салона, осью некоего мира дарований, вращающегося в ее гостеприимной сфере. Но шла война и шла революция — события с циклопической поступью, варварской свежестью, варварским весом, не склонные

ни к нюансам, ни к оттенкам; времена самые плодовые, но слишком дальнзоркие для того, чтобы заметить севшую на рукав бабочку, и слишком занятые, чтобы мимоходом ее не примять или не прищемить насмерть...»

На вокзал приехали рано, Семченко оставил чемодан в купе и вышел на перрон. Обменялись адресами, еще о чем-то поговорили, но это уже был разговор натянутый, необязательный; так мог бы говорить кто угодно с кем угодно. Короткая вспышка понимания, отмеченная хлопком потайного ящичка, миновала, и теперь порознь прожитая жизнь снова была огромной, заслоняла все остальное. На перроне горели фонари, хотя было еще светло — май, в их мертвенном свете лицо Семченко показалось не просто усталым и очень старым, а пустым, словно из него прямо на глазах уходила жизнь. Они неловко расцеловались, когда до отхода поезда оставалось еще минут пятнадцать, и Вадим Аркадьевич пошел к стоянке такси. Там была очередь, машины подходили редко, так что домой добрался лишь около полуночи. Едва вставил ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась, в глаза ударил свет из всех комнат. Никто не спал, даже Петька.

— Ты где же это бродишь? — спросил сын, стараясь придать голосу строгость.

— Товарища провожал на поезд...

— Могли бы хоть позвонить, — сказала невестка. — Ведь не чужие, волнуемся. — Она всхлипнула. — Ну за что мне все, господи? За какие грехи? Я уж по всем больницам звоню, спрашиваю...

Вадим Аркадьевич почувствовал, как у него начинают гореть глаза. В последнее время часто хотелось плакать, но слез не было — кончились; просто начинали гореть глаза, как с недосыпу или от пыли. Он шагнул к невестке, обнял за плечи, и она неожиданно ткнулась ему носом в грудь.

— Я знаю, Вадим Аркадьевич, вы никогда меня не любили. И вы, и Надежда Степановна. Я вам была чужая...

— Ну зачем ты так? — осторожно осудил сын. — Мама к тебе очень хорошо относилась.

— Молчи уж! — Невестка опять всхлипнула. — Только и разговоров было, какая я неумеха. Вот не

умела я готовить, да! Не умела! Так все наши девчонки не умели. Мы же в войну росли. Из чего стряпать-то было? Лук да картошка... А шила я хорошо. Неправда, скажете?

Уже и ей пятьдесят скоро, с острой жалостью подумал Вадим Аркадьевич.

— Конечно, — говорил он, глядя невестку по седющим волосам, — конечно...

Она отняла голову, улыбнулась:

— Хотите, рубашку вам сошью? А эту выбросим.

Вадим Аркадьевич кивнул и покровительственно чмокнул ее в мокрую щеку.

17

Отправления долго не давали.

Семченко посидел в купе, затем вышел в коридор. Там стоял мальчик лет шести и с ужасом, не отрываясь, глядел на его ухо.

— Это ничего, — сказал Семченко и помял ухо двумя пальцами. — Уже давно не больно.

Наконец тронулись. В вагоне было светло, и, когда проехали освещенный перрон, за окнами сразу ощутилась ночь. Проплыла мимо вереница вокзальных киосков, поезд набирал скорость; подрагивая, вылетали из темноты огни, приближались, вспыхивали и исчезали, как забытые лица, которые на мгновение выносит к поверхности памяти.

Поезд стал изгибаться, поворачивая к реке, поворот был крутой, синий фонарь у какого-то склада с минуту, наверное, не пропадал из виду, вагоны обтекали его по дуге, и Семченко вспомнил заплаканное лицо Альбины Ивановны. О чем она плакала там, в полупустом зале московского эсперанто-клуба, слушая его обличительную речь? О «гранда бен эсперо» доктора Заменгофа, и Линева, и Сикорского, и самого Семченко? Или о своей любви, которую он не замечал, а потом предал, опять-таки этого не заметив? Может быть, и о том, и о другом, и еще о многом. Она уже тогда понимала, Альбина Ивановна, что любая бескорыстная идея — пусть неправильная, всегда обрастает судьбами людей, их надеждами, памятью и любовью, становится частью обыкновенной жизни, той самой жизни, которую хотела изменить, и разделить их уже нельзя. Неужели и Кабаков это понимал? Такие идеи живут и умирают, как люди.

И те, которые много всего в жизни натерпелись, к старости делаются добрее.

Синий огонь у склада пропал, Семченко увидел цепочку фонарей на новом автомобильном мосту.

Через полчаса он лежал на полке, вагон сильно болтало, позвякивала оставленная в стакане ложечка.

Конечно, о тех днях в июле двадцатого он вспоминал и раньше. Но воспоминание о Казарозе постепенно отделилось от них, стало жить само по себе. Жизнь была большая, он не однажды менял привычки, сбрасывал кожу. Гимнастерка сменилась твидовым костюмом, а тот, в свою очередь, москвошвейским и опять гимнастеркой, только иного образца; вместо привезенных из Англии эмалированных коробочек появились банки с наклеенными женой ярлычками, после — выдвижные ящички в кухонном шкафу, и нельзя сказать, чтобы он, Николай Семенович Семченко, со всеми этими и прочими, несравненно более важными переменами оставался бы одним и тем же человеком.

Члены клуба «Эсперо», однополчане, коллеги вспоминались, разумеется, но чаще в нужный момент, когда способны были объяснить какие-то обстоятельства его собственной теперешней жизни, а Казароза была с ним всегда именно потому, что ничего не объясняла. Он никогда не сравнивал ее с женой, с другими женщинами. Он помнил ее так, как помнят лишь детство и самую первую юность. Это она, Казароза, не давала ему раствориться в переменах жизни, которые еще не стали судьбой, а теперь она же помогла увидеть судьбу в том, что казалось не более чем переменой жизни.

Он лежал на полке, закрыв глаза, но не спал.

«Бедная милая маленькая женщина! — звучали в памяти последние строчки некролога, давным-давно выученного наизусть. — Она прошла среди нас со своим колеблющимся пламенем, как в старинных театрах проходила нить от люстры к люстре, от жирандоли к жирандоли. Огонь бежал по нити, зажигая купы света, и, добравшись до последней свечи, падал вместе с обрывком уже ненужной нитки и на лету, колеблясь, потухал».

СОДЕРЖАНИЕ

Казароза и другие. Вячеслав Шугаев	3
КОНТРИБУЦИЯ :	5
ЧУГУННЫЙ АГНЕЦ	105
КЛУБ «ЭСПЕРО» :	201

Юзефович Л. А.

Ю 20 Клуб «Эсперо» : Повести /Предисл. В. Шугаева. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 318[2] с. — (Стрела).

1 р. 20 к. 100 000 экз.

Повести «Контрибуция», «Чугунный агнец» и «Клуб «Эсперо» рассказывают о работе чекистов в годы гражданской войны и становления Советской власти, о молодых людях, пришедших с фабрик и заводов в органы правопорядка.

Ю 4702010200—213
078(02)—87 193—87

ББК 84Р7

ИБ № 5054

Леонид Абрамович Юзефович

КЛУБ «ЭСПЕРО»

Зав. редакцией Л. Антипина

Редактор Т. Костина

Рецензент В. Бондаренко

Художник И. Френкель

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Н. Баранова

Корректоры Н. Овсяникова, Т. Контиевская

Сдано в набор 07.01.87. Подписано в печать 17.07.87. А01870. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,22. Учетно-изд. л. 17,9. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 20 к.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21. Зак. 2539.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Зак. 7—284.

Леонид Юзефович родился в 1947 году в Москве, вскоре семья переехала в Пермь. После окончания Пермского университета служил в армии в Забайкалье, затем много лет работал учителем истории в школе. Первую повесть опубликовал в 1979 году. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Урал», «Уральский следопыт», в коллективных сборниках, выходивших в Москве, Перми, Свердловске. Автор книг «Обручение с вольностью» и «Академический час». Кандидат исторических наук. Член Союза писателей СССР.